

Леонард Шварц

НОВЫЙ ВАВИЛОН

Узкому кругу русских поэтов Леонард Шварц стал известен в конце 90-х, когда с редакцией Талисман-Пресс он приехал в Москву, чтобы работать над грандиозной, уникальной антологией «На пересечении столетий» (Crossing Centuries), в которой американцы на свой лад представили современную русскую поэзию за последнюю четверть 20-го века. Шварца в Америке знали по книгам «Мерцание на грани вещей. Эссе о поэтике» и «Слова перед произнесением» как крайне неудобного автора для школьных классификаций.

Он поэт со сложным психологическим пространством.

«Вы должны измерить собственным взглядом возможности отрицания, которые этот взгляд в себе содержит, найти точку, ясно говорящую о вашей ссоре с миром... Это жёсткая точка зрения, без контакта с вещами как таковыми; вещи всегда будут настаивать, чтобы вы были внимательны к их неуклюжим формам. Но вы не должны им потакать. Вам будет хотеться вложить в них смысл, но то, что вами забыто, от этого становится ещё сильнее, и ничто не сможет вас отвлечь от тщетного воспоминания, никто не сможет вас предохранить от ошибочной памяти обо всём существующем». («Моменты для того, кто ещё не жил»).

Установка радикальная: мёртвая петля через забвение как выход к творческому, прибавочному началу. Нельзя забыть что-нибудь насильно, но подозревать, что образы, вызванные свойствами памяти и освещённые вспышками восприятия не совсем одно и то же, важно для техники созерцания и писательства. Для входа в настоящее время. Как бы ни дистанцировался Шварц от вещей и не избегал очевидностей, в его стихах создаётся ощущение авторского присутствия в поле перемен и столкновение автоматизма с событием. Или атмосфера происшествия, открывающего дорогу следующему повороту смысла.

Леонард Шварц живет в среднем Манхэттане. Его жена Мингсиа Ли из Китая, она автор нескольких книжек стихотворений на английском. Шварц преподаёт искусство поэзии в Браун-университете, участвует в переводческих программах, он американский интеллектуал, открытый перекрёсткам языков и стиливым диссонансам. Конечно, его друзья меня упрекнут, если я не упомяну его домашнего любимца — боа-констриктора, од-

ного из самых длиннотелых, деликатных, напряжённых и задумчивых чудовищ Нью-Йорка.

Перед читателем только первая главка поэмы Леонарда Шварца. Поэма до сих пор пишется, растёт, и очевидно превратится в книгу об американской войне в Афганистане.

Батарейный Парк расположен рядом с бывшими «близнецами», башнями Всемирного Торгового Центра. Место, где находились башни, теперь называется «нулевым основанием» или «нулевой землёй» (Ground Zero). В парке — одна из немногих в городе табличек со стихами с текстом поэта Франка О'Хары, приведённый у Шварца курсивом. Табличка сохранилась после авиаудара. Санто-Доминго: одна из самых больших эмиграций в Нью-Йорке; самолёт, потерпевший катастрофу над городом в октябре 2001г. направлялся в Санто Доминго. Недалеко от Батарейного парка стоит в начале Манхэттана огромный медный или бронзовый буйвол, серьёзный, в диком рвении, с раздувающимися ноздрями.

Конечно, падение вавилонской башни последовало за смешением и подтасовкой слов.

Вавилон, языков начало, песня до слов.

Вавилон — это ноль и земля, средне — английская почва с арабской цифрой, назовём его Ноль Земли.

Высокомерие сердца и демонстрация демиурга, зиккурат, нацеленный в нерождённое солнце, во рту его рот желания: богов создаёт человек.

Здесь стоял Северный Фаллос и Южный, теперь зевают курящиеся провалы, дым вещества разнося по меняющимся морским бризам.

В этих дымах роятся тела, мы вдыхаем друг друга. Вавилон и Кабул.

Размножается Арес по мировым столицам: крошево фурнитуры пилотных кабин вращается, иностранцы моргают в кратерах Марса.

Кабул — Вавилон: библия где — нибудь в раздевалке мотеля в Алабама ли, в Бирмингеме, эспланада Батарейного Парка и зал ожидания в аэропорту Санто-Доминго.

Кашгарская девушка, чёрноволосая и чёрноглазая, может, тринадцатилетняя? В красном платье, глядящая восхищённо на иностранку, попавшую по дороге, нежно пытаюсь ртом сказать ей единственное — по— английски — слово: привет!

Прыткий наш Вавилон, переплавивший что— то, сумасшедший и экстравагантный, беззастенчивый и взыскующий высоту.

Ты Месопотамия в прошлом — суперсила эпох, отхлынув от Гильгамеша, а теперь ты — Ирак.

Вавилон, ты — Багдад и Белград и наш дворик, мир — сам с собой непрерывно торгующий именами — Центр.

Три языка в Вавилоне, а лепет трёх тысяч; как детский сюнячик, подвязан Манхаттан.

Младенец лепечет сагу о львах, поедающих книги. Эти львы съели книги, и Вавилон — книги на полках Библиотеки Случайных Событий.

Нет черни в законе в том Вавилоне, любая речь равноценна.

Вот лезвие, срезавшее Вавилон, а вот борозда, откуда он вышел, ни одно зерно не сказало «нет».

Вавилон омыл своих предков печалью, наградил своих строителей медленными червями.

Вавилон родился, его строили краны и раны, жизненный путь — кинжал, войны, начавшиеся с катастрофы в постели.

Кто брил свои промежности вавилонской боксёрской бритвой, родился от строительного мусора, священные бабуины патрулировали окрестности.

Вавилон — это Будда, обходящийся без слов, Вавилон — это спаривание, гром, киты бубнящие, дождь, укор и топор, это буже— бен— ладен и слава.

Отвесные фасады покорежены, как поверхности скал, так много отвязанных гор, капитан FBI повторяет: «моя ошибка».

Волн бубнeёж и причалов, торговцев, город, гордый железом и мозгом, лепет и бубнение кафедр хвостовства, это слова на кончике языка или беда в ноздрях сопящего буйвола.

Параллельно и согласованно я падаю с вавилонской башней.

Я не могу насладиться даже листом травы, если не знаю, что здесь ручка сабвея или магазин аудио или другой знак, что люди не полностью пожалели о жизни.

Спотыкание и заикание, камень гладкий, как кожа, башни раскачиваются на ветру, как человек, у которого не язык во рту, а полуживая кукла.

Это пекарня с раскалёнными булками, где пироги безразмерны, чьи батоны вселяют ужас, окроплённые болью.

Это плоть в искрах рассола, асфальт, раскрошенный в лихорадке, это волки в кровавом вое на сгорбленный месяц сердца.

Побитый игрок в баллистический мяч, Вавилон — сосулька во рту у тебя, словно флейта, звучащая каплями, падающими на барабаны.

Башни, чьи мельтешащие усики напоминают виноградные лозы с подпорками, их убрали по требованию Диониса при встрече востока с западом, нежелание, скрепя сердце, посадить своё Я.

Вавилон, только шествие слов, вооружённых факелами, мечты, опрокинутые всё большими грёзами, истина каждого кратера — Большой Взрыв, пробудивший нас, пропасть между «это случайность» и «Господи, это намеренно!», бомбардировщик Б1 здесь строил мёртвым ходом винта, мёртвый ход к мёртвому ходу, к мёртвому ходу, и ещё, нагнетая, «гетто», барьеры, наша республика страха.

Эластичный, чтоб двигаться с ветром, и жёсткий вполне, чтобы мы не заметили этого. Вавилон — резинка жевательная, прилипшая к твоему лицу.

Присутствие — Вавилон, и отсутствие — Вавилон. Только праздник присутствия и более ничего.

Нет больше боящихся взрывов, нет больше оккупирующих земли: святы взрывы, оккупированные земли.

Вавилон, так вопит человек, прыгающий с высот, где нету другого, кто услышит его; Вавилон — это воображение в полёте — себя, миг, длящийся в бессознательном Вавилона.

Вавилон — солнечный луч, стеревший земные границы, поле, заминированное светом.

Вот так — то вам, Вавилон!

Если архитектура это музыка замороженная, тает она, дымные черепки и мелодия и раскалённая земля похоронная — Вавилон петь его умоляет.

Вступление и перевод с английского Алексея Парщикова

Александр Суконик

МОЙ ПОСТСКРИПТУМ

Скажу еще несколько слов, и все. Несколько слов на тему Высокого и Низкого, потому что пытался на эту тему и раньше, но не сумел сказать наиболее существенное. Порой даже впадал в сентимент и полагался на прошлые истины, а это уже совсем плохо.

Взять, например, знаменитого «Дон Кихота», который написан как раз на эту тему: какое он имеет к нам отношение? Согласен, ироническая идея романа, что *высокое есть прошлое, и что оно есть фантом, мечта*, и сегодня верна, но все остальное? Высокое у Сервантеса это безвредный, трогательный и тронутый гидальго, а низкое (Санчо Панса) одно добродушие, которое с почтением взирает на это высокое снизу вверх — какое это имеет к нам отношение? Современное низкое вовсе не добродушный Санчо Панча, но нечто могучее, именуемое, когда деньгами, когда технологией, а когда и вообще демократией, тогда как высокое (романтическое высокое, националистическое высокое и т.п.) тоже не подарок в своих попытках бороться с низким при помощи оружия и концентрационных лагерей. Высокое обвиняет низкое в декадансе, разложении, аморальности, низкое обвиняет высокое в эгоизме, агрессивности, узости взгляда, боязни смотреть правде в глаза и так далее и так далее, а мы, как между молотом и наковальней, должны произвести свой выбор — ну что, разве это не смешно (или не печально)? Идет постоянная война, в которой низкое — караул! — неуклонно продвигается вперед — вот настоящее положение вещей — при чем тут «Дон Кихот»?

Или при чем тут даже более близкие по времени литературные персонажи, например, старый князь Болконский из «Войны и мира»? Толстой ведь тоже преподносил старика Болконского чудачком (человеком прошлого), преданного высоким идеалам. И, хотя и не таким безвредным и бескорыстным (неэгоистичным), как Дон Кихот, но достаточно симпатичным. Старик Болконский тоже как бы отжил свое, хотя Толстой смотрит на это «свое», как на нечто превосходное — и при этом надо учесть, что Толстой вовсе не был проponentом войны и воинской чести на манер Кипплинга, в то время как старый князь есть истинный кипплинговский герой. Нам преподносится пара: старый князь — маленькая княгиня, и здесь старый князь представляет т.н. мужское (назовем его высоким, абстрактным, еще каким) начало («...коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... а коли узнаю, что ты повел себя не

как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно!», а маленькая княгиня — женское («мой муж идет на войну, чтобы быть убитым»). Разрыв между ними абсолютен, даже малейший контакт невозможен, и симпатия Толстого на стороне старика, что, повторяю, вообще говоря, не характерно для Толстого. В романе маленькая княгиня проигрывает свою битву со старым князем не только тем, что написана недоброжелательно, но, может быть, куда больше тем, что быстро умирает, однако на сегодняшний день можно смело заявить: маленькая княгиня умерла, но дело ее живет и процветает — не в России, нет — но в пределах западной цивилизации, внутри которой я нахожусь и откуда свидетельствую.

Что касается России, то тут, как всегда, дело гротескней и неприличней. Я прожил первые сорок лет своей жизни в Советском Союзе, а остальные годы провел на Западе, и это делает мое положение вдвойне смешным. Мне сейчас по паспорту шестьдесят девять лет, но на самом деле, в смысле проблемы «высокостей», мне не только не те 150 лет, которые отделяют нас от «Войны и мира», но, может, и не 1500, а все 15000, так хитро была устроена советская культура, под эгидой которой я вырос.

Я с тоской вспоминаю чистое и наивное старое время (как же мы его не ценили!). Лет 35 назад мы с приятелем получили доступ в Дом Кино смотреть неведомые заграничные шедевры — Бунюэля, Бергмана и так далее, по три фильма в день — и так на несколько дней. И вот, на третий день показа мы вышли на улицу Воровского, вдохнули глубоко московский воздух и признались друг другу в одном и том же ощущении: нам было душно, мы не могли больше этого вынести. Мы не могли вынести столь долгую погруженность в *узость современности*, вот как мы были устроены (у нас-то «современное» — немножко ли получше, немножко похуже, немножко более или немножко менее имитирующее прошлое — все равно было крайне условно и безопасно, пока не появился «Один день Ивана Денисовича»). В широкость же прошлого мы могли быть погружены постоянно, Сервантес ли там, Гете с его Фаустом, или дон Жуан... или еще дальше во времени: древние греки, Платон... И мы этим очень гордились, и были счастливы. Конечно, мы презирали советскую власть и конечно были уверены, что советской власти отнюдь не по душе вот эта наша погруженность в «вечные ценности прошлого»... а вот тут мы весьма ошибались.

Мы думали, что Советская власть крайне консервативна, а в ней было что-то более глубокое: она хотела сохранить райскую недвижимость высокого. Я помню, как фильм Феллини «8 1/2» получил на Московском кинофестивале первую премию, но не был куплен

для проката. Это было против всех принятых международных норм, это, в общем, был скандал, который сильно вредил престижу Советского Союза — и почему же после всего было не купить фильм, который не содержал в себе никакой политической угрозы, никакой антисоциалистической пропаганды? Купить и потом вообще, или почти, не показывать его? Да какое же малое число людей вообще стало бы его смотреть? Но он справедливо вызвал у наших высокопоставленных хранителей высокого и вечного такое отвращение своей разлагающей новой формой, такое *инстинктивно* враждебное чувство (которое выражалось в длинных матерных построениях), что ни о какой покупке не могло быть речи. Вот это слово «инстинктивно» многое объясняет, и оно не имеет отношения к марксистским догмам: тут работал «рабоче-крестьянский», как советчина его окрестила в годы своего начала, инстинкт. И хотя с годами идейный напор ослабевал, этот инстинкт, напротив, все укреплялся и усиливался, захватывая все более и более широкие слои населения, и теперь это уже был поистине всенародный инстинкт (он владел антисоветчиком Солженицыным в той же степени, что и любым членом политбюро).

Согласен, что этот инстинкт можно назвать страхом нового, потому что страх перед новым и непривычным может вызывать отвращение, которое только что упомянул. Соглашусь и с тем, что этот инстинкт царил у нас с такой силой вследствие обужения сознания, постоянного вдалбливания черно-белого видения мира, исчезновения культуры мышления, и так далее, и тому подобное. Но куда верней назвать его инстинктом высокого, потому что приверженность к высокому всегда несет в себе тенденцию к стагнации. Чем выше понятие, тем меньше, по определению, оно склонно к изменению (иначе: в чем же состояло бы его обаяние для нас?), и потому тем больше оно отучает от восприятия новизны. *Но новое всегда приходит снизу и в форме низкого* (вот еще мерзкая истина). Наша жизнь была пронизана пропагандой высокого в стиле старика Болконского — конечно, теперь легко говорить, что это была фальсификация, но тогда все было сложнее и упрощенней, а сейчас — поздно махать кулаками после драки. Если в романе Толстого старик Болконский и маленькая княгиня это только отправные точки, заявка экспозиции, так сказать, а развитие соотношений между мужским и женским, высоким и низким происходит через судьбу, скажем, князя Андрея, то у нас никакого, конечно же, развития не было. Если роман называется «Война и мир», то нашу жизнь можно только назвать «Война» — и действительно, несмотря на столь частое употребление слова «мир», советская жизнь состояла из перманентной войны на разных фрон-

тах — против капитализма, против империализма, против врагов народа, против двурушников, против пережитков буржуазного сознания, против пережитков мелкобуржуазного сознания, против..., против... или же за..., за... (за мир во всем мире, например и опять же). Иными словами, мы жили в мире пусть даже фальшивого и пропагандного, а все равно высокого морального напряжения и высоких моральных условностей, и — что особенно примечательно — женское у нас было отделено от мужского так же, как в мире семьи Болконских. В советской литературе было много героев, подобных старому князю, а только *все это были молодые, или, по крайней мере, нестарые люди, и они олицетворяли не прошлое, но светлое настоящее и еще более светлое будущее*. Тут-то уместно привести слова «мы рождены, чтоб сказку сделать былью», и прояснить, в чем состояла истинная сила советской идеологии. Да, у Сервантеса (как и у Толстого) — высокое это мечта и идеал, высокое приходит не из реальности настоящего, а из писаний и идей прошлого — как зерно, отсеянное от плевел сквозь мишуру времен. Но советская идеология делала все, что было в ее мощных возможностях, чтобы перевернуть представление о паре высокое-низкое, превратить высокое в каждодневную реальность, а низкое делегировать в область иллюзорного, химерического, дрожащего, как не слишком стойкий, готовый вот-вот исчезнуть туман над болотом. И ей это удалось — пусть даже на время, и на это время у нас не было ни денег, ни секса, ни пожаров, ни землетрясений, ни убийств, ни, может быть, даже болезней. И если даже на время, то это время еще далеко не кончилось, хотя с другой стороны и по всем другим признакам оно потерпело внезапный и чудовищный крах.

(...и вот, пел же Шаляпин в романсе Рубинштейна: «Ах, если б навеки так бы-было!»...)

Когда упал железный занавес, многие деятели искусств восточноевропейских стран весьма характерно реагировали на положение культуры Запада. Они ругали Запад за то, что после войны он предал их страны дикой и чуждой России, они издевались над павшими коммунистическими режимами, но они же — это главное — объявляли себя истинными хранителями европейской традиции, потому что именно они сохранили, мол, представление о высоких ценностях и высокий язык, в то время как на Западе произошла эрозия этих понятий. Среди них было много юмористов, но ни у кого не хватало юмора признать, что сохранили-то они эти понятия не вопреки, но благодаря той самой ненавистной России, которая насадила у них советскую власть. Между тем «ненавистная Рос-

сия» в это время снова оказывалась вне конкуренции. Не в том дело, что низкое в России вдруг оказывалось единственной реальностью и возносилось до самых небес, даже еще выше (свято место пусто не бывает), не в том даже дело, что теперь все, абсолютно все в открытую, до примитивности и какой-то особенно русской крайности и неприличности становилось продажно (оно и раньше было продажно, но не так), но одновременно и *независимо ни от каких низостей* на небесах восседали прежние высокосты: муляжи имперского герба, православного бога, советского гимна, и из такой комбинации начинал вариться компот, именуемый «российской демократией». Вот это было да! Это было по-нашему! (То есть, вопреки всяким элементарным нормам логики или глупых ожиданий; вопреки хоть какому-то пониманию порядочности). Кто же в России способен был опуститься до того, чтобы задуматься над проблемой соотношения высокого и низкого, на тем, что это соотношение меняется со временем — да нет, но и вообще допустить, что оно существует? Сперва я этому удивлялся, потом озадачивался (испортил меня Запад!), потом даже пытался рассердиться, пока не понял тайну великого замысла моей великой страны: как же она могла изменить самой себе и признать подобное соотношение? Да ведь это могло привести к роковому результату, к потере столь дорогих сердцу вечных истин, к ужасающему признанию (немыслимо подумать!), что эти истины каким-то образом могут быть не совсем вечными... нет, невозможно!

Когда же я все это понял, то мысленно вознес хвалу Создателю (на тот маловероятный случай, что он существует). Потому что: в скуке своего эмигрантского существования, что бы я делал, если бы Россия перестала развлекать меня? Если бы стала «как все» (по насмешливому выражению одной бывшей западницы, которая обернулась в девяностые годы яркой националисткой и антисемиткой)? То есть, стала бы такая же порядочная и скучная, как европейские страны?

Бывшая западница была права. Включал бы я у себя в Нью-Йорке русский канал НТВ и попадал бы, скажем, на празднование годовщины со дня избрания президента России, и... и что же? И выходило бы празднование, как празднование, не лучше и не хуже, чем в других странах — немножко уму и практически ничего сердцу (не говоря уже о печенке и селезенке, которые здесь как раз важнее всего). Но, вот, я включаю это празднование *на самом деле*, и что же вижу? То есть, как тут заезжает от восторга сердце, и как начинают подпрыгивать, хихикая, селезенка и печенка! То, что я вижу, сразу апеллирует к моему художественному воображению, и мгновенно вспоминается пугалка из детства: «в одном

черном-пречерном городе была черная-пречерная улица, на этой черной-пречерной улице стоял черный-пречерный дом...» и т.д. вплоть до черного гроба и КРАСНОГО РАКА. Я вижу, что в одном огромном и роскошном кремлевском зале есть огромные и роскошные (метров, наверное, в двадцать высотой) золотые ворота, и в один прекрасный день эти золотые ворота с трудом, на полусогнутых, растворяют двое хлипких молодцев, облаченных в костюмы из оперы «Сказка о царе Салтане» (один из молодцев почему-то в черных очках), а уж тут-то из ворот появляется и начинает выпшагивать по КРАСНОМУ КРАСНОМУ КОВРУ ЧЕРНЕНЬКАЯ ФИГУРА ПРЕЗИДЕНТА (а я между тем пытаюсь ущипнуть себя, чтобы проверить, наяву ли все это происходит.)

А вот деталь из заморской жизни. В Нью-Йорке, на небезызвестной Брайтон Бич Авеню открылся очередной эмигрантский ресторан под названием «Imperator». Вообще говоря (то есть, помимо всего) он являет взгляду удивительное зрелище. Весь фасад двухэтажного дома, в котором размещается ресторан, облицован кофейным, с прожилкой, мрамором — в Нью-Йорке, в специфических районах Бруклина или Квинса, где пахнет мафией, таким образом облицовывают итальянские похоронные дома. Но, конечно же, наш ресторан обязательно так должен был быть облицован, тут и говорить не о чем. Я только вот что хочу добавить. Наверху ресторана красуется огромный, выпуклый цветной российский герб все с тем же двуглавым орлом и прочими имперскими причиндалами, и это сочетание названия и герба привело меня поначалу в тупик. Все-таки это было как-то слишком. Все-таки, несмотря на то многое, что я знал о наших людях, я не думал, что наши евреи смогут открыть ресторан под таким названием и таким гербом. На Брайтоне и вообще в Нью-Йорке есть русские рестораны, как с привычными («Националь», «Арбат»), так и экзотическими («Распутин», «Самовар») названиями, но «Imperator» побивает все. И это не приманка для американцев, которые такое название просто не поймут, потому что по-английски следовало написать «Emperor». Это сугубо для внутреннего употребления и наслаждения. Я, видимо, так обамериканился, что подумал, что скорее всего ресторан открыли «новые русские», благо здесь полно их денег, да и их самих тоже. Я уезжал из СССР в 1974 году и знаю тогдашний контингент эмигрантов-евреев (не имею в виду интеллигенцию). Это были люди, нормально ориентированные на низкую конкретность жизни и ее благ, они открывали магазины и рестораны, прожив в Америке столько лет, они не смогли бы называть ресторан «Imperator»: элементарная национальная гордость (которая здесь осознавалась и усиливалась) не позволила бы. Что

дал евреям русский император, из чьей страны они валили массой в начале века в Америку? Нет, тут должно было быть особенное подобострастие к моменту российской ностальгии по высокому и особенное историческое беспамятство — между тем я узнал, что действительно ресторан принадлежал двум нашим евреям...

Что еще я могу сказать, созерцая *imperator'sкий* ресторан-мавзолей? Я понимаю, какое богатство возможностей он таит для ново русских писателей типа Пелерина или Сорокина: любой из них, стоя на моем месте, мог бы тут же сочинить целый роман. Расположив, например, посреди ресторанный зал гроб с мощами последнего российского императора и изобразив, как гуляет вокруг него под оглушительную рок-н-рольную музыку эмигрантская толпа... что-нибудь в таком роде... я бы тоже так хотел! (то есть, не гулять, а уметь писать.) Только мне упомянутый возраст не позволяет. Те, кто находятся в «своем возрасте», живут, как мухи на свисающей с потолка люстре: закрутите люстру вокруг оси, и мухи не тронутся с места, потому что всё вместе с ними крутится (домашнее доказательство закона относительности движения). Но так как я давно уже не на российской люстре, то гляжу на ее кручение с некоторым удивлением и даже отвращением. Недавно мне показали, изданную в Москве брошюрку «За Глинку!», в которой на этот раз братия из моих сверстников выступает против музыки советского гимна: ни одного незнакомого имени, все шестидесятники, как я! Все те, которые помнят сталинскую эпоху, и их ненависть к коммунизму так же сильна, как был в их годы силен коммунизм. Но почему я, чья душа тоже испепелена той самой ненавистью, не разделяю их негодования? Почему испытываю к ним даже пренебрежение? Ах, да: а почему они не возмущались, когда власти вводили старорежимные флаг и герб? Советские высокости ими девальвированы — прекрасно — но как насчет высокостей царской России? Вся разница между молодыми и старыми только в том, что старым не все равно, какими стереотипами и предрассудками, символами и высокостями жить, а молодым все равно. Советские для молодых даже лучше, потому что ближе по времени и наглядней — и я их понимаю. Серп и молот выглядит лучше двуглавого орла, несравненно лучше! Орел без короны лыс и смешон, а с короной был бы еще смешней. Или другими словами: серп и молот не требует выработки национальной идеи, а обновленный орел требует. Можно ли найти в мире другую страну, где правительство дает указание о выработке национальной идеи, а интеллигенты тут же начинают глубоководные рассуждения (сам присутствовал на одном из таких собраний)? Тут истинное новаторство, и мир бы должен снять перед Россией! Я

понимаю, что всякая высота, взятая из прошлого, требует духовного напряжения, но до сих пор духовные напряжения вызывали к жизни призраки высоких прошлостей (как, например, немецкий нацизм индийскую свастику), а тут намечается противоположный вариант. Тут намечается, что, вырядившись в оперные костюмы прошлого, можно вызвать из пустоты пространства призрак когдатошнего духовного напряжения... черт побери, мы всегда умели переплюнуть немцев (как, впрочем, и англичан и французов). Вся эта процедура напоминает мне попытку вызвать у трупа эрекцию, пропуская через него ток высокого напряжения... замечательная попытка!

Да, мы особенные люди. Если к нам присмотреться, то можно заметить, что мы, когда общаемся с другими людьми, то, как будто одновременно блуждаем вокруг себя глазами в ожидании чего-то. Будто ждем, что какой-то дух снизойдет на нас... или духовность... да, да, именно духовность! Я упомянул немцев — что ж немцы, у них духовность внутреннее качество человека, которое невидимо остальному миру, как слезы известной чеховской дамочки. Но у нас все совсем не так плотно, у нас духовность существует еще, как нечто постороннее, призрачно обозримое всеми (и все к ней должны тянуться). Иначе, почему в произведениях русской литературы столько о ней разговоров? Как в платоновом мифе о людях-половинках, что всю жизнь ищут свои потерянные половинки, так же и у нас всегда происходила постоянная и огромная *престижная* работа по нахождению и достижению этой самой духовности. В благополучные времена, в расцвет советчины, духовность парила над нами наподобие горьковского буреви́тника, вела за собой миллионы на подобие горьковского Данко, и диапазон чувств, которые она вызывала к себе, мог колебаться от восторженного поклонения до яростного отвращения и страха, но презрительным усмешкам тут не могло быть места. Теперь же смена караула, и вместо великолепно марширующих миллионов пионеров и комсомольцев, по улице бредет толпа купленных за какие-то гроши правительством «Идущих вместе» прыщавых юношей и девушек. Тут соединяется все, и глупость и безнравственность, но главное неэффективность и особенная жалкость попытки каким-то образом имитировать духовный всплеск: стоит только посмотреть на бесхребетно осклабившиеся лица этих юношей и девушек и вспомнить лица пионеров и комсомольцев на марше... Если бы в России могло быть понято, насколько высокое на данный момент ее жизни девальвировано, опорочено и перестало существовать, а главное, *почему это произошло*, тогда, может быть, появился бы проблеск надежды на то, что последняя черта

достигнута, и в какой-то момент начнется хоть какое-то разумное движение куда-то... Но требовать такое значит требовать нереальное. Сегодняшняя Россия в смысле потери высокостей напоминает даже не общипанного орла, но курицу, которой отрубили голову, а она вырвалась из рук и стала бегать, хлопая крыльями, по двору. Если у тебя больше нет головы, как ты можешь знать, что у тебя ее нет? Тем более, что все это случилось не внезапно, и голова исчезла не вследствие коварного действия каких-то посторонних сил. Сегодня в России призрак духовности окончательно отделился от человека, забрал у него недостающую себе часть, материализовался и уплотнился в посторонность — повис над нами отрубленной куриной головой...

Ладно, довольно о России, примусь-ка за Запад. Я читаю английский роман, действие которого происходит после Первой мировой войны, и героиня говорит: «Теперь нам было ясно, что наступает время, в котором только деньги будут иметь значение». Я недоумеваю: что она имеет в виду? Если бы это была аристократка из бывшей Австро-венгерской империи, я бы понял: пала империя, пала иерархия общества, а когда рушится иерархия, кажется, что надо всем восторжествовал низ. Но Англия? Никогда не встречал в литературе намека на то, что именно война начала века внезапно изменила соотношение между верхом и низом, думал, что скорее американизация промышленности, реклама и так далее. Но коль скоро написано, значит, надо верить. Тем более, что написано без моральной претензии, как и должно быть у англичан. О, эти англичане, не люблю я их! Не у них ли еще в 16-ом веке появился снижающий реалист Шекспир с его огромным поп-театром и папашей-ростовщиком, судимым за жульничество? Не у них ли первых возник парламент и произошла индустриальная революция, да и вообще кто выдумал для искусства слово «entertainment» (развлечение)? И кто стал называть снисходительно, почти издевательски, высокое направление ума «high brow»? Нет уж, я всегда предпочитал англичанам немцев, те, по крайней мере, на протяжении своей истории не так легко расставались с высокими недвижимостями. Тут я соображаю, что именно в результате Первой мировой войны явились к жизни два режима, каждый из которых по-своему пытался остановить понижение в эгалитаризм, деньги, демократию, что еще. Один из них был, конечно, несравненный наш, коммунистический, а вот другой — как раз немецкий, нацистский. И пусть между ними была разница, но оба работали в одном и том же направлении и оба показали *в каком обличьи может в наше время только и явиться миру высокое.*

Вот ироническая мысль, которая не могла бы пробиться, например, в романтический мозг Хайдеггера, но которая вполне легко могла бы явиться Ницше. У нас она могла бы явиться Пушкину, но в этом смысле Пушкин от нас куда дальше, чем Ницше от сегодняшних немцев... так далеко, что и не вообразить. Ведь немцы что: я их люблю, но поглядите, как и они легко сдались на милость низу и демократии! Не в военном смысле сдались, а в смысле, что им явно не хватило той связи с высоким, какая была, есть и пребудет у нас. (А нас-то никакой план Маршалла не переборол бы!) Недаром же знаменитые русские философы Бердяев и Булгаков громили протестантов за то, что те предают преданья седой старины и все вперед, вперед, по дорожке умствований — вот и результат: корни-то высокого были подрублены еще Лютером! Да и нацисты были хороши, им бы вместе с книгами еврейских авторов и Томаса Манна сжечь книги Канта, а они позволяли преподавать его на полную катушку и без всякого «угла зрения»! А сами в то время занимались идиотскими экскурсиями в Гималаи и раскопками черепов в поисках расовых предков — какая провинциальность, какая местечковость, какое отсутствие идеологического чутья.

Кант ведь что такое был с его признанием абсолютно автономной ценности человека? Я приведу одну только выдержку из его письма, и, надеюсь, всем всё станет ясно: «Я по своей природе исследователь. Мной целиком владеет страсть к познанию, беспокойство, которое сопровождает прогресс познания и чувство удовлетворения, когда достигается результат. Было время, когда я верил, что в этом заключается высшее достоинство человека, и я презирал невежд. Руссо избавил меня от этого предрассудка. Я научился уважать человечество и полагаю теперь, что буду менее полезен в своем деле, чем самый неграмотный человек, если не склоню голову перед достоинством остальных людей, какие они есть, в деле установления прав человека».

Вот вам теплая компания: Руссо и Кант, Франция и Германия, короче вообще Европа. Тут я снова вспомню наших философов и провидцев: они ведь грозили пальцем, они предупреждали! Но и они же пытались усесться между двумя стульями поближе к Европе, даже если поучая ее при этом. Между тем тут невозможен компромисс: или преданья седой старины, или избавление от предрассудков. Или заветы предков, или западная традиция отвлеченного мышления, третьего не дано. Отвлеченное же мышление это такая трудная, а главное безрадостная штука — отвлечение от чего? — конечно, самого себя, от всего того, что по первому импульсу питает твою мысль и одаряет твои чувства. Отвлеченное

мышление убивает способность к художественности мышления... было, правда, и у нас время, когда оно возносило наших писателей на иной уровень, а только каких мук это стоило! А вот если бы без мук, если не было бы Петра Великого, то не было бы Достоевского и Толстого, зато были бы тишь да гладь. Отвлеченное мышление берет начало в платоновом мифе об узнике, прикованном к стене пещеры, так что если бы европейская цивилизация отталкивалась только от иудаизма, из нее вышла бы одна Византия, а потом Россия и больше ничего — и было бы так прекрасно, как ни в сказке сказать, ни пером описать. Отвлеченное мышление избавляет от предрассудков, но повторяю: зачем это нужно? Я спрашиваю у своих бывших сограждан: как можно жить без предрассудков, если *без предрассудков невозможна экзальтация*? Быть может, экзальтация нужна только поэтическим натурам — в таком случае, кто же у нас в стране не поэтическая натура и не потенциальный писатель?! Как было написано в 19-том веке: «поэтом можешь и не быть, а гражданином быть обязан» — и эта альтернатива была выбрана не даром. Не «генералом можешь и не быть» (или присяжным заседателем, или министром внутренних дел, или самим батюшкой-царем), а именно поэтом. Поэт тут представляется высшим носителем истины по вдохновению и экзальтации, усладителем душ и умов некоей высшей гармонией, и можно ли вообразить такого человека, оперирующим в безиерархическом пространстве, где нет ни высот ни низа (а именно этого требует избавление от предрассудков)? Да он скорее даст себя растерзать диким животным, чем согласится на такую участь! Поэт в этом смысле несравненно хуже царя, которого все-таки можно лишить *его* иерархии (сместив с должности), и он станет скромно жить на пенсию, вовсе даже не думая о самоубийстве, не хватаясь за горло и вопя, что задыхается, что в современной атмосфере для него нет кислорода, и так далее и тому подобное, — весь этот поэтический набор. Так что в вышеприведенной цитате противопоставление поэта гражданину угадано правильно. С той только добавкой, что никто из нас не годится ни в генералы, ни в присяжные заседатели, ни в министры внутренних дел, ни в цари, а только в поэты (даже если поэты это «поэты»).

Тут есть что-то такое, что я скорее могу выразить через штрихи жизни, чем рассуждения. Вот, еду я по улице на велосипеде, а из боковой улицы выворачивается тоже на велосипеде хилый юноша с «кипой» на голове («еврей»). У меня хороший гоночный велосипед, у него не такой хороший, и я еду с приличной скоростью, а он до тех пор ехал куда медленней, эдак прогулочнo. Но, увидев меня, он вдруг нажимает на педали, лихорадочно прибав-

ляет в скорости и даже привстает над сидением. И на какое-то время обгоняет меня. Все это выглядит жутко смешно из-за суетливой откровенности, с которой он это делает. Разумеется, мы с ним живем в англосаксонской (в основном) стране, и идея соревнования, идея быть первым, это очень американская идея. Но разве юноша-потомок северных европейцев стал бы устраивать такую карикатурную гонку со стариком? У него есть, несомненно, гонки с себе равными, и как бы они не выглядели, они не выглядят смешно, потому что он потомок генералов, министров иностранных дел и царей. А хилый еврейский юноша выглядит смешно, потому что он потомок поэтов, и ничего с этим не сделаешь. Теперь другой пример. Помню, как много лет назад, когда еще существовал Советский Союз, приехали в Москву на какое-то молодежное соревнование по балету иностранные юноши и девушки. Это был первый случай таких контактов, и что поражало наших в иностранцах, это как они серьезно относились к своему делу, совершенно ничем больше не интересуясь. Никаких там флиртов, никаких широко открытых глаз на жизнь вообще (то есть, разные жизненные возможности), никаких взглядов по сторонам, никаких выпендриваний, скрытых или явных. Я бы мог и другие аналогичные случаи найти, но выбираю случай с балетом потому, что наши-то в балете так профессионально тренированы, что дальше некуда — тем и прославились. Но профессионализм тут не при чем, потому что у наших кроме него всегда будет что-то еще, *просто* быть кем-то или чем-то одним они не могут. Потому что простота предполагает отсутствие иерархии — не в конкретной, сугубо профессиональной области, но именно помимо нее, в общей неопределенности жизни. Но какой же смысл быть просто высоко-тренированным созданием, если не ожидать от жизни побочных вещей, которые, может быть, суть самые главные вещи? Если не ожидать, что тебе выпадет наслаждение быть выше кого-то? Лет десять назад в нью-йоркскую хоккейную команду «Рейнджерс» приехал играть молодой виртуоз из России Алексей Ковалев. Я за него болел на полную катушку, потому что люблю именно наш хитроумный стиль игры в отличие от силового канадского, и Ковалев его замечательно представлял. Я страшно негодовал на тренера команды и на игроков за то, что они не понимали игры Ковалева, говорили, что он слишком водится и дает странные пасы. Но однажды я прочитал заметку, что многие хоккеисты не любят Ковалева потому, что он на тренировках не принимает за людей второстепенных игроков, нарочно даже бьет их клюшкой по ногам и так далее. И, хотя мне это было неприятно, я мгновенно понял, что это правда, и даже большая правда, чем то, как осторож-

но и даже недоумевающе было написано об этом в статье. Там были другие, более мягкие слова, чем «не принимает за людей», но я мгновенно понял, в чем дело. У канадцев, как и у американцев, нет наших пресловутых коллективности и скромности, «я последняя буква в алфавите» и так далее. У них, если звезда, то уж звезда, а если второстепенный игрок, то второстепенный игрок, но только на льду. Только в процессе игры, то есть, по отношению к игре. Но никакой звезде не придет в голову относиться к второстепенному игроку, как ко второстепенному человеку и еще нарочно показывать ему, что он второстепенен — и, должен сказать, что это ведет к ощущению скуки жизни. Да, да, именно так, и наши фальшивые и нефальшивые скромности, которые каким-то необходимым образом соединяются со «страна рабов, страна господ», придают жизни особенный аромат поэзии — и этот аромат очень даже влечет к нам иностранцев. Конечно, хоккеист Ковалев должен был *нарочно* бить «неважнецких» игроков клюшкой по ногам, иначе как бы он дал им (и себе) знать о своем некоем всеобщем превосходстве (которое было в основном в его поэтической голове)? Как еще доказать это превосходство, если не умеешь выразить его в словесной, тем более поэтической форме? Иными словами — тут я подхожу к сути дела — если не установишь иерархию верха и низа и не найдешь себя наверху, как же ты сможешь в один прекрасный день раскаяться, обливаясь слезами (не обязательно даже пьяными) и обняться с тем, кого ты унизил? Но именно в таких постоянно повторяющихся единениях заключается тайная прелесть российской жизни, и если кто-то скажет мне, что это может когда-нибудь измениться, я рассмеюсь ему в лицо.

И опять я поворачиваюсь лицом к Западу, к Америке в данном случае, поскольку здесь живу. И тут же предлагаю перевод весьма характерного на мой взгляд стихотворения известного поэта Джералда (Джерри) Стерна. Стихотворение называется «Повея себя, как еврей».

«Когда я оказался там, мертвый опоссум выглядел как огромный ребенок, спящий посреди дороги.

Мне было достаточно нескольких секунд — увидев его с дырой в спине, и ветер шевелит шерсть — чтобы снова впасть в привычную животную грусть. Меня тошнит от страны, от окровавленных автомобильных буферов, присохшей к ним шерсти, от мерзких шоссе, от тяжелых птиц, не желающих сдвинуться с места; Меня тошнит от духа Линдберга, царящего надо всем,

этой радости в смерти, этого философского понимания бойни, этой концентрации на отдельных видах животного мира. Я объявляю, что не желаю примириться со смертью опоссума. Я собираюсь повести себя, как еврей, Прикоснуться пальцами к его лицу, взглянуть ему в глаза, оттащить его с дороги. Я не желаю стоять в мокрой придорожной канаве, пока тойоты и шевроле пролетают мимо со скоростью шестьдесят миль в час, и возносить хвалу красоте и равновесию мира, растворяясь в вечном потоке жизни, пока мои руки все еще чуть дрожат от его застылой тяжести и мои глаза еще увлажнены и плохо видят от ощущения округлости его живота, его кривых пальцев, черных усов и танцующей ножки».

Почему я привожу это стихотворение? Потому что оно пример современного западного искусства без пафоса. То есть, конечно, в нем есть пафос, только это пафос специфического «гуманного» *непосредственного движения чувств* и пафос отрицания пафоса высокого и отвлеченного, которое ассоциируется с летчиком Линдбергом. Кстати: почему Линдберг? Потому что тот летал, бросая вызов смерти, или потому что его немецкая фамилия неясно ассоциируется у Стерна с немецкими романтиками, вагнеровской «Тристаном и Изольдой», со всей этой высокой и неясной мутью, которая тоже основана на ставке на чувство — только совсем совсем другое чувство? Черт побери, Стерн меня раздражает своей простотой, которая хуже воровства: почему он назвал стихотворение «Поведя себя, как еврей»? Будь он чуть образованней, будь он способен хоть к какой-то игре интеллекта, он написал бы «Поведя себя, как маленькая графиня», и был бы куда более прав. Я не сомневаюсь, что Джерри Стерн читал «Войну и мир», но как он читал и что почерпнул оттуда, дело другое. Определив себя маленькой графиней, он прибегнул бы к отвлеченной иронии, а подобная ирония органически чужда современному сугубо прямому и простому языку американской поэзии (хотя, если говорить о бытовой и конкретной, специфически интеллигентской, политической иронии, ее тут хоть отбавляй). Чтобы иметь вкус к отвлеченной иронии, языку нужна хоть какая-то связь с прошлыми культурами (как говорилось когда-то «духовными») высокостями, а эта связь закончилась в англоязычной литературе на Беккете (хотя относить Беккета с его «ирландским» языком к англоязычной ли-

тературе тоже большая натяжка). Разрыв с высокостями прошлого у Джерри Стерна настолько велик, что всякие «знаменитые» прошлые имена употребляются, точнее упоминаются, точнее перечисляются им без особенного смысла, как некие далекие знаки на небесах, как штампы (Иисус обязательно будет «сладкий Иисус» из негритянских гимнов, Достоевский — «мучимый Достоевский», и так далее и так далее).

Я знаком с Джерри Стерном и потому могу свидетельствовать, что он не только в поэзии, но и в жизни, «натуральный», естественных, первичных реакций человек. Такого рода люди неспособны на отвлеченную, тем более острую и противоречивую мысль, которая обязательно требует разрыва с натурой, и они не доверяют такой мысли. Что понимает Джерри под словом «еврей», когда называет стихотворение «Поведя себя, как еврей»? Что-то сугубо конкретное, что он знает из своей конкретной жизни, выросши в еврейских кварталах одного из американских городов — то есть, самого себя — но это конкретное скатывается в довольно банальный стереотип «гуманиста-еврея» — таков парадокс современного либерального сознания, которое живет тем, что объявляет войну стереотипам. (На самом деле война эта объявляется искренне, только не против всех стереотипов, а против тех, которые «are not nice», то есть, в которых есть потенция к экстремальности и насилию — отсюда и налет банальности). Джерри не желает иметь ничего общего с еврейскими мистико-романтическими абстракциями типа «в следующем году в Иерусалиме» и проч., и он презирает религии. Однажды в обществе человек представился: «рабби такой-то», и Джерри не мог успокоиться: неужели он не может просто назвать свою фамилию, как все люди? Почему должен всем совать в лицо, что он раввин? Еще в другой раз молоденькая сожительница Джерри со смешком рассказала, как они остановились в Индианаполисе, на столе в номере лежала мормонская библия. Джерри, прохаживаясь по комнате, как бы машинально взял эту библию и вышвырнул в окно. Но атеизм Джерри это не атеизм человека девятнадцатого века (тот атеизм требовал обостренно рациональное мышление): человек пишет так называемые «хорошие стихи» (я надеюсь, что читатель тоже понимает, что я привел в пример хорошее стихотворение), и в то же время, что бы он не делал или не говорил, отсвечивает усредненностью, таковы наши времена. Рационализм обострил конкретность современного западного мышления, люди «стали умней», но отсутствие отвлеченных вопросов и запросов в их жизни явно укоротило и опошлило их: они хотят жить так, чтобы грунт под их ногами был как тол-

стый и комфортабельный ковер (и в этом направлении ими сделаны изрядные успехи).

Однако, опять к языку, который есть лакмусовая бумажка времени. Английский язык всегда был прям (соответствие с характером английского мышления), новейший же выпрямился и упростился окончательно и говорит о реальных вещах однозначно реальными, без экивоков, словами (поскольку нереальные вещи из сознания исчезли). Язык вообще прогрессирует точно так же, как культуры и цивилизации: от высокого к низкому (это единственный постоянно осуществляющийся прогресс в России, хотя никто об этом не говорит; остальные прогрессы нам не удавались). Если бы язык не являл свои все новые и новые, вообще говоря, мало-приятные, сюрпризы и оставался на одном месте, высокое могло бы удержаться на месте, но этого не случается. Язык постепенно не только избавляется от высоких слов и мифологических ассоциаций, но, увы, вообще от двусмысленности, уклончивости, сравнений, расширяющих время, потому что они укоренены в языке дискредитированного или просто забытого мышления прошлого. Исчезают не только витиеватость и вообще всякая неясность, но и игра мысли, оттенки игры мысли, оттенки оттенков игры мысли, ее кокетство...

Последним чемпионом игрового языка в англоязычной литературе был Беккет, для которого высокое еще существовало где-то там, непонятно как далеко и непонятно, в каком отношении с нами, но все-таки существовало. Впрочем, как я заметил, Беккет изъяснялся ирландским языком (в том числе, когда писал и по-французски), а в Ирландии и посегодняя витиеватый *поневоле* высокий язык, и понятно почему. Ирландия долго сохранялась в подневольи у Англии, вот и язык такой. Рабы, нацменьшинства и бомжи всегда сохраняют старомодность непрямого языка, потому что у них не хватает смелости изъясняться напрямую, как это делают свободные люди. Герои Беккета это тоже, по сути, бомжи, так что им подходит такой язык — еще одна сторона беккетова юмора, указывающая на гротескное положение высокого в современном мире.

Раньше я записал, что в Советском Союзе были сохранены культурные русские высокости, а низ превращен в тень, в ничто. Мы сохраняли из прошлого все оттенки стыдливости — например, по отношению к физиологии, — мы даже поднимали мораль на новый уровень по отношению ко всяким мелкобуржуазным импульсам — но коль скоро само физиологическое и животное официально более не существовало, то и мораль обращалась в пустой набор манерностей. То есть, наша повседневная жизнь, несмотря

на все ее советские лозунговые «новые ценности», сохранялась из прошлого, как сохранялись старые постановки МХАТА или имперского балета, то есть, разыгрывалась, как манерное театральное действо, как исторический («костюмный») кинофильм, хотя этого мы знать не могли. И советский русский язык в те времена был точно так же условен. Я не говорю об официальном сленге, но о так называемом литературном языке, который, в общем, сохранялся в форме того старого русского литературного языка, которому нас обучали в школе. На уровне повседневной жизни такое может показаться безвредным и приятным, но в литературе законсервированный и омузеенный язык сыграл не менее соцреалистическую роль, чем самые рецепты соцреализма, а, может быть, и большую (потому что его власть была на уровне формы и не могла быть осознана). Живой же, «новый» литературный язык в советские времена возникал и осуществлялся в широкой области подпольного анекдота, и именно из него по преимуществу вышел послеперестроечный русский язык, который начал извиваться, блистать и играть всякого рода остроумием, всякого рода уменьшительными словечками, сравнениями, ассоциациями и прочими эпитетами. Сперва мне этот язык нравился, но очень скоро я понял его неприятную сторону: полное отсутствие существенности — язык, который как бы состоит из одних прилагательных, и в котором нет существительных.

Итак, вот мой сегодняшний выбор: пойдешь направо то-то потеряешь, пойдешь налево — и вовсе с жизнью расстанешься. С какой же именно жизнью? Какая еще у меня есть еще жизнь, кроме жизни в художественности языка? Разумеется, многое связано с тем, что в нашем языке есть очарование потенциальной художественности: язык, центр тяжести которого не на существительном, а на различных довесках к существительному, на эпитетных поворотах и игре неожиданными их оттенками, не может быть не художествен... только чего эта художественность стоит в своем современном обличье? Художественность вообще вещь рискованная и одновременно иллюзорная, как улыбка Чепирского Кота. Она передает ощущение своей несостоятельности: вот она есть, вот ее нет. С чем она кушается? Попробуй ухватить ее за хвост, и так далее и так далее. Высшее проявление жизненной российской художественности на моем веку: выступление министра иностранных дел Козырева на каком-то европейском совещании верхов. Кто помнит: Козыревым были произнесены тогда две речи, первая совершенно в духе холодной войны и тут же вторая, в которой он, смеясь, указывал, что такую речь «представители цивилизованного

мира» смогут услышать, если не поддержат достаточно ельцинское правительство (не поддержат деньгами — а следующий акт художественности будет в том, что деньги разворуют). Я помню, что каменнолицые европейские главы реагировали на выходку мягколицего русского министра с неприязненным недоумением, и ни одной оценивающей улыбки. Конечно, в их представлении это был изящно исполненный акт вымогательства, но, думаю, они не были бы против политического вымогательства, исполненного напрямую и в привычных формах (что случается в дипломатии каждый день), и даже не слишком заботились о том, что деньги разворуют, но их шокировал столь необычный и чем-то неприличный спектакль. (Вот так же «8 1\2» шокировал в свое время советских лидеров.) Для всего существуют свои нормы и формы: взвихри и смешай их, и выйдет хаос, за пыльным облаком которого прячется лукавое лицо нигилизма. За истинной художественностью всегда прячется нигилизм, всегда. (А в entertainment его нет, и потому entertainment предпочтительней). Но с другой стороны, если возможность нигилизма начисто пропадает, стоит ли тогда жить? Вот вопрос, который можно задать лишь иронически улыбаясь: конечно же, только тогда и стоит, скажет все человечество за исключением, может быть, нескольких чокнутых поэтов или отдаленных дзен-мудрецов. И в особенности не столько даже человечество, сколько сегодняшняя Россия громче и прежде всех прямо-таки завопит: ох, дайте нам возможность так, без хаоса и нигилизма, хоть чуть-чуть пожить! (и если даже этот вопль напомнит вопль человека, желающего изгнать духов изнутри самого себя — тем более...)

Именно под этим углом зрения я улыбаюсь и задаю вопрос: понимают ли мои бывшие сограждане, в каком раю я теперь живу? Родившись и выросши в насильственном соцреалистическом раю, я заканчиваю жизнь в добровольном капиталистическом, а это как раз тот рай, о котором они все мечтают. И потому, если я начну выкобениваться и попытаюсь белеть одиноким парусом, то вряд ли найду у них сочувствие. Скорей всего, я и вообще не найду у них сочувствия, но что же делать? Доложу, однако, своим соотечественникам, что здешний добровольный рай организован исключительно путем избавления от высокостей, согласны ли они на такую жертву? В моей стране мысль всегда основывалась на высоких вечностях, и потому наш рай обязан был быть насильственным. Здесь, в Америке, не знают ничего когдатошнего, каждое «вчера» умирает полностью и еженощно ровно в ту секунду, когда начинают бить золушкины часы, поэтому здесь мысль доводится

до уровня комиксов, а это световые годы вперед от нас. Кроме того, как прекрасно получается, когда жизнь насыщена деньгами, поскольку деньги есть тот самый ковер под ногами, и, чем их больше, тем приятней, пружинистей и мягче по ним ходить. А если их так много, как здесь, то всякая дорога тебе ковриком в несколько персидских слоев, а то и вообще пух и перо, *и потому низкие основы жизни перестают существовать для тебя*. И здесь тоже низкое исчезает и превращается в поп-артовский лубок, можете себе представить! Что же такое были с самого начала Плэйбой и пресловутая сексуальная революция, как не лубок (если взять их в соотношении с реальностью эроса в жизни человека)? Что с того, что 90 % шуток всех stand up comedians (конферансье) наполнены клиническими деталями секса и прочих отправлений низа? Нет, нет, то есть, да, да, у нас был соцреализм, у них есть поп-арт, и принципиальной разницы тут нет. То есть, теперь у нас уже как будто нет соцреализма (хотя изрядная его доля в головах даже самых заядлых постмодернистов), и у нас стараются насчет низа — как в цивилизованных странах — ну там, постмодерняга и проч., а только дурачкам не приходит в голову: какая же постмодерняга, если нет ковра под ногами? В Одессе болельщики футбола говаривали про мазилу нападающего: писал-писал и говном заклеил, и тут что-то схожее: завихрят-завьют ребята постмодернягу на таких низинах, что причесанным американцам и не снилось, подковыывают западную блоху направо и налево, и вдруг одно словцо — и выдали с головой свое тинейджерство.

Нет, нет, то есть, да, да, американские люди совсем другие люди, чем мы (хотя при известных условиях и мы могли бы стать такими же).

Читаю в журнале «New Yorker» заметочку о некоем книжном клубе (The Readers' Subscription Book Club), который, оказывается, существовал в Нью-Йорке еще совсем-совсем недавно, в пятидесятые годы, и ставил своей целью пропагандировать «настоящую» («высокую») литературу, которая должна быть (по утопическому мнению создателей клуба) чем-то большим, чем развлечение (entertainment). Заметочка же написана с легкой насмешливостью, справедливым удивлением и чувством превосходства, что кажется, будто с того времени прошла тысяча лет, не меньше. Действительно это было тысячу лет назад, когда люди по-прежнему жили еще в мире самообмана, иллюзий и глупых претензий на важность существования высокой литературы и высокого искусства. Буквально на днях главный редактор одного из крупнейших

американских издательств сделал такое категорическое заявление: «Сейчас хорошие писатели это богатые писатели, и богатые писатели это хорошие писатели», и я голосую за его заявление двумя руками. Сказал же он это в связи с потешной заварушкой, которая получилась после того, как один автор бестселлера решил, что его творчество принадлежит к high brow (высококолобости) и отказался придти на популярнейшее телешоу, ведущая которого, Опфра Винфрей, включила его книгу в *свой* книжный клуб. (Прямо-таки употребил это выражение: я, говорит, high brow и нехорошо мне с ними общаться.) Что тут поднялось, как на этого писателя обрушились литературные критики, в том числе весьма интеллектуальные! И среди них небезызвестный профессор Блум из Йельского университета, который заявил, что если бы Опфра его пригласила, он с удовольствием пришел бы. И опять я почти с восторгом говорю, что приветствую Блума, уже хотя бы потому, что получил бы несказанное удовольствие, созерцая этого уродливого и жирного старика, этого пустомелю, который любит хвастать, что знает наизусть всего Шекспира, рядом с симпатичной телекоролевой Опфрой. Но фарс конечно не в этом, а в том, каков же должен быть этот high brow писатель, если Опфра не только была способна прочитать его книгу, но даже включить в свой клуб? Мне тут же вспоминается, как режиссер «Титаника» Кэмерон, получив Оскара, кричал в упоении, что теперь он «на вершине мира» и требовал, чтобы его ставили в один ряд с такими творческими индивидуумами как, «например, ну, Шостакович». И я не сомневаюсь, что таков и наш писатель, потому что тут обязан быть замкнутый круг, вещи должны соответствовать друг другу, и критики должны соответствовать писателям, писатели — издателям, а издатели — критикам (я не включил читателей, потому что они *внутри* круга). Жизнь, как заметил в «Докторе Живаго» Пастернак, всегда имеет свою гармонию и напоминает хорошо отлаженный механизм, потому что все люди знают, что ими управляет одна какая-то сила. У нас нет теперь такой силы, а в западном мире, и особенно в Америке она есть.

И, главное, здесь еще недавно тоже все было не так (не так по-райски). Например, во времена Фолкнера и Фитцджеральда *еще не было таких хороших писателей, как сейчас*. Издатель, современник Фолкнера, не смог бы сказать такое же насчет «богатых и хороших» писателей, зная, что Фолкнер, уже будучи известным, зарабатывает на книгах 300 долларов в год и вынужден вкалывать по самой низкой ставке анонимным (то есть, без объявления в титрах) сценаристом в Голливуде (с Фитцджеральдом произошло примерно тоже самое, он в Голливуде и умер). Тогда было другое

время, и дело конечно не только в деньгах: пастернаковская жизненная гармония не была тогда еще достигнута, хотя дело шло к ней. Гармония осуществилась, наконец, между не только писателями, критиками и издателями, но и читателями тоже: много *хороших читателей* теперь читают *хорошие книги*. Подумать только, как только выбрала Опфра в свой клуб тот самый бестселлер, и он тут же был допечатан в числе пятисот тысяч копий. А ведь это не какой-нибудь Стивен Кинг, это роман, претендующий на серьезность! Вот она, гармония: в наше время у одних людей лбы подросли, у других наоборот понизились, и теперь и те и другие близки к золотой середине — конечно теперь до рая рукой подать.

...Много воды, утекло с тех пор, как мы вышли с приятелем из Дома Кино, признаваясь друг другу, что не можем там долго оставаться, что нам душно в узкой камере современности. С тех пор наши пути разошлись диаметрально: я пустился в нелепое и мучительное путешествие в сторону Запада, в то время как мой друг сообразил уйти в благодать другой стороны — стороны недвижимости, именуемой у нас славянофильством. Как говорится, пойдешь в одну сторону то-то потеряешь, пойдешь в другую сторону и во все... Впрочем, ничего нового не было в нашем выборе путей, потому что таким образом мы лишь повторяли закольцованный российский сюжет, который возник неизвестно как давно (по крайней мере, явно до Петра Великого) и которому суждено повторяться ровно столько, сколько просуществует наша страна. Станный это сюжет, особенно если взглянуть на него со стороны платонова мифа о людях, рассеченных надвое и ищущих недостающие им половинки: что за инверсия, ведь наша дружба и взаимная любовь были так замечательны и так наполняли наши жизни, чего нам было расходиться? Но жизнью людей правят таинственные силы... Итак, я пустился тренировать себя в искусстве рациональности и достиг в этом удивительных результатов (чего российский человек только не может, спрошу вас). То есть, я хочу спросить другое, и даже не кого-то спросить, а самого себя: каков же после всего результат от этих результатов? Я мечтаю гром и молнии против всех и вся, а сам-то я как сам живу? Я не собираюсь сожалеть, вот, мол, не туда пошел, и если бы по второму разу, то исправил бы ошибку — люди, бывает, ноют таким образом — только не я. На самом деле я знаю, что есть только одно правило «нормальной» жизни, сформулированное Симоной Вайль: «человек должен вырвать себя с корнем и нести остальную жизнь, как крест» — и во все не в таком драматическом смысле, а просто потому, что чело-

век и вообще так создан жить, хоть и не понимает этого, хоть и стремиться улизнуть в какую-то выдуманную им самим «нормальность». Но на этом фоне я спрашиваю: как же я сам теперь живу? Теперь я живу, почти исключительно глаза в современный посторонний телевизор и читая постороннюю ежедневную прессу — что касается старинных высоких и вечных книг, то забыл даже, когда держал в руках одну из них. Теперь я способен сидеть хоть полдня, уставившись в самую что ни на есть глупую передачу, и хоть бы хны. Понятно, что ни американская литература ни телевидение не угостят меня «настоящим искусством», но я замечаю, что смирился с этим. Мне, кажется, и не нужно настоящее искусство, я как бы его забыл, мне подавай старый Голливуд с Кэри Грантом или Фредом Астером, и так очень даже приятно жить. Во всяком оглуплении есть особенное наслаждение, как во время болезни. Знаешь, что тобой владеет слабость, с которой ничего не поделать и которой потому лучше всего отдаться. Кроме того, такая слабость нашептывает предвосхищение конца — умиротворение перед концом, когда сам больше не захочешь жить. Я ловлю себя порой на том, что порой даже с умилением гляжу на западную цивилизацию, какая она есть на сегодняшний день. Даже на поп-культуру я гляжу с умилением: какой умный способ обезвредить истинную страхолюдность физиономии Горгоны (то есть, истинного лица трагизма жизни)! И не нужно думать, будто западное общество, теряя способность к высоким словам и истинам, теряет силу и волю существовать — вовсе нет (если бы!). Вот ошибка, которой всякие восточные (или русские) люди еще долго будут тешить себя, в то время как Запад будет становиться сильней и сильней, а они слабей и слабей (если не последуют за ним, как послушные собачки, подбирая объедки с барского стола... или не захлестнут его, в конечном счете, хаосом бесчисленного количества тел — так ведь до этого сколько мук еще нужно будет перетерпеть!). Западу не нужно больше высокое искусство, ну что ж, значит, и нам не нужно, значит таково современное положение дел и таково современное испытание. Запад может жить в нежности своей срединности, потому что до того научился понимать себя, что просто... ну просто слишком достаточно научился понимать себя, чтобы ему для этого нужна была художественность. И если он в своем материальном могуществе изнежился, все равно, чем больше в нем нежности, тем больше воли и мощи эту нежность защитить. *И все равно Запад это единственное место в мире, в котором есть напряжение движения в неизвестность будущего — без дураков, без жульничества, без имитации и подделок, и без оглядки назад.* Нет, нет, несмотря ни на что я ис-

пытаваю искреннее восхищение Западом, он предстает передо мной изумляющим глаза гигантом в балагане жизни, я хлопаю себя по ляжкам, в веселом изумлении обводя глазами честной народ: мол, видели такое? вот класс, а?

Но вдруг я просыпаюсь, во мне вдруг вспыхивает надежда. Внезапно в этом балагане разыгрывается действие: из-за кулис выскакивает карлик в тюрбане, белом халате и с кривой саблей в руке и насккивает эдак на гиганта, заставляя его врасплох. На потеху (и, несомненно, поучение) публике разыгрывается пантомима, желающая повторить сюжет из прошлого: поединок Запада с Востоком, ну прямо как на картинах или панно, что висят в тех музеях. Саладин и крестоносцы, кривые сабли и огромные мечи, вздыбленные лошади и мерцающие латы. Но только — какие тут крестоносцы и какой там Саладин! Настоящие-то крестоносцы были больше похожи на сегодняшних молодцов Талибана, эдакая воспаленная толпа оборванцев, которая, заковав своих дам в пояса невинности, вопила религиозные лозунги и, добравшись до византийского золота, пускалась в повсеместные грабежи. А балаганный Саладин, именуемый бен Ладеном имеет такое же отношение к своему предку, как, скажем, современные любовичевские хасиды к дохристианским есеевским сектантам. (То есть, все-таки имеют отношение, только какое?) Нет уж, современный балаган, так современный балаган: поймают ли бен Ладена, или он скроется, или вознесется на небо на белоснежном арабском скакуне, дела это не меняет. Талибан проясняет мне кое-что своей несомненной иррациональностью напоказ, то есть, идеалистической, литературной иррациональностью, в которую по необходимости входит жульническая непоследовательность (особенно в решающий момент) в виде ловкого маневра, обмана, лжи, бесчеловечности, беспринципности и тому подобного. Конечно, я узнаю в нем многое от самого себя, а заодно и своих знакомых или незнакомых в России, но ничуть не уязвляюсь, а наоборот даже радуюсь и веселюсь. На горизонте моей жизни, столь погруженной в западную современность, возникает нечто изначально дикое и азиатское и одновременно что-то чарующе родное. Я узнаю в нем то, от чего старался уйти и так долго и упорно уходил — но ушел ли? Разумеется, с самого начала у меня не возникает никаких романтических иллюзий насчет Талибана, но он действует на меня чисто зрительно: у всех этих людей грациозная пластика движений, в то время как здешние люди жестикулируют, дергаясь, как марионетки. Я, конечно, понимаю, что эта грациозность указывает только на то, что мусульманский мир живет вне времени,

то есть, вне реальности, в опасной и бесплодной художественной мечте, а все равно на меня действует ее художественность. С самого начала пресловутой «войны» (которая куда больше смахивает на карательную экспедицию) меня поразили газетные фотографии из Афганистана. И даже черно-белые, хотя, конечно, цветные куда больше. Каждый раз я не верил своим глазам: моргал, жмурился, взглядывал снова. Каким образом так получается, спрашивал я себя, что на каждой фотографии передо мной будто предстает репродукция возрожденческой картины — то ли Веронезе, то ли Тициана, то ли Рубенса, то ли Караваджо — неважно кого. Важно, что эстетика этих фотографий, линии одежды (материи), пластика людских движений, выражения лиц — всё, всё как будто приходило из исчезнувшего времени, из ушедшего, причем не азиатского, но европейского мира. Конечно, я понимал, что художники тех времен писали на библейские или другие мотивы людей в турбанах и при бородах, среди которых было много восточных персонажей, но ведь это была европейская живопись и европейское видение человека и вещей! Даже оставляя в стороне одежду и бороды, беря только лица: поразительно, насколько так же выглядели на полотнах художников Возрождения лица и глаза персонажей библейских или мифологических сюжетов, те же напряжение, серьезность, влажная вопросительность в глазах ... та же передача понимания крайней существенности момента. Тряхнув головой, будто избавляясь от дурмана, я говорил себе, что, конечно же, знаю, кто эти люди, что их вовсе не окружает романтический туман. Это племенные люди, существующие на уровне примитивного выживания, вот и журналисты пишут о них без прикрас, как среди них продается и покупается все на свете, включая племенную лояльность. Обычно здешние журналисты пишут чудовищно стандартно, я уже знаю одинаковую для всех схему развития и подачи материала, и ничуть не протестую против нее: так как-то привычней, право. Я знаю, что независимо от их политического направления, они впадают либо в моральный сентимент, либо в моральную сенсационность — такова Америка, но с Афганистаном происходило иначе, тут даже журналистов будто осеняла невидимая рука писателя Исаака Бабеля. Они будто попадали под влияние *эстетики изначальных условий жизни* — я выделяю слово «эстетики», потому что хочу подчеркнуть, что не имею в виду картинность, о которой только что говорил, но ту эстетику, которая у Бабеля была выше (основней) морали. Именно ее Бабель называл «благородной страстью», а мораль называл «старыми правилами мира». Бабель через свое эстетическое варварство умел коснуться основ жизни, потому что эстетика

первичной морали, и она, по-видимому, есть то самое первично низовое, чего касался Антей, чтобы обрести свежие силы в поединке с Гераклом.

Когда случилась история с одиннадцатым сентября, сожительница Джерри Стерна позвонила, чтобы узнать, все ли у нас в порядке. Мы коротко поговорили и повесили трубки, но ее ангельский голос продолжал звучать в моих ушах, и, чем дольше продолжал, тем больше я приходил в раздражение. Энн Мари (так ее зовут) была слишком хороша для меня (как, впрочем, и сам Джерри тоже). Их реакция на случившееся была такая же, как у многих американцев, которых показывали по телевизору: искреннее гуманистическое ужасание, как такое вообще могло *с ними* случиться. Непосредственные ужас и гуманное возмущение. Я же на такую непосредственность не был способен. Разумеется, это не шутка, когда на протяжении войны и также я дитя Страны Лавров, меня с детства закалило неприкрытое, каждодневное варварство жизни, потому я реагирую на вещи иначе. Я не удержался и отправил Энн Мари довольно яростное электронное письмо, в котором в частности было: «Что мне до разрушения торговых башен, если у меня в душе каждый день взрываются такие башни? Джерри немножко — или множко (тут я как раз немножко покривил душой и польстил) — как наш Пастернак, но Пастернака варварская российская жизнь притиснула-таки написать трагическую книгу, а Джерри это happy American kid. «Sweet Jesus» (цитата из его стихотворения)? Как бы не так! Иисус был одержимый социальный и мистический экстремист, да, в нем была та двойственность, которую теперь днем с огнем не сыщешь, и оттого все идет, как идет...»

Что ж, я отправил письмо и таким образом, вероятно, в очередной раз потерял искренних друзей (в последнее время теряю их одного за другим). Ну и хорошо, ну и ладно, какая мне разница? Пошли они все в одно место, все те, кто добр, доброжелателен, внимателен, даже нежен, но при этом... ааа, что говорить. Тут как-то показывали по телевизору найденную в Афганистане полукасовую пленку, на которой бен Ладен сидит с каким-то безногим муллой и, поглаживая бороду, беседует на тему уничтожения башен, какой он молодец, как он все рассчитал, как инженер, и как успех даже превзошел его ожидания. А мулла, смешной такой, явно глупенький мужичек, всё умиленно поддакивает, а бен Ладен всё переплетает свою речь стихами из Корана, и я вам скажу, что получал от этой пленки истинное наслаждение. Эти люди вызывали во мне совершенно ту же внутреннюю щекотку, что и хаси-

ды, потому что совершенно были похожи на них жестами, выражениями лиц и прочим (а, кроме того, еще непрерывно читали стихи). Какая потеха, какой музей, какой балаган, какой за спектакль «на тему»! Думаете, я бесчувственное чудовище? Пожалуй-ста, думайте, что хотите. Я каким-то образом нахожусь между Западом и Востоком и понимаю и тех и других не только умом, но печенькой и селезенкой. Мне даже кажется, что я понимаю их лучше, чем они сами себя понимают, потому что знаю баланс между рациональным и иррациональным в мышлении тех и других, а как же им самим знать такие вещи про себя: невозможная вещь. (И потому и те, и другие не станут слушать, что я говорю.) Если с одними жизнь по преимуществу говорит посредством логики и научных формул, а с другими общается в основном при помощи магии, фантазии и огненных знаков на стене, как им понять друг друга? Что может возникнуть, кроме взаимных недоверия и презрения? Я знаю, что одинок, но так ли я безразличен, так ли я далек от людей, как это может показаться из того, что я пишу? Мне скучно жить в мире, в котором нет напряжения между высоким и низким, но, кажется, человечеству тоже скучно так жить: вот, кончились фашизм и коммунизм, и кем-то была написана книга «Конец истории» — ан нет, оказалось, что совсем еще не конец истории, так что, вероятно, я не так уж одинок. У меня на письменном столе постоянно лежит том Достоевского, раскрытый на «Записках из подполья», потому что «Записки из подполья» продолжают оставаться единственной книгой для наших времен. Человек любит созидать, но любит и разрушать. Человек стремится достичь благополучия рая, но человек боится достичь благополучия рая. Человек любит процесс достижения цели, но человек боится достигнуть цели, «которая, разумеется, должна быть не что иное, как дважды два четыре, то есть, формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти».

Так что, господа, в этом смысле — да здравствует Талибан, да здравствует мусульманский Восток, который является на помощь Западу, чтобы тот окончательно не погрузился в дважды два четыре! (А что касается России с ее миражной раздвоенностью, как, вот, она висит между небом и землей со всеми своими корнями, ветками и березовыми листочками... да, что касается России...)

Александр Люсый

ЛИТЕРАТУРНЫЙ НЕБОСКРЕБ

Сумерки Раскольникова под обломками Вавилонской библиотеки

Образ «Вавилонской библиотеки» из одноименного рассказа Х.-Л.Борхеса стал одним из ключевых в мировой культуре XX века. Однако к исходу века, в контексте процессов глобализации и в русле теории и практики постмодернизма этот уходящий в зыбкую бесконечность образ конкретизировался в тоже показавшимся как будто бы образом рукотворной вечности сооружения — литературном небоскребе.

Сейчас ретроспективно становится очевидным, что подлинной «Вавилонской библиотекой» была вот уже десять лет отсутствующая «страна читателей». Имея отнюдь не «небоскребную», а скорее горизонтальную структуру, она все же рухнула в результате идеологического обвала, обратными зрительными символами которого стали, с одной стороны, всем знакомые телевизионные картины массовой защиты российского Белого дома от обесилевших танков, а с другой — зрелище решительного расстрела этого дома из танков, носителей новой российской государственности.

С легкой руки той же самой оперативной и вездесущей американской телекомпании CNN XXI век начался смещающими реальность и вымысел картинками разрушения как будто бы из триллера ворвавшимися (по пути в мусульманский рай) новейшими камикадзе новых архитектурных символов Нью-Йорка, основного города всеобщего эстетического объекта на Земле, каковым, по мнению Ж.Бодрийара («Америка»), являются США. На таком затмевающем слово зрелищном фоне блекнут (как-то по-раскольниковски, не столь эстетично) недавние массовые московские теракты (при том, что «своя» война в Чечне продолжается весьма активно).

Обращает на себя внимание и одно из знаменательных последствий террористической воздушной герильи в Нью-Йорке и Вашингтоне и ее исчерпывающего, без умалчиваний и более чем очевидного предвзятого «заказа», в отличие от отечественных СМИ, информационного освещения. В Голливуде для преодоления «синдрома 11 сентября» создан своеобразный Комитет эстетической безопасности, определяющий прокатную судьбу фильмов. Цензурируются триллеры, особенно со взрывами небоскребов, одного только названия «На улицах Нью-Йорка» или эпизода с мытьем стекол в нью-йоркском торговом центре достаточно, чтобы

фильм лег на полку до лучших времен. Зато зеленый свет семейной тематике (но тоже — так, чтобы не «все смешивалось в доме таких-то и таких-то»). Цензурная установка — после Вьетнамской войны прошло 15 лет, прежде чем о ней начали снимать художественное кино, подождем теперь и с темой терактов. Что будет с литературными детективами, не менее буквально, чем фильмы, предсказавшие действительные события, причем, сквозь призму самых разных их интерпретаций? Так, Т.Клейсон в романе «Долг чести» описал историю японского летчика, потерявшего близких в войне с США, которым он мстит, врезываясь на самолете в небоскреб.

Если когда-то русская литература пыталась решить все, в том числе и нелитературные проблемы жизни, то сейчас наблюдается массовый уход литературы в не-литературу (философию и журналистику). Наступили ли при этом и в самом деле сумерки Раскольников, героя «Преступления и наказания» Достоевского, какого-никакого, но все же христианина? Его неожиданные наследники приобрели куда более беспроблемный шанс на куда более впечатляющее, чем в христианской традиции, загробное блаженство. И, как будто бы из какой-то запрещенной сказки из «Тысячи и одной ночи», нож для разрезания бумаги, с помощью которых были захвачены самолеты, превращается в их руках в сотрясающую мир силу, превосходящую оружие массового поражения.

В этой ситуации возникает желание поразмышлять над страданиями почему-то ни разу не переизданной после первой публикации в начале минувшего века («Весы», 1904, № 11), несмотря на имеющий место волошинско-волошиноведческий издательский бум, доступной лишь в нескольких московских библиотеках статьи М.Волошина «Магия творчества». Волошин писал о наступлении «минут возмездия»: «Это действительность мстит за то, что ее считали слишком простой, слишком понятной!.. Будничная действительность, такая смиренная, такая ручная оцетинилась багряным зверем, стала комком остервенелого пламени, фантастичнее сна, причудливее сказки, страшнее кошмара»¹.

На фоне рассуждений о распространении постмодернистской стилистики и на военную область нелишнее и здесь обратиться к оставшимся не про(пере)читанными волошинским рассуждениям: «Мы привыкли представлять войну очень просто и реально — по Льву Толстому. Взять точку зрения одного человека и с нее взглянуть на грандиозное явление, не выходя из области, доступной глазу и уху, свести все до простой и эмоции неожиданности

¹ Волошин М. Магия творчества // Весы. 1904, № 11. С. 1. (Здесь и далее *Авт*)

и удивления, — этим толстовским методом можно расчлениť самые жуткие эпохи прошлого — Инквизицию, Террор, Кровавую Неделю, до самого простого видения обыденности.

Но теперь совершается что-то, к чему нельзя приступить с этой привычной и испытанной мерой. Переступлена грань реального и возможного. Расчлениť кошмар нельзя. От кошмара можно только проснуться. Но проснуться это значит перейти в иную область сознания»².

«Первые лучи приближающегося будущего отражаются в нас как желание, — разворачивает М.Волошин набросок новой, художественно-социальной поэтики пророческого предотвращения. — Поэтому всякое истинное желание, инстинктивное, бессознательное, когда хочется всем существом, не может не исполниться. Уметь хотеть — это значит предвидеть свое будущее... Будущая действительность живет в потенциальном состоянии. Она может быть выявлена мечтой и тогда она не случится в той области, которую называют реальностью жизни. Кому не случилось, со страхом ожидая какого-нибудь события, представлять себе в мечте всевозможные комбинации его, для того, чтобы оно не случилось именно так? Это инстинктивная самозащита человека от будущего. Это заклятие будущего мечтой.

Мечта это великая и страшная сила.

Она может быть смертельно опасной для непосвященных и любопытных, которые легкомысленно произнесут Сезам перед закрытой дверью, которые повернут ключ в таинственном ларце.

Горе тем, кто истощают свое будущее бесплодной мечтой! Но искусство дает мечте жало змеи и величественность камня.

В этом загадочная власть Слова.

Стихия слова — будущее. Если я захочу воплотить в слове то, что я пережил во всей полноте — это будет только слабым напоминанием прошедшего. Но если я воплощаю в слове то, что живет во мне, как предчувствие, как возможность, то слово само становится действительностью трепещущей и ослепительной. Описание смерти у Достоевского бледно и коротко, а картины безумия широки и яркие.

Реми де-Гурмон доказывает, что для позвоночных животных ложь тот же самый закон сохранения, что для насекомых мимикрия. Мы называем эту ложь мечтой.

Те гении, в организме которых заложена чересчур сложная и буйная судьба, неизбежным инстинктом самосохранения торопятся воплотить ее в произведениях искусства...

² Там же. С. 2.

Этот закон выявления будущего мечтой, неизбежный для отдельного человека, неизбежен и для целых народов. Горе тем народам, которые задушили в себе фантазию и любовь к мечте. Горе Макбету, зарезавшему свой сон!

После двух веков рационализма неизбежно наступает кошмар Террора и сказка о Наполеоне. После М-те Бовари, после Курбэ — кровавая неделя. Наоборот, 48 год, который мог быть таким ужасным в своей кровавости, был ослаблен предшествующим романтизмом.

Русская литература в течение целого столетия вытравляла мечту и требовала изображения действительности, простой действительности, как она есть. На протяжении целого столетия Гоголь и Достоевский, одни, входили в область мечты. И кто знает, какие ужасы остались не осуществленными благодаря им в начале 80-х гг.! Поднимается иная действительность — чудовищная, небывалая, фантастическая, которой не место в реальной жизни потому, что ее место в искусстве.

Начинается возмездие за то, что русская литература оскотинила мечту народа»³.

Позднейшее мнение одной из основоположниц неклассической эстетики Ю.Кристовой перекликается с конечным выводом М.Волошина. По ее мнению, незаменимая функция литературы постмодернизма — смягчать «Сверх-Я» путем воображения отвратительного и его отстранения посредством языковой игры, сплавающей воедино вербальные знаки, сексуальные и агрессивные пульсации, галлюцинаторные видения. Как считает Ю.Кристева, необходимо ослабить ошейник, символически обуздывающий сексуальность в искусстве, дать выход вытесненным желаниям, и это позволит литературе и искусству на паритетных началах с психоанализом способствовать душевному и телесному оздоровлению человека, помогать ему словами действенной любви, более результативными, чем химио- и электротерапия, смягчать биологический фатум, располагающий к агрессивности, садомазохизму и т.п.⁴ Если верить Ж.-Ф.Лиотару, вечный социально-терапевтический двигатель, благодаря постмодернистскому дискурсу, найден. «Если подключить либидо к языку, произойдет превращение либидозной энергии в языковую, появятся различные ее модальности — мифы, романы и т.д.; последние трансформируют языковую энергию в аффекты, душевные и телесные движения, порождающие, в свою очередь, войны, бунты и т.п. Так, механизм рассказа — это трансформатор

³ Волошин М. Магия творчества. С. 3-5.

⁴ Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. М., 2000. С. 126.

энергии, осуществляющий изменение модальностей и место приложения либидо... современное письмо побуждает к забвению стиля и формы. Важно не значение, но энергия. Книга ничего не несет, она многое уносит, все переносит. Это токоприемник, который преобразует электрическую энергию высоковольтных линий в движение колес по рельсам. И все это — для путешествий по пейзажам, снам, музыке, измененным, разрушенным, унесенным произведениям...»⁵. Не сыграл ли в России ее реальный, а не библиотечно-переводной постмодернизм роль социального амортизатора в ходе самого по себе сравнительно бескровного развала СССР (при том, что геополитические последствия этого, конечно, еще не представлямы), аналогичную смягчившему эксцессы французской революции 1848 года романтизму? Отличие, впрочем, в том, что, по волошинской логике, если Великой французской революции 1789-1794 гг. и ее отголоску, революции 1830 г., предшествовало спровоцировавшее ее, эстетически бескрылое, чрезмерно реалистическое Просвещение, то исторически предшествовавшая августу 1991 и октябрю 1993 гг. (как повторно-пародийным, с рядом смещений Февралю и Октябрю на метаисторическом календаре) Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г., свершалась в атмосфере отнюдь не реалистического, символистского пира, ставшего отчасти предтечей задержавшегося постмодернизма, отчасти подготовившего почву для генеральной репетиции того, как можно империи «слинять за три дня» (В.Розанов), не сумевшего тогда предотвратить последовавшую за этим кровопролитную гражданскую войну по причине роковой «далекости от народа». И все же, знаменитая пророческая строка Маяковского: «В суровом венке Революции грядет шестнадцатый год», — приблизила ли она социальную катастрофу или, наоборот, отдалила ее на целый год?

Артистической элите «серебряного» века на постсоветском пространстве наследует сейчас элита тоже библиотекой порожденных «политических филологов», успешно разрабатывающих, как золотоискатели на Аляске времен Д.Лондона, тему поруганной национальной традиции, культуры, языка, что так же связано с социокультурной динамикой эпохи постмодернизма. Именно эта элита создает сегодня полухудожественные электризирующие тексты, заразные в политическом отношении, эксперименты со временем в которых направлены на разрыв недавно еще единого пространства.

Любопытно, думается, тут вспомнить один эпизод из российской культурной жизни перед началом I Мировой войны (кото-

⁵ Там же. С. 206.

рая, согласно одной из культурно-морфологических хронологий, и стала подлинным началом для века XX). Речь идет о т.н. Репинской истории. 16 января 1913 г. в Третьяковской галерее некий Абрам Балашов набросился с ножом на картину И.Репина «Иоанн Грозный и сын его Иван». М.Волошин опубликовал в газете «Утро России» статью «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина». «Заранее подписавшись под всеми формулами выражений сочувствия и протеста», поэт попытался разобрать «психологическую сторону» происшествия. Почему Балашов спокойно разглядывал картину В.Сурикова «Боярыня Морозова» и был выведен из равновесия именно картиной Репина, что означал его крик: «Довольно крови!», которой на холсте оказалось, согласно медицинскому расследованию поэта (как будто бы сновидца), неестественно много? Не переступил ли Репин в своей картине, созданной в пароксизме слишком человеческой жалости и под влиянием театральной эстетики какую-то невидимую, но чрезвычайно, едва ли не до государственного уровня важную художественную черту? «Что общественная опасность в ней есть — это было ясно всем властью имеющим (включая Александра III и К.Победоносцева! — А.Л.), но в чем она и к какому порядку явлений ее отнести, — этого при их естественной некомпетентности в вопросах чистой эстетики они решить не могли»⁶. Сам же художник в ходе сопроводивших публикацию скандальных диспутов заявил, что террорист явно был кем-то подослан («определенной партией людей, занявшихся целью погубить русское искусство»)⁷. История, куда более поучительная для нас, чем нынешние картиноборческие перформансы (знак доллара на картине К.Малевича в знак протеста против коммерциализации искусства). Укажу, впрочем, и на сугубо персональный косвенный отголосок этой истории. Через восемьдесят лет под крылом уже не К.Победоносцева, а Е.Гайдара была предпринята попытка возрождения «Утра России», и именно автору этих строк довелось стать собкором этой газеты по Крыму. В ответ на очередную провокационную дезинформацию из центра, я отправил с мест события статью под названием «Танки «Останкино» идут впереди украинского спецназа», но название и общий вывод показали редакции излишне метафорическими.

Разумеется, возвращаясь к небосребно-вавилонской тематике, воссоздать адекватную картину героического сражения пассажиров с террористами в том самолете, что рухнул в окрестностях

⁶ Волошин М. О смысле катастрофы, постигшей картину Репина // Утро России. 19.01.1913.

⁷ И.Е.Репин у «Бубнового Валета» // Утро России. 13.02.1913.

Питтсбурга, можно будет опять-таки силами кинематографа. Но проникнуть в психологию самого террориста, того, что вдруг резко изменил направление своего «яка-истребителя» и вместо Белого дома врезался, проделав виртуозное «пике прямо из мертвой петли», в Пентагон, можно все же только с помощью пост-раскольниковской литературы, при том, что литературный катарсис, по природе своей обращен в будущее, а не в прошлое. Вероятно, это будет нечто вроде «Записок из библиотечно-геополитического подполья», уцелевшего после ответных бомбардировок выбранных мест. Так когда-то персидский царь Ксеркс приказал высечь море за то, что оно утопило его корабли. Новое в этих бомбардировках — они чередуются со сбросом гуманитарной помощи и разъяснениями в листовках, как отличить бомбы от контейнеров с продовольствием (как будто бы безадресный грант возможному интерпретатору).

Герта Мюллер

РАССКАЗЫ

Герта Мюллер (Herta Mueller) — немецкая писательница, родилась (1953) и прожила первую половину жизни в немецкоязычном Банате, в Румынии. Изучала германистику и романистику, работала учительницей немецкого языка, переводчицей на заводе, воспитательницей в детском саду. Из-за политических преследований в 1987 году эмигрировала в Германию, живет в Берлине. Уже первые рассказы Герты Мюллер, вошедшие в сборник «Нижины» (Бухарест, 1982) обратили на себя внимание критики, и были отмечены румынскими и немецкими литературными премиями. В Германии выходят ее новые книги: сборник рассказов «Босоногий февраль» (1987), повесть «Дьявол пребывает в зеркале» (1991), роман «Лиса тогда уже была охотником» (1992), сборник эссеистики «Голод и шелк» (1995) и др. Помимо прозы, Г. Мюллер издала два сборника стихотворений-коллажей, которые она смонтировала из слов, вырезанных из газет.

Герта Мюллер — лауреат многих литературных премий, в том числе премии «Аспекты» (1982), премии им. Рикарды Хух (1987), премии им. Генриха Клейста (1994) и премии им. Франца Кафки (1999).

Предлагаемые тексты взяты из сборника «Босоногий февраль». Их можно скорее назвать стихотворениями в прозе. Литературный критик Франц Христиан Делиус отмечал в журнале «Шпигель», что определяющим для Герты Мюллер является «поэтическое качество» ее прозы.

ХОЛОДНЫЕ УТЮГИ

Маленький серый человек идет с краю парка. Наверху среди деревьев.

Маленький серый человек носит два твердых ботинка, будто два холодных утюга.

Маленький серый человек ведет на прогулку непутящий пиджак, порожного пса и две бутылки молока.

Маленький серый человек останавливается между высоких деревьев. Он слушает.

Ветер выдвигает крышку его черепа.

Ветер задвигает крышку его черепа.

Ветер выдвигает и задвигает крышку его черепа.

ЯЩЕРКА

Спина отдана голой на произвол дикости.

Элиас Канетти

Листья веяли в неверном свете, будто за их спинами с тонкими прожилками смерть не впивалась черно и беззвучно в черенки.

Деревья издавали звук.

Но молодая женщина, шедшая под деревьями по асфальту, шла, словно полагая, что идет в тишине.

Походка выдавала, что она размышляла на ходу.

Если бы каблуки туфель не были такими твердыми под ее пятками, она пошла бы голой, белея икрами, по световым бликам.

Если бы она не оглянулась неожиданно, на миг, не упали бы ей на лоб волосы.

Если бы мужчина позади с черными, как закрытый гроб, штанинами не увидел ее уха, приросшего ниже кромки волос, не приблизился бы он к ее спине.

Если бы она не всматривалась в его сведенную судорогой плоть всем лицом между корнями ногтей большой руки, не проскользнула бы к ней в живот страсть, как ящерка под камень, наутро еще со вчера и с вечера уже на завтра. Тогда под спинами листьев с тонкими прожилками однажды в темно-зеленый тесный день проплыл бы мимо, без нее, закрытый и пустой гроб.

И не затронул ее спины.

ПОСРЕДИ ЛЕТА

От края леса идет по полю зеленый человек. Затылок у него наголо острижен.

У зеленого человека за спиной зеленый рюкзак. Из рюкзака выглядывает заячья голова. Возле ушей, застыв, чернеет прилипшая кровь.

У зеленого человека на голове зеленая шляпа. Вокруг тульи шелковая лента, за ней эдельвейс и перо.

Перо ошалелой курицы.

Оно не шелохнется, будто посреди лета у ошалелой курицы в лесных зарослях или на ровном поле уже не было времени, чтобы вскрикнуть.

Переступив через виноградные лозы, Карл хотел покинуть эту страну.

Ветер дул в живую изгородь. Ивовая листва открывалась. Во двор заходило поле.

Когда кончалось ненастье, деревья дымились.

Ореховое дерево оставалось холодным. Ночью орехи падали на крышу и раскалывали себе черепа. Ночью закручивал белые граммофоны дурман. От него шел горестный запах кожи покинутых женщин. Хорек споро душил курицу.

Утром среди зеленых скорлуп валялись на булыжнике обнаженные ореховые мозги.

Циннии гляделись каждое лето по-разному. Карл видел, как ночью они шли к другим цветам.

Цвел связками вуалей картофель. Ряды были посчитаны. На исходе лета останавливалась перед домом телега. Лошади жевали траву. На телегу мужчина нагружал картофель и сдавал его государству. Яйца заносились в ведомость потребкооперации.

У свеклы были зеленые уши. Свеклу отправляли осенью на сахарный завод.

Сливовые деревья подлежали учету как общественные.

Прутья для метел с жесткими усами были записаны за промкооперацией.

Три года назад Карл хотел уехать в горы. Прежде, чем Карл возвратился из деревни домой, его отец повесился в сарае. Карл увидел перед колодцем отцовские ботинки. Незадолго до смерти висельник еще подумывал утопиться.

Два года назад Карл хотел уехать к морю. Ежедневно почтальон перебрасывал через ворота газеты. Пенсию он Карлу не нес.

В прошлом году налоги были большие, и пенсии Карла не хватало. Двадцати лет штамповки болтов не хватало на один отпуск.

В минувший год огород принадлежал Народному совету.

Потом пришли звать на субботник. Потом пришел счет на электричество. Потом пришли из похоронного бюро.

Сберегательная книжка Карла была пуста и подобна снегу. Деньги ушли в дрова на зиму.

Когда растаял снег, во дворе крикнул цыган. Он менял кухонную посуду на старые перины. Уходя, он захватил очки Карла с собой.

Карл хотел покинуть эту страну. Он обратился с ходатайством к властям.

Летом приехал брат Карла и привез 8 тысяч марок. Еще ровно столько же выложило за Карла бедным властям правительство всеобщего благоденствия.

Поздней осенью прибыли землемеры из города. Они превратили дом в сумму равную двум месячным зарплатам. Карл перепроверил. Его легкие гнали ярость в сердце. На деньги, полученные за дом, Карл купил зимнее пальто.

Из сарая он достал топор. Медленно падал во дворе снег. Карл

в зимнем пальто вырубал корневища виноградных лоз. Рубил он до глубокой ночи.

Под медлительным снегом Карл прорубался за виноградные лозы.

Переступив через виноградные лозы, Карл покинул эту страну.

ПРОСТО ЛЕТОМ РАСТЕТ ДРЕВЕСИНА

Нынешнее лето неустойчиво. Куда оно уходит, когда влачит за собой в полдень склизкий след, как непутящие колеса.

Как долго держится роса. За забором ирисы. Не мои. Раскинулись своим цветением по саду.

В листве сидит старик. Пока ему чудилось, будто сквозь цветы продираются сучья, он уже заснул.

Как идти мне в утренних сумерках. Не парк это. Просто летом растет древесина.

Газеты красного цвета. Между мною и газетами руки. На каждой строчке, чтоб понять, нужно браться за голову.

Кого спросить мне, когда и что сказал мой рот. Кто ответит, где по ночам и дням я пропадаю. Нет здесь места, одно местожительство.

Скрываю, докуда доходят мои волосы. На пальцах ногти отрастают, будто у них под краями моя жизнь.

Это как ножницы, когда друзья глядят на меня и желают мне добра.

Но я себе приберегла, есть у меня одно слово. Не для разговора, беспредметно. Нечего и речь вести. Губами чтоб не шевельнуть.

Это было под вечер. Мне стало смешно. Захотелось спросить стекло в открытом окне, не состарился ли вмиг мой рот. Именно в этот миг.

Устало я смела в ладони дерганье со щек.

Дает ли город в окне основание утверждать, что я здесь жила. Какая страна имеет довольно места, чтоб отразиться в оконном стекле.

Пока что — говорит трава. На обочине зелено. Сколько — спрашивается — быть республике подмышкой президента.

Плывет и меняется облако.

В утренних сумерках идти через этот парк. Что там за рабочий. Что за парк.

А та женщина в стороне. У нее раньше был ребенок. Много прошло лет, как он из растительности потянулся в город. Теперь ребенок двадцатью годами старше. И когда он пишет письма маленькой крестьянке среди больших полей, то понимает, как, оступая в кукурузе, мотыжат по жизни.

В письмах значит: ты не должна так надрываться.

Когда я покупаю цветы, они на прилавках лежат без корней. Выбираю самые красивые. Земля, откуда они растут, больше меня не касается.

Вспоминаю тогда лишь о саде, когда неспешно, будто платок, опускаю лицо, чтобы услышать запах.

Найти бы для своего тела работу, но чтоб в начале идти через парк утром в сумерках. А еще профессию для головы.

Скоро мне из этого мира высунуться вовне.

Я слышу, через настенные часы, едет лифт. Он гроыхает, если едет пустой. Друзья приходят. Иногда под настроение, иногда невпопад.

Лифт не останавливается.

Чего хочет время. Я ощущаю его и знаю, что ни для кого из моих друзей нет в нем будущего.

Сиди тихо, раз все молчат — говорю я.

Отведи взгляд, нет ее, смерти. Это зной стучит в висках.

Пусть — говорю — когда зной заволакивает мне год за годом. Пусть — говорю — когда мой язык мотыжит во рту.

Гляди — говорю. Умирать — последнее, что мы делаем.

Как эта держава нас перевирает. Видишь между нами следы. Это не мы.

Сиди тихо — говорю.

Я слышу, через стены комнаты, лифт едет в небо.

ОСТАТЬСЯ ЧТОБ УЙТИ

Рихарду

Где это место. За утром дня как не бывало.

Где мне говорить и с кем, если не с моим, не с твоим черным как смола ртом.

Снесу и этот год до конца, и листок, и сучок.

И спрошу: сколько тому дереву, сколько той осени на полжизни.

Снесу и влагу в глазу, и это остаться, чтоб уйти.

Здесь, милый, стоим мы в осени, и у ближнего стоим, и у дальнего дерева. И знаем, что есть еще во мне одно слово, одно малое судорожное сказание. Замолвить надо еще за влагу в глазу.

Чтоб глаза еще поднять могла, надо сказать, кто нам отягощает уста, кто умаляет слово, и его как не бывало.

Чтоб уста еще снести могла, предъявить надо мой, твой черный как смола рот.

Бескровный кротовый ход.

Вступление и перевод с немецкого Марка Белорусца

Анна Глазова
РАЗБОЙНИК В СЛУЖАНКАХ

Его любит Эдит. Но об этом позже.
Р.Вальзер, «Разбойник»

Желай мы описать одним словом всё счастье и весь ужас того, что у этих персонажей внутри, мы скажем — они все исцелились.

Вальтер Беньямин, «Роберт Вальзер»

Вне всякого сомнения, Роберту Вальзеру не к лицу титул великого писателя. Великий писатель — «гений» — мучительный недуг, изнуравший литературу последние лет пятьсот — это та болезнь, *после* которой Вальзер мало-помалу «выздоровливает». Его тексты — не эссенция, а накипь, осадок, культурный слой. На то, чтобы издать его собрание сочинений, Йохену Гревену и его коллегам понадобилось огромное количество труда, сравнимое разве что со стараниями археологов, разгребавших остатки индоевропейской письменности: большую часть текстов Вальзер писал карандашными огрызками с частотой мелкого и навязчивого обойного мотивчика. Добавим: на *полях* — газет, счетов, Швейцарии. Прогулки по подобным маргиналиям утомляют до полного изнеможения. К тому же, маршрут всегда пролегает среди снежной пудры кондитерских городов-пригородов. Что ещё делать для развлечения человеку, у которого вовсе нет денег, потому что он не пытается их найти? Гулять; скитаться. Вальзер, как Отрадок, персонаж рассказа Кафки, существовал «без определённого места жительства», то там, то тут, и отовсюду, как колобок, уходил сам — пока его не попытались раз и навсегда выставить за дверь из пристанища, которое ему пришлось как раз по душе: из Вальдау около Берна, пансионата для повреждённых в разуме джентльменов. Вальзеру предложили уехать к родственникам или поселиться на каком-нибудь крестьянском дворе, помогать крестьянам. Бежать? Куда? На край света? Вальзер возражал-возражал, а под конец так-таки устроил сцену буйства — вынужденный театр! роль, как смирительная рубашка связавшая по рукам тело и тексты! Заметим: крестьянский двор «Край света» из одноимённого рассказа — действительно существовал, и именно под этим названием, в деревушке неподалёку от Биля. Но из пансионата Вальзер не убежал и попал не на край света, а всего лишь

в другую клинику для умалишённых, где и «стал сумасшедшим» — *определился*, отрезав от себя неопределённость прошлого, бросив писать и сосредоточившись только на прогулках. А однажды — падал пушистый снег, и ели стояли, нахлобучив белые шапки, и под ногами поскрипывало и похрустывало, а солнечные лучи брызгали россыпями бриллиантов, и Альпы казались далёкими и огромными сахарными головами, и тут и там, казалось, вдруг веяло в воздухе ароматом корицы и кардамона, как будто полная дамская рука в шелках заправляла пряностью дымящееся вино, и детские сердечки стучали часто-часто в предчувствии подарков — однажды в канун рождества Вальзер пошёл гулять и замёрз в снегу. Не как какой-нибудь не вернувшийся с гор романтический победитель просторов, а как мальчик у Христа на ёлке пополам с девочкой со спичками, а ещё пополам — с карамельным болванчиком, у которого на лице запечатлелась морозом дурацкая улыбка. Смех перемешан с рыданиями до полной неузнаваемости — до кривой комедии трагедии комедии. От этой неузнаваемости Вальзер всю жизнь бежал — прогулочным шагом и надолго, с приоткрытым улыбающимся ртом, застревая у широко распахнутых витрин.

Незаметность, непримечательность персонажей и текстов Вальзера — бросается в глаза. Непримечательность, сведение личности до безличности (пресловутый проект модернизма) находит исчерпывающий до полного изнеможения предел в сочинениях Вальзера; ирония романтизма выворачивается иронией над иронией, распыляя индивидуализацию до неузнаваемости. Тем, кто ставит себе вопрос «что — после модернизма?» следовало бы переформулировать его как «каким образом — Вальзер?», потому что в текстах Вальзера есть искомый ответ, настолько ярко проливающий свет, что как раз потому мы его и не замечаем. Жизнь и работа Вальзера — живое доказательство того, что всё и ничто в пределе совпадают: с точностью до предела, до той тонкой мембраны, которой определяется среда человеческого языка. Неопределённость — «отсутствие цели (телоса) и интриги» (Ханс Хибель) — иначе говоря, текст как *просто жизнь*, со всей необъяснимой одержимостью самопродолжения, с неудержимой тягой вперёд, но и долой от истока — такая неопределённость смущает ум. Побег и стремление обнять *всю жизнь*, не сущность, а целостность со всеми потенциальностями, в каждом отдельном проявлении толкает персонажей романов Вальзера («Семейство Таннер», «Помощник», «Якоб фон Гунтен», «Разбойник») добровольно и лихо-радожно вступать в жёсткие рамки структур власти и подчинения — только ради того, чтобы по истечении короткого срока их

покинуть. Уход витает в воздухе, окрашивая всё вокруг переливчатой радугой неокончателности. Персонажей Вальзера одолевает жажда одновременно израсходовать свою жизнь без остатка, но и искать остатка — бежать и бежать, до самого края света, прикасаясь ко всему, что встречается на пути. Словно по принуждению возникают тексты Вальзера: «я опишу двух прекрасно одетых дам на прогулке, но сперва я обязан описать священника на велосипеде и аптекаря пешком», примерно так начинается «Прогулка», кусок прозы неопределимого жанра. *Обязан описать*. Под принуждением описывает Вальзер всё, что ни попадает на глаза: лампу, бумагу, перчатки (дословно так называется один из его рассказов). Под принуждением оставляют его персонажи работу за работой, место за местом, женщину за женщиной. Кстати, о женщинах: сущность холостяка, разделённую с Кафкой, а также с дорогими его сердцу Генрихом фон Клейстом и Фридрихом Гельдерлином, Вальзер очистил до — до незначительного остатка. Ни с женщинами, ни с мужчинами последней близости ни у Вальзера самого, ни у его персонажей не возникало. Однако, есть какой-то флёр непристойного соблазна в том, что разбойник из одноимённого романа Вальзера вдруг из каприза нанимается в служанки к чужому мальчику (ведь всего на один день и вечер!). И в том, что у Хедвиг Таннер под кроватью аккуратно стоят наощенные сапожки. И даже единение лампы с абажуром имеет какой-то двусмысленный эротический оттенок. Чувство близости разливается по воздуху, окутывая облачком неопределённой, улыбающейся эротичности женщин, мужчин, дамские ботиночки, лампы, абажуры, перчатки, а в особенности — бумагу: бумагу и карандашный огрызок. Тексты Вальзера это «что угодно» — *quod libid*, как замечает Дж. Агамбен, в самой формулировке содержит *либидо*, желание.

О принудительности побега, о добровольном падении в услужение, о стремлении к бесконечному умалению, в котором только и познаётся бесконечно малое различие между всем и ничем, об эротичности, неопределённости и смутной беспечности — об этих приметах в текстах Вальзера писали многие: его современники и «коллеги» Кафка и Музиль, а также, современные уже нам, критики Мартин Вальзер (несчастное совпадение фамилий) и Джорджо Агамбен и писатели Винфрид Зебальд и Эльфриде Елинек. Но вопрос по-прежнему остаётся без ответа: откуда берётся это невероятное принуждение в Вальзере, эта маниакальная жажда писать фразу за фразой об одном и том же, чинящая беспокорство, откуда возбуждение и судорожное усилие сконцентрироваться *на всём сразу*, которое заканчивается полным рассеянием

внимания, поскольку концентрироваться на всём сразу не получается? Самый авторитетный (по сегодняшний день) критический текст о Вальзере, эссе Вальтера Беньямина, предлагает такой вариант — из сумасшествия. Правда это или нет — я не знаю. В этом незнании, в этой неокончателности таится тёмный, тревожащий нервы секрет. И потому я по-прежнему остаюсь с Робертом Вальзером.

Вальтер Беньямин

РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР

Много страниц написано Робертом Вальзером, но далеко не многое написано о нём. Что вообще известно нам о тех из нас, кто умеет использовать по назначению продажные глоссы — не так, как это делает газетный писака, облагораживая их, словно «высшая» их до себя, а используя их презренную, неказистую готовность, чтобы извлечь выгоду из них, вдыхающих жизнь, очищающих. Чем наполнена эта, по выражению Альфреда Польгара¹, «малая форма», сколько морщин упования спаслось бегством с наглого каменного лба так называемой великой литературы в скромных её чашах — об этом известно лишь немногим. А другие и не подозревают, чем они обязаны этим Польгару, Хеселю² или Вальзеру — за нежные или тернистые цветы в пустыне листового леса. О Роберте Вальзере они вспоминают не иначе как в последнюю очередь. Потому что начальные позывы в их жалком знании, вынесенном из школьного образования, далее которого в делах печатного слова они не пошли, подсказывает им ради ничтожества содержания придерживаться безвредной «культивированной», «благородной» формы. А в случае Роберта Вальзера в глаза бросается как раз весьма необыкновенная, с трудом поддающаяся описанию запущенность. То, что ничтожность имеет вес, бессвязность — устойчивость, — к этому убеждению приводит, в конце концов, рассмотрение вальзеровских вещей.

¹ Альфред Польгар (1873-1955) — малоизвестный критик, писатель, переводчик, родился в Вене, после первой мировой войны жил в Берлине, затем в Праге, в 1940 г. эмигрировал в Америку, после войны переехал в Цюрих. Писал для театра, во время жизни в Америке — для кино, печатался при жизни (как и Вальзер) только в газетах, в разделах фельетона. (Здесь и далее *Пер*).

² Франц Хесель (1880-1941) — немецкий редактор, переводчик, писатель, писавший под псевдонимом Пророк Иезекииль, друг Вальтера Беньямина, написавший рассказ «Фланёр в Берлине», впечатлившийся беньяминовской «Односторонней улицей» и его рассуждениями о фланёрах.

Заниматься этим непросто. Вот почему: тогда как мы привыкли к тому, что загадки стиля выступают нам навстречу из более-менее выстроенных, выражающих намеченную цель произведений, здесь мы оказываемся перед полностью — во всяком случае, на первый взгляд — бесцельной и, вместе с тем, привлекательной и пленяющей дикой зарослью речи. Оказываемся перед отправкой себя в путь через все формы, от грации до горечи. Бес цели, сказали мы, на первый взгляд. Случались споры, вправду ли. Но это — глухая дискуссия, и это очевидно, стоит вспомнить о том, что Вальзер признавался, что никогда не улучшил ни одной строки своих сочинений. Необязательно верить ему в этом, хотя это было бы вполне кстати. Потому что в таком случае понимание принесёт нам покой: писать и никогда не улучшать написанного — в этом состоит совершенное взаимопроникновение крайней бесцельности и высшей целеустремлённости.

Хорошо же. Однако, ничто не мешает нам попытаться узреть корень этой запущенности. Мы уже упомянули: она принимает любые формы. Теперь добавим: за исключением некоторых. А именно, самой распространённой, которая озабочена исключительно содержанием, более ничем. Для Вальзера «как» работы является настолько вторичным, что всё, что он говорит, полностью отступает перед значением самого писательства. Можно сказать, в процессе писательства речь идёт именно о нём. Требуется объяснение. И при этом сталкиваешься с очень швейцарской стороной этого писателя — со стыдом. Об Арнольде Бёклине³, его сыне Карло и Готфриде Келлере⁴¹ рассказывают такую историю: однажды, как и случалось зачастую, сидели они в таверне. Их стол с давних пор славился немногословным, сдержанным за ним сидением. И в этот раз тоже компания сидела, погружившись в молчание. По прошествии некоторого времени младший Бёклин отметил: «Жарко», и после того, как протянулась ещё четверть часа, старший добавил: «И ни сквознячка». Келлер, в свою очередь подождав, поднялся со словами: «Я не пью с болтунами». Сельский стыд речи, составляющий экзистенциальный юмор этого анекдота, и есть вальзеровский конёк. Стоит ему взять в руку перо, как его одолевает настрой десперадо. Всё кажется ему вдруг утраченным, словесный поток вырывается наружу, каждое новое предложение преследует лишь одну цель: стереть память о предыдущей

³ Арнольд Бёклин (1827-1901) — швейцарский живописец, автор метафизических картин, таких как «Остров мёртвых».

⁴¹ Готфрид Келлер (1819-1890) — возможно, наиболее известный швейцарский писатель-классик, особенно почитаем за воспитательный роман «Зелёный Генрих».

фразе. Когда Вальзер обращает в прозу монолог из виртуозной пьесы⁵: «Сквозь этот пустой переулок придёт он», то начинает классическими словами: «Сквозь этот пустой переулок», и тут же его Телля охватывает отчаяние, он уже кажется самому себе утратившим опору, маленьким, потерянным и продолжает: «Сквозь этот пустой переулок, я думаю, придёт он».

Во всяком случае, происходило нечто подобное. Эта невинная, художественная неспособность во всех языковых вопросах — наследие дурака, юродивого. Тогда как Полоний, этот эталон болтуна, занимается жонглёрством, Вальзер наподобие Вакха венчает себя речевыми гирляндами, сулящими ему падение. Гирлянды — воистину образ, подходящий для его фраз. Но мысль, неловко в них спотыкающаяся — лентяй, бродяга, гений, как все герои вальзеровской прозы. Он и не может описывать ничего, кроме «героев», не в состоянии отвязаться от протагонистов, и попытавшись сделать это в трёх ранних романах⁶, удовольствовался на всю жизнь братским сосуществованием исключительно с сотнями своих возлюбленных бродяг.

Именно немецкое литературное наследие, как известно, имеет несколько ярких образцов ветреных, ни на что не годных, ленивых, испорченных героев. Мастер подобных персонажей, Кнут Гамсун, имел кратковременный успех. Среди других — Эйхендорф⁷, сотворивший бездельника, Гебель⁸, сотворивший Цундельфридера⁹. Каким образом присоединяются персонажи Вальзера к этой компании? И откуда происходят? Откуда бездельник, нам известно. Из лесов и долин романтической Германии. Цундельфридер из повстанческого, просвещенного мещанства рейнских городов смены столетий. Персонажи Гамсуна — из девственного мира фьордов, это люди, которых тоска по родине тянет назад, к троллям. А у Вальзера? Может быть, из Гларнских Альп? С альпийских лугов Аппенцелля, откуда он родом? Отнюдь нет. Они происходят из ночи, из самого тёмного её сгустка, из, если хотите, венецианской ночи, освещённой нищими фонарями надежды, со слабым праздничным отблеском в глазу, но искажённым и пе-

⁵ «Вильгельм Телль» Шиллера.

⁶ «Семейство Таннер», «Якоб фон Гунтен», «Помощник».

⁷ Йозеф фон Айхендорф (1788-1857) — немецкий поэт и писатель-романтик. Беньямин имеет в виду, вероятно, в первую очередь рассказ «Из жизни бездельника».

⁸ Иоганн Петер Гебель (1760-1826) — писатель, викарий, учитель. Писал в основном поучительные истории и притчи для календарей. Оказал значительное влияние на развитие жанра малой прозы.

⁹ Один из трёх воров, персонажей сборника из восьми рассказов «Цундельгейнер».

чальным до слёз. Потому что всхлипы — вот мелодия болтовни Вальзера. Он выдаёт нам секрет, откуда происходят его любимцы. Не более, не менее — из безумия. Это персонажи, оставившие безумие позади, и потому исполненные такой раздирающей, такой нечеловеческой, такой необдуманной поверхностности. Желай мы описать одним словом всё счастье и весь ужас того, что у этих персонажей внутри, мы скажем — *они все исцелились*. Только процесса исцеления нам знать не дано, иначе нашей попыткой было бы добраться до его «белоснежки» — одна из наиболее многозначительных фигур новой литературы, — и одного этого уже достаточно, чтобы понять, почему этот, казалось бы, игрок, а не писатель, был любимым автором неумолимого Франца Кафки.

Совершенно необычная нежность наполняет эти рассказы, это доступно каждому. Не каждый замечает, что не декадентное нервное напряжение лежит в их основе, а чистый и свежий настрой выздоравливающей жизни. «Меня страшит мысль, что я мог бы иметь успех в жизни», — так звучит вальзеровский парафраз диалога Франца Моора¹⁰. Все его герои разделяют этот страх. Но почему? Совсем не из отвращения к миру, резонёрского отказа или пафоса, а из чистейшего эпикурейства. Они хотят наслаждаться самими собой. И обладают необыкновенной к тому способностью. И именно в этом — их совершенно необыкновенная благородность. И они необыкновенно вправе делать это. Потому что никто не наслаждается более здраво, чем выздоравливающий. Ему противно всё, имеющее отношение к оргиям: звон струй обновлённой крови слышится ему в ручьях и более чистым дыханием на губах веют ему горные вершины. Эту детскую благородность разделяют герои Вальзера со сказочными персонажами, которые ведь тоже выныривают из ночи и безумия — из мифа. Принято считать, что это пробуждение завершилось в позитивных религиях. Если это и правда, то в очень непростой и неоднозначной форме. Её следует искать в широком любительском толковании мифа, заключающемся в сказке. Конечно, его персонажи не совсем похожи на вальзеровских. Они ещё борются, пытаются освободиться от жизни. Вальзер начинается там, где кончаются сказки. «И если они не умерли, то живы и до сих пор». Вальзер показывает, *как* они живут. Его вещи, и я хочу начать тем, чем он заканчивает, это — истории, эссе, сочинения, малая проза и прочее.

Перевод с немецкого А. Глазовой

¹⁰ Персонаж «Разбойников» Шиллера.

Роберт Вальзер

КРАЙ СВЕТА
(1916)

Жил-был ребёнок, у которого не было ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни дома, ни пристанища, и пришлось ему в голову бежать долой, пока не принесут ноги на край света. Братъ ему было с собой особенно нечего, так же как и собираться в дорогу, поскольку невелики у ребёнка были пожитки. Как стоял — так и пошёл, и солнце сияло, но бедный ребёнок не обращал внимания на солнечный свет. Он шёл всё дальше и дальше, мимо разных явлений, но он не обращал внимания на явления. Он шёл всё дальше и дальше, мимо разных людей, но он не обращал внимания на людей. Он шёл всё дальше и дальше, пока не настала ночь, но ребёнок не обращал внимания на ночь. Он не обращал внимания ни на день, ни на ночь, ни на вещи, ни на людей, ни на солнце, ни на луну, ни в той же степени на звёзды. Дальше и дальше шёл он, без страха и голода, держа в голове одну мысль, одну идею — искать край света, и идти до тех пор, пока это самое не найдётся. В конце концов он надеялся край света найти. «Он там, дальше всего», — думал он. «В самом конце», — думал он. Прав ли был ребёнок? Подождите немножко. Был ли ребёнок в здравом уме? Ах, ну подождите же немножко, и всё выяснится. Дальше и дальше шёл ребёнок и думал о крае света то, как о высокой стене, то, как о красивой зелёной поляне, то, как об озере, то, как о платочке в горошек, то, как о густой вкусной каше, то просто как о чистом воздухе, то, как о чисто-белой равнине, то, как о море счастья, в котором можно покачиваться до бесконечности, то как о коричневатой тропинке, то, как вообще ни о чём или как о чём-то, чего он, упаси Господи, и сам не знал, как следует.

Дальше и дальше шёл он. Недостижимым казался край света. Шестнадцать лет подряд блуждал ребёнок по морям, равнинам и горам. За это время он успел вырасти и окрепнуть, но по-прежнему оставался верен мысли идти до тех пор, пока не достигнет края света, и по-прежнему края света ещё не достиг, и, казалось, ещё очень далёк был от края света. «Что за беспредельность!» — так он думал. И тут он спросил у крестьянина, стоявшего у дороги, не знает ли тот, где расположен край света. «Край света» — так назывался один крестьянский двор неподалёку, и потому крестьянин сказал: «В получасе ходьбы». Ребёнок выслушал, поблагодарил крестьянина и отправился дальше. Но полчаса тянулись целую вечность, так ему казалось, и он спросил повстречавшегося парня, сколько ещё до края света. «Десять минут», — сказал па-

рень. Ребёнок поблагодарил за добрую весть и пошёл дальше. Он дошёл почти до самого изнеможения, до самого края своих сил, и только с трудом продвигался вперёд.

Наконец, посреди уютной поляны с сочной травой он увидел большой и красивый крестьянский двор, роскошную избу, такую тёплую, непринуждённую и милую, такую гордую, симпатичную и достойную уважения. Вокруг избы стояли роскошные плодовые деревья, куры ходили по двору, в пшенице веял ветерок, огород ломился овощами, на склоне примостился пчелиный домик, очень даже медовый на вкус, да и хлев с коровами там бы нашёлся, и все деревья были усыпаны вишней, грушей, яблоком, и всё вместе выглядело так богато, зажиточно и свободно, что ребёнок сразу подумал, что это и есть край света. Велика же была его радость! В доме, казалось, только что наготовили еды, потому что нежный, хороший дымок струился и посмеивался из трубы, и выкрадывался из неё, как плутишка. Истощённым и тревожным от изнеможения голосом ребёнок спросил: «Край света — мне сюда?» А крестьянка ответила: «Да, милое дитя, тебе сюда».

«Спасибо за добрый ответ», — сказал он и упал от усталости; что за чёрт! — но его сейчас же подняли добрые руки и уложили в постель. А когда он снова очнулся, то обнаружил себя в милейшей постельке и среди милых и добрых людей. «Можно, я здесь останусь? Я буду служить верой и правдой», — спросил ребёнок. А люди сказали: «И почему бы нельзя? Ты нам нравишься. Оставайся с нами, служи верой и правдой. Прилежная служанка придётся нам как раз кстати, а если будешь себя хорошо вести, то будешь нам заместо дочери». Ребёнок не заставил себе этих слов повторять. Он стал усердно работать и прилежно служить, и вскоре всем полюбился, и уже больше не убегал, потому что был здесь как дома.

ЛАМПА, БУМАГА И ПЕРЧАТКИ (1916)

Лампа, вне всяких сомнений, очень нужный и милый предмет. Различают между лампами настольными, подвесными, спиртовыми или керосиновыми. Когда заходит речь о лампах, непременно приходится о лампах думать, то есть, необязательно. Это неправда, что приходится. Нас это делать никто не заставляет. Я надеюсь, что каждый может думать, что ему угодно, но факт, кажется, остаётся фактом: лампа и абажур дополняют друг друга наилучшим образом. Абажур без лампы был бы не нужен и бессмыслен. Лампа дана, чтобы давать свет. Не зажжённая лампа не

производит особенного впечатления. Пока она не горит, ей, так сказать, не хватает собственной сущности. Только когда она горит, её значение проясняется, и её смысл вспыхивает и пылает совершенно убедительно. Наш долг в том, чтобы уделять лампе наше уважение и наши аплодисменты, потому что — что бы мы делали в ночной темноте без света ламп? В тихом свете лампы мы можем читать или писать, уж как нам будет угодно, а поскольку мы заговорили о чтении и правописании, то начинаем думать, хотим мы этого или нет, о книгах или письмах. Книги и письма, со своей стороны, напоминают нам ещё об одной вещи, а именно о бумаге.

Как известно, бумага изготавливается из дерева и, в свою очередь, служит для изготовления книг, которые частью очень ограничено или вообще не, а частью не только читаются, но и проглатываются. Бумага такая нужная вещь, что следует чувствовать побуждение и принуждение произнести: для прогрессивного человека бумага обладает феноменальным значением. Вряд ли заблуждается тот, кто станет утверждать, что без бумаги не было бы человеческой цивилизации вообще. Что бы стала делать всё-таки надо надеяться лучшая часть человечества, если бы вдруг бумаги стало не сыскать и не получить в пользование? Существование не просто многих, но подавляющего большинства людей вне сомнений неразрывно связано с существованием бумаги, настолько неразрывно, что нас это страшит, поскольку по более-менее здравому рассуждению нам тяжело избавиться от некоторой вполне легко представимой себе озабоченности. Вообще же говоря, бумага бывает толстая и тонкая, гладкая и шероховатая, грубая и нежная, дешёвая и дорогая, и, с позволения читателя, среди бумаг выделяются следующие сорта и виды: писчая бумага, глянцевая бумага, линованная бумага, почтовая бумага, бумага для рисования, бумага газетная и шёлковая бумага. Родители автора содержали милую и элегантную бумажную лавку, потому он в состоянии как заведённый перечислять один за другим разнообразные сорта бумаги. Кстати говоря, неужто в один прекрасный час не нашлось бы в самом пыльном углу писательского ящика завалявшейся полоски бумаги, на которой была бы написана история следующего содержания:

ТОТ, КТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ

В давние или недавние время жил-был тот, кто ничего не замечал. Он ни на что не обращал внимания, ему было на всё, скажем так, наплевать. Может быть, его голова наполнилась важными мыс-

лями? Отнюдь нет! Совсем была пустая и бессмысленная голова. Однажды он потерял все свои сбережения, но ничего не почувствовал, потому что не заметил. Ему совсем не было жалко, потому что тому, кто ничего не замечает, ничего не жалко. Если ему случилось позабыть где-нибудь зонт, то он замечал это только когда начинался дождь и ему становилось мокро. Забыв шляпу, он замечал это только когда ему говорили: «А где же ваша шляпа, господин Бингелли?» Его звали Бингелли, но не его вина в том, что его так звали. Имя Лихти ему точно так же пришлось бы по душе. А однажды у него отвалились подошвы от ботинок, и так он и ходил босиком, пока кто-то не обратил его внимания на эту бросающуюся в глаза странность. Над ним смеялись повсюду, а он ничего не замечал. Его жена ходила с каждым встречным-поперечным. Бингелли этого ничего не замечал. Он всё время низко склонял голову, хотя и не над чем-либо достойным пристального изучения. У него можно было стащить перстень с пальца, еду с тарелки, шляпу с головы, брюки и сапоги с ног, пальто с тела, пол из-под ног, сигару изо рта, собственных детей из-под глаз и даже стул, на котором он сидит, а он бы ничего и не заметил. И вот в один прекрасный день, когда он вот так шёл своей дорогой, у него отвалилась голова. Наверное, не очень хорошо держалась на шее, если вдруг ни с того ни с сего взяла и отвалилась. Бингелли не заметил, что головы-то больше нет; так и пошёл без головы, пока кто-то не сказал: «У вас, господин Бингелли, головы нету». Но господин Бингелли не слышал, что ему сказали, потому что у него же ведь отвалилась голова, а вместе с ней и уши. Так что господин Бингелли вообще перестал что-либо ощущать, запах ли, вкус ли, ничего не слышал, не видел и не замечал. Веришь ли? Если хорошенько веришь, то получишь двадцать грошиков и купишь себе чего-нибудь хорошего, правда?

Однако за рассказыванием сказки я не вправе забыть о паре перчаток, которые, как вижу, элегантно и утомлённо свисают с края стола. Кто бы была та прекрасная благородная дама, что их здесь так небрежно позабыла? Очень изящные, почти до локтей, светло-жёлтые перчатки. Такие прекрасные перчатки настойчиво рассказывают о своей хозяйке, и их язык нежен и любезен, как образ жизни прекрасных и добрых женщин. Как они красиво свисают, перчатки! И благоухают! и меня почти тянет прижать их к лицу, хотя бы это и выглядело несколько глупо. Но как приятно время от времени сделать глупость.

ДВЕ ИСТОРИИ (1902)

ГЕНИЙ

Одной ледяной ночью Венцель, гений, стоял на улице в тонкой, тоненькой, тонюсенькой одежонке и попрошайничал у прохожих. Дамы и господа думали, господа, ну он же гений, он может себе такое позволить. Гении не так легко заболевают насморком, как простые смертные. Венцель ночевал в портике Королевского Дворца и, смотрите-ка, не простудился. Гении не так легко простужаются, даже если очень холодно. Утром он велел доложить о себе молодой и прекрасной королевской дочке, на нём было то же самое платье, что и сейчас. В нём он выглядел жалко, но слуги подталкивали друг друга в бок и к умникам, шептавшим: гений, ребята, гений, и потом они доложили о Венцеле королевской особе, и радостно провели его к ней. Венцель даже не поклонился принцессе, потому что, судите сами, такого гению не полагается. Принцесса же, в благоговении перед величием духа, склонилась перед гением, я имею в виду, перед юным Венцелем, и протянула ему белоснежную ручку для лакомого поцелуя, спрашивая при этом, что ему угодно. «Хочу есть», — ответил грубиян, и, однако же, нашёл отклик, потому что тотчас же, по мановению руки повелительницы, был подан великолепный завтрак и портвейн, всё на серебряных блюдах и в хрустальных сосудах на золотом подносе. Гений ухмыльнулся, когда увидел яства, потому что, судите сами, гениям можно и поухмыляться. Королевна была благосклонна, кушала вместе с Венцелем, на котором в соответствии с его гениальной сущностью даже не было сколько-нибудь приличного галстука, расспрашивала о его творениях и даже выпила за его здоровье: всё это с милой невинной грациозностью, присутствующей лишь ей одной. Гений чувствовал себя полностью счастливым в первый раз за всю свою порванную в клочья жизнь, потому что, смотрите-ка, даже гениям не чуждо это человеческое свойство — быть счастливыми. Помимо прочего, произнося застольную речь, Венцель заявил, что настроен завтра или послезавтра разрушить мир. Королевская дочь, которую понятным образом объял при этом ужас, бросилась вон из комнат, испуганно и благозвучно визжа, как всполохнутый соловей, оставив гения наедине с его гениальностью, и рассказала обо всём отцу, господину принцу-регенту страны. Последний же испросил Венцеля по возможности быстро, немедленно, отправиться вон, что и было исполнено. И теперь гений снова на улице, и ему нечего есть, но все ему это про-

щают, этому сумрачному гению; а он не знает, куда податься от забот. В этом состоянии ему на помощь приходит быстрая гениальная мысль (все гениальные мысли чрезвычайно проворны). Он организует снегопад, причём такой долгий и сильный, что через короткий промежуток времени весь мир погребён под снегом. Он, гений, возлежит на обледелой корке наста, на самом верху, и лелеет недурную мысль о том, что весь мир лежит под ним, погребённый. Он говорит себе: это мир тяготящих воспоминаний. Он говорит себе это достаточно долго, пока вдруг не замечает, что голоден — как по хорошей земной еде (такой, как, например, в отеле «Континенталь»), так и по дурному человеческому обхождению. Солнце там наверху тоже не особенно радует, потому что сидеть под солнцем в полном одиночестве — хм — он чувствует холодную дрожь. Одним словом, он устраивает оттепель. Тем временем в мире успело кое-что измениться: образовалось новое, свежее поколение людей, преисполненное почтения перед всем сверхчеловеческим. Это тешит Венцеля до тех пор, пока снова не надоедает. Он сокрушается, и вздохи, исходящие у него изнутри, достигают общего признания. Ему пытаются помочь, убеждают его в том, что он — так называемый человеческий гений, или же его воплощение и персонификация. Но всё это втуне, потому что гению не помочь.

МИР

Когда старый господин Церрледер однажды вечером заявился домой слишком поздно, его господин сорванец-сын переломил его через колено и задал ему хорошей трёпки. «В будущем, — сказал сын отцу, — я тебе вообще не буду давать ключа от дома, понятно!» — Мы не знаем, понял ли отец это с первого раза или нет. На следующий день мать получила от дочери звучную пощёчину (полнозвучную было бы правильнее сказать) за то, что слишком долго стояла перед зеркалом. «Кокетство, — сказала дочь, негодуя, — это позор для людей такого почтенного возраста, как ты», — и выгнала несчастную на кухню. На улице и во всём мире происходили следующие беспрецедентные случаи: в проулках девушки шли за кавалерами по пятам и докучали им своими предложениями. Некоторые из этих таким образом преследуемых юнцов краснели от дерзких речей надоедливых дам. Одна такая дама при свете дня совершила неприкрытое нападение на совершенно непорочного мещанского сына с незапятнанной репутацией, который с криками пустился в бегство. Сам же я, более распушенный и менее добродетельный, попался в лапы одной молодой особы. Я некоторое время дал ей себя поуламывать, хоть было лишь зара-

нее заученным жеманством, и этим только ещё более распалил горячую девушку. К счастью, она меня оставила в покое, что мне полностью подходило, так как я питаю пристрастие к дамам более высокого пошиба. В школьных классах учителя на седьмой или восьмой раз не могли заучить лекцию, и поэтому их сажали под арест. Они рыдали, потому что им так хотелось провести вечер за распитием пива, кеглями и другими грубыми развлечениями. В переулках прохожие без стыда отливали на стены. Собаки, случайно оказывавшиеся рядом, этим по справедливости возмущались. Благородная дама несла на плече лакея в сапогах со шпорами; служанка с красным лицом проехала в открытой коляске на прогулку с герцогом тамошней земли. Она манерно улыбалась, показывая три шатких зуба. В коляску были запряжены студенты. Их ежесекундно подстёгивали проворной плёткой. Уличные воры бежали за судебными исполнителями, арестовавшими их в кабаке или борделе. Спектакль притягивал внимание многих собак, которых арестанты радостно кусали за икры. Так это и происходит, если судебный исполнитель нерадив. И на этот мир вздора и греха свалилось сегодня пополудни небо; без грохота, нет, скорее как мягкое сырое полотно, и всё покрылось дымкой. Ангелы, одетые в белое, блуждали босиком по городу, над мостами, отражаясь в мерцающей воде с кокетством, но грациозно. Черти с чёрной щетиной проносились мимо с дикими криками, потрясая вилами в воздухе, к вящему ужасу людей. Вообще, они вели себя крайне нескромно. Что ещё я могу добавить? Небо и ад разгуливают по бульварам, в лавках заправляют блаженные рядом с проклятыми. Всё слилось в хаос, крики, улюлюканье, бег, смятение и вонь. Наконец, Господь сжалился над этим презренным миром. Он взял Землю, которую когда-то изготовил за одно утро, и засунул её в мешок. Первое мгновение (слава богу, только оно одно) было просто ужасно. Воздух стал твёрдым, как камень — или даже ещё твёрже. Он разбил дома в городе, и они уткнулись друг в друга, как пьяные. Горы поднимали и опускали широкие спины, деревья летали в пространстве, как чудовищные птицы, а само пространство в конце концов растеклось неопределимой желтоватой массой, у которой не было ни начала, ни конца, ни измерения, ни чего-то ещё, оно стало просто Ничем. А писать ни о чём нам представляется невозможным. Даже сам Господь Бог испарился из скорби о собственной жажде разрушения, так что этому Ничему не осталось ничего, даже определяющего, характерного цвета. —

ГОСПОЖА ВИЛЬКЕ

Однажды днём (я как раз находился в поисках сколько-нибудь подходящей комнаты), в окрестностях большого города, на границе движения городского транспорта я вошёл в странный, старый дом с богатой отделкой, чья наружность мне показалась несколько тронутой упадком, но с первого взгляда чрезвычайно приглянулась своей необычностью.

В широком и светлом подъезде, по ступеням которого я медленно поднимался, как запах, так и звук разносились с единственной в своём роде элегантностью.

Так называемая единственная в своём роде элегантность действует на некоторых людей необыкновенно притягательно. В руинах есть что-то трогательное. Перед лицом разлагающихся останков благородства неминуемо склоняется всё, что есть в нас осознанного, осенённого чувствами. Развалины того, что когда-то было аристократичным, утончённым и блестящим, внушают нам сочувствие — и одновременно уважение. Прошрое, разрушенное — как вы умеете околдовать!

На одной из дверей я прочёл имя госпожи Вильке.

Здесь я легонько и с осторожностью позвонил. Когда никто не открыл, и я осознал, что звонить бесполезно, я постучал — и услышал приближающиеся шаги.

Очень недоверчиво и медленно приоткрыли дверь. Худая, подтянутая, высокая дама стояла передо мною и спрашивала весьма тихим голосом:

— Что будет угодно?

Звук её голоса был непривычно высоким и хриплым.

— Дозволено ли будет осмотреть комнату?

— О, да, с удовольствием, прошу вас.

Дама провела меня сквозь своеобразный тёмный коридор в комнату, с первого взгляда очаровавшую меня. Помещение было в некотором роде изящным и благородным, если и несколько узким — зато относительно высоким. Не без своего рода затруднения я осведомился о ренте — она оказалась довольно сносной, поэтому я не долго думая комнату снял.

То, что мне это удалось, настроило меня на весёлый лад; в последнее время я пребывал в состоянии удивительного душевного настроения, гнетущего подчас, подчас утомляющего — и искал покоя. Утомленного поисками впотьмах, разочарованного и не ожидающего ничего хорошего, меня должен был обрадовать любой на-

мёк на возможную точку опоры, и тишина покойного местечка не могла быть мне ни чем иным, кроме как чистейшею радостью.

— Ваша профессия? — спросила дама.

— Писатель! — ответил я.

Она удалилась в молчании.

— Здесь, как мне кажется, мог бы квартировать и граф, — пространялся я себе под нос, досконально обследуя своё новое жилище.

— Это прекрасное, как с картинки, помещение, — сказал я в продолжение разговора с собой, — обладает одним несомненным преимуществом: оно очень изолировано от других. Тишина здесь, как в пещере. И правда — здесь я буду чувствовать себя в безопасности. Моё сокровенное желание, кажется, осуществилось! Комната, как видно — или как мне представляется, погружена в так называемый полумрак. Сумрачный свет и прозрачная тьма плещутся по углам. Я это одобряю. Ну-ка, ну-ка! Прошу вас, не стесняйтесь, дорогой мой. Спешка совершенно ни к чему. К вашим услугам сколь угодно много времени. Что? Обои там и сям свисли со стены печальными лохмотьями? О! Но именно они — предмет моего восхищения, ведь я любитель определённой степени развала и деградации. Мне угодно оставить лохмотья висеть, как есть; ни за что не позволю их убрать, потому что меня их присутствие устраивает во всех отношениях. Меня забавляет мысль, что здесь мог бы раньше проживать барон. Может быть, здесь распивали шампанское офицеры. Та портьера на высоком и узком окне кажется старой и пыльной; но мило заложенные складки выдают тонкий вкус и толк в изящных вещах. Снаружи, в саду за окном, стоит берёзка. Летом мне в комнату станет улыбаться зелёная листва, а на нежных хорошеньких веточках будут, к моему и своему собственному удовольствию, чирикать певчие птички. Как удивительно прекрасен этот старый, благородный стол, уходящий корнями в минувшие изящные дни. Я предвижу, что здесь я стану писать эссе, скетчи, штудии, небольшие рассказы и даже новеллы и рассылать их, приложив нижайшую просьбу о скором выпуске в свет, в редакции серьёзных, уважаемых журналов и газет, таких, как «Свежие новости Пекина» и «Меркюр де Франс», где меня ждёт успех и процветание.

Постель, кажется, в порядке. Я не намерен, не имею ни малейшего желания пристрасстно и постыдно её обследовать. Я замечаю странноватую, словно призрачную шляпную вешалку и зеркало над умывальником, которое каждый день будет исправно освещать меня о моём внешнем виде. Надеюсь, отражение будет неизменно лестным. Диван стар, стало быть, удобен и хорош. Ново-

модная мебель режет глаз, потому что мода настырна и лезет под ноги. Два ландшафта, голландский и швейцарский, к моему вящему удовлетворению, скромно висят на стене. Вне сомнений, не один раз я буду пристально их изучать. Что касается воздуха в этих покоях, то несмотря ни на что я не исключаю или, выражаясь точнее, с достаточной степенью уверенности утверждаю, что здесь с довольно давних пор не заботились об очевидно необходимом проветривании. Здесь беспричинно пахнет затхлостью; но мне это представляется лишь интересным. Есть извращённое удовольствие в том, чтобы вдыхать плохой воздух. В остальном же я могу неделями оставлять окно нараспашку, чтобы заполнить комнату приличествующим благим духом.

— Вам следует пораньше подниматься. Я не попусти, чтобы вы так долго не жили в постелях, — сказала мне госпожа Вильке. В прочем она не часто заговаривала со мною.

А я целый день проводил в постели.

Мои дела обстояли дурно. Меня коснулось разложение. Я лежал в тоске, не находя, не узнавая в себе себя. Все мои бывшие мысли, такие ясные и безоблачные, погрузились в мрачный беспорядок и сумятицу. Моё сознание распласталось, сражённое, перед печальным мысленным взором. Падение мира идей и чувств. Пред сердцем лишь смерть, пустота и безнадёжность. Ни души, ни счастья, и только смутное воспоминание о том, что когда-то я был весел и доволен, добр и честен сердцем, доверчив и счастлив. Какая жалость! Какая жалость! Ни в голове, ни вокруг меня — ни следа надежд.

Тем не менее, я обещал госпоже Вильке вставать раньше — и действительно, я снова начал много и усердно работать.

Я частенько наведывался в рощу из сосен и елей недалеко от дома, и благолепие и одиночество её деревьев, казалось, охраняло меня от надвигавшегося отчаяния. Невероятно тепло шептали мне голоса с ветвей: «О не опускайся до мрачных мыслей о том, что в мир жесток, несправедлив и зол. Приходи почаще; лес добр к тебе. Заручись его дружбой, и ты излечишься, и к тебе вернутся прекрасные светлые мысли».

В общество, то есть туда, где собираются воедино элементы света, составляющие свет, я не ходил никогда. Мне нечего было там искать, ведь успех обошёл меня стороной. Людям, не нашедшим успеха у людей, нечего искать среди людей.

Бедная госпожа Вильке, вскоре ты скончалась.

Кто бывал одинок и беден, тем лучше понимает потом других одинок и бедняков. Нам нужно научиться хотя бы понимать ок-

ружающих, если уж мы не в состоянии предотвратить их несчастье, позор, боль, бессилие и смерть.

Однажды госпожа Вильке шепнула, протягивая мне руку:

— Потрогайте. Холодна, как лёд.

Я взял в свою руку бедную, старую, исхудалую кисть. Она была холодна, как лёд.

Госпожа Вильке блуждала по квартире, как привидение. К ней никто не приходил. Целыми днями сидела она одна в холодной комнате.

Одиночество: ледяной, дублёный ужас, предвкушение могилы, предвестник безжалостной смерти. О, кто бывал одинок, тому не чуждо одиночество другого.

Я постепенно распознал, что госпоже Вильке нечего есть. Домовладелица, к которой в последствии отошла квартира и которая оставила мою комнату за мной, добросердечно приносила покинутой женщине по чашке мясного бульона днём и вечером, но это продолжалось недолго, и так госпожа Вильке стала угасать. Она лежала недвижно, потом её перевезли в городской госпиталь, и там же она через три дня умерла.

Однажды днём, через несколько дней после её смерти, я зашёл в пустую комнату, разукрашенную вечерним солнцем в розовато-весёлые нежные цвета. На кровати я увидел носильные вещи старой дамы, юбки, шляпку, солнечный зонт и зонт от дождя, на полу — маленькие изящные сапожки. Это удивительное зрелище сковало меня несказанной тоской, и так печально стало у меня на душе, словно бы я и сам помер, и вся жизнь, всё её содержание, подчас казавшееся мне высоким и прекрасным, вдруг предстала передо мной тоненькой, хрупкой мембраной. Смертность и мимолётность ощутил я ближе, чем когда бы то ни было. Я долго разглядывал покинутые их хозяйкою, утеравшие смысл вещи и золотую, залитую солнечной улыбкой комнату, я не двигался и ничего не воспринимал. Но, простояв так некоторое время, я вдруг почувствовал облегчение и покой. Жизнь взяла меня за плечо и удивительными глазами заглянула мне в лицо. Жизнь была живой и прекрасной, как в самые прекрасные минуты. Я медленно повернулся и вышел на улицу.

Перевод с немецкого А. Глазовой

Александр Еременко
ЧЕЛОВЕК БЕЗ АМБИЦИЙ

Акулов был человеком без амбиций.

Он так и говорил о себе: — Я человек без особых амбиций.

Так и жил — без особых амбиций и претензий. Если надо было подраться — дрался. Но птичьих гнезд с пацанами не зорил. Восьмилетку закончил на твердые тройки. В девятый не пошел. В армию не попал — сухая кожа. И слава Богу. Зачем человеку без особых амбиций и претензий прыгать с какими-то парашютами, гореть в танках или наблюдать с идиотской вышки, как другие, амбициозные и с претензиями, пьют свой чефир, бросаются на колючую проволоку и т. п. Зачем всё это?

Летом Акулов нанимался пастухом. Зимой работал сторожем. Он даже механизатором не захотел стать. Или не смог. Ему почему-то засыпалось в тракторе.

В деревнях сибирских такого народа — тьма. Да почти все. Независимо от, как говорится, должностей, званий и нац. принадлежности. Ну кроме, может быть, молодых зоотехников и агрономов. Просто Акулов свою безамбициозность не скрывал, как другие, но получалось это как-то ненавязчиво, не по злому, без всяких там «болт забил» или «мне до фени», или, как говорят сейчас, «по барабану». И никого это не раздражало. К тому же Акулов не производил впечатления идиота, одевался всегда опрятно, книжек прочитал примерно столько, как все его сверстники, и в образ местного дурачка не вписывался. И самое главное — не пил вообще. Так, выпивал иногда рюмку, чтоб опять же не обидеть кого-нибудь.

А когда родители умерли, пробовал раз жениться. Но — неудачно. Через год разошлись. Да и жена была не из местных. В общем, «кобыле легче». Но когда Акулов остался совсем один, амбициозности в нем не прибавилось, огород продолжал содержаться исправно (а это уважается), хотя хозяйства большого он не имел. Не из принципа. Зачем? Ведь — пастух.

Так и дожил до тридцати двух лет. Без претензий, амбиций и приключений.

Но дальше события стали развиваться по какой-то спирали странной. По какой-то непонятной, невразумительной, ошарашивающей простого человека логике. И даже, может быть — пугающей. Так бывает, конечно, но чаще в книжках или в кино... Или на войне. Или при освоении, скажем, целинных и залежных зе-

мель, прокладке какого-нибудь трубопровода, там... В общем, при каких-то изменениях вселенского, общемирового значения, когда, как говорится, вихри враждебные так крутят и вертят человеческие судьбы, так запросто рвут и меняют векторы причинно-следственных связей, что многие люди начинают просто сходиться с ума. Как, положим, не сойти человеку с ума, если он сегодня генерал, завтра — лагерный зэк, а буквально через месяц — командующий фронтом. Я сам читал в газете о том, как в Магадане двести человек сошли с ума, выпив какой-то «левой» водки из свежего завоза. Трудно, конечно, представить толпу здоровенных мужиков в двести человек, несущуюся по заснеженной улице Магадана. Безусловно, очень сложно вообразить такую картину. Даже человеку с развитым, подготовленным воображением. Тут уж действительно, или верь, или сам сходи с ума. А известный американский астронавт Армстронг? Тут уж никуда не денешься. Научный факт.

В общем, судьба начертила зигзаг и Илья Акулов, «человек без амбиций», получил от Правительства медаль. Конечно, не за трудовые заслуги. «За трудовые заслуги», может быть, кому попало выдаются. Но кто слышал, чтобы медалью наградили пастуха колхозных коров или сторожа сельского клуба. За особые отличия в труде? Никто не слышал и никогда не услышит. А тут — настоящая, можно даже сказать боевая медаль — «За спасение на водах»! Всё по честному. А медаль эта, кстати, по своему статуту выдается любому человеку, совершившему такой поступок. Любому! Пусть он последний алкаш, прогульщик, хулиган, даже бывший зэк только два дня на воле со справкой об освобождении. Да даже пусть диссидент, антисоветчик, а — вынь, да положь! Единственная такая медаль. Действительно — боевая.

Конечно, в такой немаленькой деревне чуть не каждый год какого-нибудь пацана за волосы из омота вытягивают. Без этого нельзя. Но тут случай был особый. Зигзаг судьбы. Кармические узлы. Дело в том, что один из трех пацанов, которых Илья вытянул из речки, когда стадо на водопой пригнал, оказался сыном нового секретаря парткома колхоза. А секретарь этот был с района или с области за какую-то роковую ошибку в линии партии отправлен в глубинку. Такой зигзаг. Связи у него наверху оставались, конечно, да и свидетелей полдеревни. А дурак зоотехник показал участковому: «Да все коровы видели. У них же всё в сетчатках осталось». Корова там одна на берегу, действительно околела. Наверное, от избытка впечатлений. Но это дело, как говорится, замаяли. Да и мясо дармовое на закуску. Гуляла-то вся деревня. Конечно, это не фронт, где медали командир с собой в ящике возит

и раздает сразу после подвига. Но новый парторг сказал как-то очень уверенно и зло: «Медаль — с меня». — И все поверили.

И часы с себя снял. «Командирские». Хорошие часы, надежные.

Никаких амбиций у Акулова и тут, конечно, не прибавилось. Не при медалях же коров пасти. Но судьба, зигзаги и вихри гнули свою линию в одну сторону.

Медаль было велено получить на ноябрьские праздники в районе. До района — пятьдесят километров. Серебряного ландо за пастухом, ясное дело, не прислали. Поехали на милицейском «газике» втроем: парторг, участковый и Акулов. После торжественного заседания — небольшой банкет для избранных. Там Илья пропустил пару рюмок коньяку. Отказываться было неловко. После банкета зашли в местную шашлычную ресторанного типа и добавили уже не начальственного, регламентированного, а на свои законные. Парторг вдруг заскучал, задумался, задумался и решил остаться переночевать у какого-то бывшего сослуживца. А участковый с Акуловым поехали.

Оба они жили на одном конце деревни. Но на машине переезжать через мост — крюк. Конюшня — на этом берегу. А конюхи, которые жили на том, самые бедовые, уже по слабому льду тропинку проторили. Акулов сказал:

— Тут конюха тропинку накнукали. Я здесь перейду. Проветрюсь.

— Уверен? — спросил участковый.

— А я оглоблю возьму.

— Ну, давай.

И судьба сузила свои круги.

На конюшню ночью всегда кто-то был. А у Ильи с собой бутылка райцентровская. Написано — «Коньяк BRENDI». Который на вкус Илье понравился. Почему не угостить товарищей-колхозников? Медаль показать. И никаких амбиций. Всё по-человечески. «Никаких амбиций и претензий. Одни пропорции».

Зашел Илья на конюшню. Показал медаль в коробочке. Удостоверение. «Согласно приказа Верховного Совета №...». Дата, подпись. Выпили.

Один конюх был дурак, всё коробочку нюхал, а второй, постарше, научил, как награды боевые обмывать полагается. Вылил весь коньяк в большой ковш, положил туда медаль и пустил ковш по кругу. Начиная с Ильи. Поговорили.

Илья собрался идти:

— Оглоблю-то дадите какую-нибудь?

— Ну! — Развел руками старшой. — Обижаешь! На выбор!

Дошел Акулов почти до середины. Слышит — что-то неладное на том берегу происходит. Бьют в рельс, как на пожар, а огня не видно. Прибавил шаг. Потом побежал. Подбежал поближе — Ёханый бабай! У самого берега полынья, а в ней человек барахтается. Подбежал поближе — учительница новая. По дубленке городской узнал, с капюшоном. Подбежал — оглоблю на лёд, подполз. Она ухватилась за оглоблю, а вытащить он ее не может. Дубленка тянет. И сил у нее уже нету.

— Шубу?!.. Скинешь?!

Мотает головой.

Подполз прямо к ней, оторвал с мясом верхние пуговицы — стянули дубленку. Заметил — в полынье санки деревянные плавают. Всё понял. На руки ее нельзя.

— Беги вперед! Быстро!

А на берегу народ — опять полдеревни. А подойти бояться. И участковый. С пистолетом зачем-то. Ах, да — набат. Боевая тревога.

Девчонку — к участковому. Всех ближе. Полна изба народу. Председатель, директор школы. Полный бомонд.

Когда все понемногу разошлись, участковый отозвал Акулова в сторонку. Разлил протирочного материала, что от девчонки остался. Чокнулись. Выпили. Вдруг участковый говорит:

— Медаль — с меня!

Акулов улыбнулся для вежливости, а участковый вдруг стакан шарах! — об пол. Уставился в стол и продолжает:

— И в гробу я видел этого парторга! Я Марине Олеговне позавчера предложение сделал. Мы муж и жена. Вот — кольца сегодня купил в райцентре. И в гробу я видел этого парторга... Она ж, дуреха, все в деревню играет, понимаешь? Водички родниковой решила попить. Поставила флягу на саночки, поехала по тропинке. А когда флягу-то полную начерпала, лед под ними и провалился.

— Да я все понял, — сказал Акулов. — По саночкам и понял.

Выпили по второй. Участковый вдруг захохотал. Его осенила какая-то новая мысль: — Вот только свадьбу теперь придется откладывать. До получения. Или хотя бы до представления. А? А то ведь не так поймут. Давай к ней пройдем, она тебе «спасибо» сказать хочет.

Но учительница уже спала.

— Пойду, — сказал Акулов.

— Ну, давай. Второй раз говорю, да? Ну и денек, да? — Он с размаху влепил свою лапу в ладонь Акулова. И опять что-то вспомнил. — А дело тут верное. Она же Московский университет

с отличием закончила. Русский язык и литература! — Он поднял вверх указательный палец. — А это не хухры-мухры. Сам два раза Академию заваливал! Так что ты спас жизнь молодому специалисту. Дело верное.

— Вот забодаешь свою Академию, закончишь, — и тебе спасу. — Акулов первый раз за день свободно и легко улыбнулся. Легко и свободно. И никаких амбиций. Одни пропорции.

.....
А Чернов, — одноклассник Акулова и сосед, был человеком с амбициями и претензиями. Он, конечно, не заявлял об этом открыто, как Акулов, но был отличником и хорошистом, строил авиамodelи, участвовал во всех районных олимпиадах. И никто его, как говорится, «за уши не тянул». И не был он выскочкой, ябедой или задавакой. Само собой всё получалось, легко. Хотя и расслабляться себе не давал.

Закончив школу, он поступил в Новосибирский университет на факультет математики. Это было очень престижно, и все были за него рады. Но в университете он ни с того ни с сего вдруг стал сильно пить, курса не закончил и уехал в какой-то захудалый городишко, где устроился работать совсем не по специальности. В какую-то малотиражную газету простым литсотрудником.

По какому-то длинному, сложному кругу, по какой-то дуге, похожей на знак вопроса, как по вопросительному знаку, прогнал человека вихрь судьбы. И резко сузил круг. И поставил в конце точку. Как бильярдный шар, всаженный в лузу.

Может, он еще и всплывет где-нибудь. Может, где-то реализуется. Может быть, какой-нибудь хитрый нарколог избавил его от тяжелейшего недуга.

А может быть, он понял, что не амбиции им двигали, а всего лишь мелкое тщеславие, и что вещи это разные, ибо амбиции — вовсе не грех, как думают некоторые умники из Энциклопедических словарей, а только одна из составляющих сил беспощадного вихря судьбы, а тщеславие — настолько мелкая монета в этой игре, что совершенно не имеет значения, как она упадет: орлом или решеткой. И угомонился, укрылся где-то от этого бесноватого вихря причин и следствий. И сидит теперь где-нибудь с удочкой у безымянной речки под мокрым кустом, смотрит на поплавок, в садке плещется несколько рыбешек, и думает, что не его треплет и гонит куда-то неизбежный ветер, а как раз Акулова, человека без амбиций и претензий.

Мусин и Кусин работали ночными поварами в этом круглосуточном кафе. Работали вместе давно. Значит — почти дружили. И не пили на работе.

А страшный случай произошел, что называется, на голом месте.

Выдалась пауза и они вышли покемарить в подсобку. Немного погодя Мусин встал и пошел на кухню. А когда вернулся, сообщил: Каши немного съел и сгущенки взял.

— Чего «взял»? — не понял в полусне Кусин.

— Я говорю, каши немного съел и сгущенки взял. — Он опять улегся.

Кусин приподнялся на топчанчике. — Не понял, куда — «взял»? Сюда что ли принес? Зачем?

— Да куда-то ее не принес. Я говорю — «взял». Сгущенки.

Кусин сел и стал смотреть на Мусина.

— Ты чо так смотришь?

— Нет, ты повтори еще раз... Про кашу.

Кусин тоже сел:

— Я говорю — на кухню ходил. Каши там немного поел и сгущенки взял.

— Да куда взял-то!? Домой, что ли?

— Зачем — домой? — Кусин даже обиделся. — Я не вор. Ты знаешь. И не «несун», как раньше говорили. Я тебе русским языком говорю же: *«Каши там поел и сгущенки немного взял»*. — Раздельно и уже явно злясь повторил Кусин. — Чего непонятного?

— Да куда «взял»-то?! Дурья башка!!! — Мусин вскочил. — Ложкой что ли взял?

— Да полил кашу. Прямо из банки...

— Ну так так и скажи: «Сходил на кухню. Каши. Со сгущенкой. Поел».

Я и говорю: «Каши немножко поел и сгущенки взял».

Они уже до этого держали друг друга за грудки, но тут Кусин не выдержал и ударил Мусина. Ударил ладонью, наотмашь. Но как-то очень сильно и зло ударил. Началась драка. Не простая драка. Они как будто хотели убить друг друга. Поэтому быстро очутились на самой кухне, где побольше подсобного материала. Полетели котлы, кастрюли... и драка взрывной волной ахнулась в зал. Валились столы, стулья, перебудив весь отдыхающий персонал. Мусин с громадным черпаком вдавил Кусина в витрину, стекло лопнуло, они вывалились наружу, и уже в ответ полетел ухваченный с пожарного щита красный большой топор и разнес противоположную стеклянную стенку.

Это была не драка. Это было побоище. Никто даже не пытался их разнять. Официанты и официантки забились за барную стой-

ку, и только ночной охранник, лежа под своим столиком, пытался дотянуться до валявшегося на грязном полу телефона.

Примчались сразу два милицейских газика. Первый, патрульный, — под вой сирены — прямо с Садового кольца на грохоты и визги, другой — из местного отделения.

Предупредительный в воздух, наведенные автоматы и пинки уложили всех без разбора на пол. Потом разберемся.

Озирая окружающие руины, стражи порядка никак не могли поверить, что здесь произошла банальная, если можно так сказать, бытовая драка двух работников общепита, а не вооруженное нападение разбойной группы.

Дравшихся, прихватив свидетелей, растолкали по разным машинам. Видно было, что вместе их просто никуда не удастся доставить. А Мусин, когда его тащили к «коробку», успел проорать:

— А я с тобой еще кроссворды отгадывал, с долб...бом!

Анри Волохонский

НЕКОТОРЫЕ КАРТИНЫ ИЗ МОЕЙ КОМНАТЫ

Дом, в котором я обитаю, стоит на склоне холма. К северу внизу проходит железная дорога, а с юга течёт речка, и к ней обращено окно моей комнаты. Речка маленькая, узкая, шириной метра два. Называется Аммер, что означает Овсянка, не каша, а птица. Собственно, Аммер проходит севернее, за путями, а моя река называется Аммер-канал, там вроде бы монахи веке в двенадцатом проложили этот канал, который и следует поэтому вдоль холма, по склону, параллельно возвышенной части, а не внизу, как бы полагалось. Тем не менее, чуть выйдешь на террасу через восточную дверь слева от окна, в паре шагов течёт речка. Немного ниже по течению она делает маленький порог, затем уходит под здания и появляется далее рядом с большим старым водяным колесом, которое ныне бездействует. А ещё дальше она течет уже по городу, и по её набережным при желании можно прогуливаться.

Внизу у двери на террасу лежит базальтовая голова. Она изображает китайца с косой в созерцании дзен. Сделал её скульптор Дани Дадон, а мне передал в знак признательности за собаку. То был красивейший светлошоколадного цвета пёс породы доберман. Только голубые глаза его были чуть не умны. Но едва Дани его увидел, он задрожал от восхищения. Пришлось дарить. Через несколько месяцев Дани пришел ко мне с головою подмышкой, а она довольно тяжелая. С тех пор так и лежит у меня на полу. Вообще у Дани Дадона было много скульптур: из базальта, известняка, а также из дерева: головы или собрания голов, рыбы и многое прочее. Один гигантский булыжник с изображением фантастического автопортрета какое-то время украшал подход к его мастерской, потом к ресторану неподалёку. Всё это было давно, ещё в Тивериаде. Жил Дани в Мигдале, не в древней Магдале у самого озера, а в нынешнем посёлке чуть вглубь долины Арбель. Там этот пёс передушил всех окрестных кошек, но и сам через несколько лет погиб под колёсами военного джипа.

Выше и левее головы висит маленькая картина Сережи Есяяна в широкой гладкой золочёной раме. Это левкас с изображением двух ангелов, которые раскрывают в небе занавес, а за ним — пустыня.

Под картиной старинный шкаф. Говорят, что стиль его — александровский ампи́р. Приволокли его в Израиль откуда-то из Средней Азии. Он почти весь сломан: в нижних ящиках движется дно,

малиновая ткань секретера истлела полностью, внутренний замок одной из полукруглых с чёрными колоннами дверец не работает. Однако немногое прочее пока цело и служит исправно.

На шкафу множество предметов по большей части вполне бессмысленных. Замечательны из них, пожалуй, только трубные роги да старый барабанчик. Лежит ветвь засохших лавров, а свежие лавры растут на террасе. Ну дудка, кусок мамонтова бивня, ударный деревянный музыкальный инструмент в форме зелёной жабы. Другой музыкальный инструмент, умеющий издавать одну единственную ноту, но очень чисто, почти как камертон, лежит внутри. Есть ещё Есаянова скульптура из выкрашенных в алюминиевый цвет резиновых пробок, изображающая сову. Две фотографии.

Да, фотографии. На одной из них изображён мой внук, который очень на меня похож. На второй — мой прадед, который тоже меня напоминает. Это фотография, на которой сфотографирована фотография, а уже на той фотографии сам прадед. Прадеда звали Израиль-Нохум. Его нашёл некий офеня в семье белорусского крестьянина.

— А что это у вас семь детей беленькие, а один чёрненький? — спрашивает офеня.

Тот отвечает, что младенца он принял трёх лет отроду после того, как все прочие жители селения вымерли от чумы. Офеня (то есть коробейник, торговец вразнос, как там и тогда было принято) взял мальчика обратно в общину. Ему было уже лет семь. Он вырос и стал красильщиком шкур. Но при этом отличался мистическим отношением к внешним событиям. Рассказывают, что он рисовал у себя на печи чёрный круг, и когда его спрашивали: «Дедушка, зачем тебе это?» отвечал, что «это» должно напоминать о гибели Храма. Вот то немногое, что я смог разузнать о моём прадеде. С фотографии смотрит бородатый, с седеющей бородой, человек в черной шапочке лет пятидесяти пяти.

Далее на стене укреплены две вертикальные штанги, а к ним двенадцать кронштейнов, на которых уложены книжные полки. Сами кронштейны слегка выступают за края полок, а на выступах висят кое-какие предметы. Среди них два деревянных шара, вроде тех, что можно вешать на ёлку. На одном из шаров написана картина Мондриана, прямоугольники разных цветов, на другом — две картины Малевича: спереди на шаре крестьянин, сзади три крестьянки. Сделала эти копии Марина Микова, которая приезжает из Петрозаводска продавать ёлочные игрушки и разрисованные пасхальные яйца. Она продаёт еще и Кандинского, Миро, Шагала и других деятелей авангарда. От оригиналов отличить

почти не возможно, только размер поменьше и основа сфероидная. Феномен.

С другого конца полки висит, прежде всего, лужёная медная тарелка, изображающая мифологическую сцену борьбы с силами хаоса. Силы хаоса представлены в виде крылатой коровы, а борется с ними увенчанный старик, нанося удары ножом в лоб и в пуп. Корова сопротивляется, бьёт его по ноге и по руке. Исход сражения неясен, но художник, по-моему, выступает на стороне старика. Работа персидская, сделана во второй половине двадцатого века. Приобретена в Тивериаде. Я долго ломал голову, кому могло понадобиться в нынешнем Иране делать эту выколотку. Ответ был получен совсем недавно, после приобретения книги, в которой собраны основные схематические сюжеты старинных мифов. Там изображена та же сцена, только корова не слева, а справа. Под картинкою подпись: «Мифическая битва. Дворец Дария в Персеполисе. Первая половина пятого века до н.э.». Стало быть, выколочено было при местном музее, не слишком искусно, видно, что в оригинале лев, а не корова.

Пониже висит кусок картона, к которому прикреплены угаритская табличка с клинописными изображениями первого в мире алфавита и круглая печать хеттского царя Мурсилиса. Это слепки музейных экспонатов из Сирии. Ко мне попали случайно.

Под ними доска. Изображено на ней то, что можно принять за свинью, прыгающую возле японского дерева. На самом деле это Вишну и Будда, принявший в одном из своих воплощений образ вепря в соответствии с положениями шинтоистской веры. Приобрёл я дощечку близ храма в горах Японии. В самом храме на толчке изображен змей, и когда проходишь под ним, нужно что-то выкрикнуть. Тогда будет удача.

На правом краю верхней полки, немного под углом, стоит икона. Она из сгоревшей в Мурманске церкви. Принёс её мне один молодой человек, из тех, что навещали в ту пору наше общежитие. А было это в 1965-ом году, зимою.

На полке под нею — складень, Богоматерь Всех Скорбящих, кажется такое у него название. А подарил мне его отец Всеволод Рошко, католический монах. Сам он большой карьеры не сделал, но брат у него, кажется и по сию пору, во Франции кардинал. Был отец Всеволод человек замечательный. Он раньше служил на Аляске, у алеутов, своими руками построил деревянную церковь. Рассказывает, как однажды вызывают его к эскимосам. У них был отшельный священник, но простудился, заболел и вынужден был уехать, а тут как раз прибыли несколько монахинь, и надо бы им освятить иглу, в котором они намеревались жить. Раньше иглу при-

надлежало местному шаману, поэтому требовалось освящение. А Всеволод и сам был простужен. Сунулся он в шкафчик к уехавшему священнику, взял бутылочку и кропит, кропит. Смотрит — монахини что-то морщатся. В чём дело? Отче, пахнет, — отвечают монахини. Посмотрели, а в бутылке-то керосин. У отца Всеволода была ещё коллекция эфиопских икон, да он всё раздарил перед смертью.

На той же полке лежит каменная рыбка, изделие Дани Дадона. Подарили мне её владельцы ювелирной лавки. Но им не нравилось, что рыбка серая, прилепили зеленые глаза и поставили на подставку. С подставки она потом отвалилась, а глаза всё на ней.

Под нею на следующей полке маленькая гравюра. Изображает карету в виде рыбы с верхним плавником и с хвостом, с колёсами и открытой на боку дверцей, в которой виден сидящий там человек. Рыбу везут три собаки, две чёрные лайки, одна светлая. На заднем плане деревья и облака. Гравюру сделал Женья Измайлов, тот, что иллюстрировал полное собрание Франсуа Вийона на французском языке и русские его переводы.

Упомяну ещё о некоторых книгах, которые стоят полкою ниже. Это многочисленные бестиарии: средневековый, славянский, мифологический, бестиарий любви, бестиарий художника по имени Алоис Цётл, Физиолог, Лексикон динозавров — чем не бестиарий? — книга «Единорог и Соловей» и список чудовищ, употребляемых в компьютерных играх. Рядом с ними: персидская книга «Чудеса мира», китайский «Каталог гор и морей», книга о драконах, «Сказочные звери», «Волшебные камни», «Магические драгоценные камни», «Молот ведьм» (скучнейшая книга), труды Агриппы Неттестеймского и многие другие. В жизнеописании Агриппы, которого Рабле в своем сочинении обзывает Гер Триппа, замечательна история о том, как назначили его однажды комендантом замка. А тут восстали крестьяне. Так Агриппа всех их схватил и повесил. А профессия у него была другая: врач, маг, философ. Тут же и книга «От рисунка к алфавиту». В ней имеется изображение арамейской надписи, помещенное вверх ногами.

Далее у восточной стены стоит ещё один шкаф. На его крыше лежит небольшая арфа. Она сделана из деревянного набора молодым американцем в Тивериаде. Он собирал такие арфы, а потом продавал. Жена его говорила, что это арфа Давида, и даже играла на одной из них, подпевая псалмы. Но всё это была неправда. Простая кельтская арфа, вроде той, что служит гербом Ирландии. Когда я вёз арфу в самолете, надо было ослабить струны. Я стал вертеть колки, начиная с самых низких струн, и тут вдруг все остальные со стеном лопнули. Так она и лежит с порванными стру-

нами. А мастер-изготовитель вместе с женой примкнули к группе, ставящей за правило телесную наготу и супружескую неразборчивость, и отбыли жить в этом обществе в пустыню Негев.

На боковой стенке шкафа висит картина Есаяна, изображающая Вольтера, который пишет письмо Екатерине Второй. Вольтер одет в короткий красный плащ веером, костлявой рукой подпирает подбородок. На голове у него волосы завязаны узлом над макушкой, а избыток свешивается двумя волнами по краям головы. Столик перед ним узкий, тонкий, видны ещё две ноги, похожие на ножки столика и так же перекошенные. Справа от него трёхэтажная книжная полка, под которой ночной горшок. Эта картина послужила образцом для работы, которую нарисовал ребёнком мой старший сын. Там я изображён в берете, тоже за столом и со всем прочим. Но ноги у меня поставлены не как у Вольтера.

Здесь, за шкафом, кончается восточная стена и начинается северная. Главная подробность в ней это дверь из комнаты в остальную часть квартиры. Самая дверь представляет собой мало замечательного, равно как и стоящий левее ещё один шкаф. Однако между этим вторым или третьим шкафом и стеллажом при западной стене висит японская ксилография. Её подарил мне муж моей кухни, а с нею ещё две и третью, китайскую вышивку. Вышивка стояла у меня несколько лет лицом к стене. Потом я глянул и обнаружил, что изображает она Хозяйку Запада, богиню Си Ванму в двух возрастах — в виде маленькой девицы и средних лет дамы. Конечно у неё нет ни клыков, ни хвоста, как на старинных изображениях, однако это Си Ванму, если судить по свисающим куницам или соболям с одежды, трём раскачивающимся фигуркам над головой и не слишком доброму выражению лица. Я потом подарил её своему старшему сыну. Вокруг неё кузнечик, обезьяна и бачка.

На одной из японских ксилографий изображено сражение между самураем в зеленой одежде, на которого нападают трое в пёстром. Дело происходит в доме, из которого видна река и другие дома. Вдали лежит снег, бегут люди. Там тоже идёт битва. Один из персонажей спрятался под крышу и лежит, никем не видимый. Сзади написано, что нарисовал картину художник Фусатане, а изображена на ней сцена из пьесы «Чушингура», акт 11. В середине плоскость ксилографии еле заметно продрана.

На обороте другого изображения написано, что автор его Хокусай, хотя сюжет там малоизвестный: сцена в бане. Полуголые люди энергичными движениями черпают воду, льют, орут, хватаются за голову, просто сидят и млеют.

Третья картина висит у меня в комнате. На ней Дух Ветра с та-

туировкой на плече расстилает ковёр над волнами бушующего моря. Здесь начинается западная стена.

На стеллаже у этой стены лежит свёрнутый пополам Вестник Велемира Хлебникова, Номер 1, Москва, февраль 1922. Это, конечно, ксерокопия. Оригинал хранится в Норвегии. На обороте латинскими буквами написан адрес: Норвегия, Христиания, Фритиофу Нансену. Наклеены две пропечатанные марки. На одной из них можно разобрать дату: 20.4.22. Русскими буквами начертано: Дозволено цензурой 3.4-22 и стоит номер 592. По-видимому, это дозволение относится к содержанию Вестника, а не к факту отправки его в Христианию, ныне Осло. В заглавии имя Хлебникова написано через «е», однако внутри, в самом тексте рукой поэта поставлена подпись: Верно: Велимир Первый. Наверху над текстом Вестника надпись по-русски: «Председателю Земного Шара Фритиофу Нансену. Русские председатели онаго П. Миутурич, В.Хлебников». Стоит дата выхода в свет: 30.1.1922. Содержание Вестника довольно известно, отмечу лишь, что Третий Приказ с формулами обращения планет называется не Приказ, а Криказ.

Там же второй номер журнала ЛЕФ, который издавал Владимир Маяковский в 1923 году. В нём напечатана поэма Хлебникова «Ладомир» и стихи многих поэтов того времени к Первому Мая. В разделе «Теория» есть любопытная статья Б.Арватова «Речетворчество» и рассуждение Осипа Брика о профессоре А.А.Сидорове под названием «Услужливый эстет». Ну и другие статьи тоже не лишены любопытства. В рецензии на книгу Владислава Ходасевича «Тяжёлая лира» написано, например: «Нет смысла доказывать, что дурно-рифмованным недомоганиям г. Ходасевича не помогут никакие мягкие припарки».

На другой полке стоит под стеклом пригласительный билет на прощальный вечер Алёши Хвостенко, который проходил несколько лет назад в Санкт-Петербурге, работы Васи Аземши. На левой стороне надпись: «Хвост выставляет прощальный чайник вина». Буква «о» в первом слове оформлена как верхушка крышечки чайника, буква «ч» как носик, буква «к» как ручка всё того же чайника. Так что вся надпись выглядит как чайник. На правой стороне сидит сам Хвост в виде черного контура, нога на ногу, и курит. Рядом его гитара.

На торце стеллажа висит латунное распятие в форме ромба с просверленными по углам дырами для прикрепления к могильному кресту. В 1972-ом году я шел как-то летом по городу Владимиру и встретил мальчика лет восьми, который неистово тёр мелом это распятие, стараясь счистить патину. Осторожней, а то ис-

портишь, — сказал я и проследовал своей дорогой. Через какое-то время мальчик догнал меня и отдал изделие.

Пониже располагается тарелка с синей птицей. Думали, что это птица дронт. Рисунков дронта у меня много: гравюра из энциклопедии Брокгауза и Ефрона, открытка с известной картиной Савери, яркое изображение в бестиарии Алоиса Цётла, две фотографии — в профиль и в фас — модели дронта из коричневатого пуха страусихи, которая была выставлена в местной аптеке, в её окне. Я считаю дронта геральдической птицей российской интеллигенции, поэтому при случае собираю изображения. Но на тарелке не дронт, а птица феникс.

Рядом возвышается тонкий табурет, а на табурете прозрачный ящик величиною в локоть. В нём скульптура голой толстой красавицы с поднятыми вверх руками, которую сделала Ира Рейхваргер из ваты и капронового чулка. Она в своё время изготовила много таких и похожих статуй. Иные из них групповые, есть даже целая свадьба: жених, невеста, родители жениха и невесты, их родители, младшие братья и сёстры и прочие. Всю эту группу — двадцать фигур — взяли в Иерусалимский музей. А сама Ира недавно скончалась.

Рядом с моим ложем, ближе к углу, стоит бамбуковый стакан для карандашей. На нем изображен куст бамбука. Хотя он и треснутый, я им дорожу, ибо подарил мне его от всей души Леонид Ентин.

Вадим Месяц

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Мы возвращались с новоселья школьной подруги, моей первой любви и любовницы. Они с матерью и отчимом переехали в центр города, в забавную квартиру с внутренней лестницей, в здании примыкающем к кинотеатру «Буревестник». Двухэтажных квартир в нашем городе тогда не было, вход в их квартире находился внизу: поэтому мы считали, что пришли в гости в двухэтажный особняк. Нужно было позвонить в звонок, подождать пока хозяева спустятся, потом подниматься наверх, гремя бутылками, чмокая поцелуями. По молодости я считал это жильё своим. Я считал любой дом, где меня любят, своим. Звуки кинофильмов слышались через старую стену: давали «Синдбада Морехода», «Рукопись, найденную в Сарагосе», «Жестокий романс»... Наша любовь происходила под звуки кино, мы пользовались книгой, переведённой с языка ГДР для семейных пар, чтобы достичь райского наслаждения. Мы были детьми, деятельными детьми. Во дворе дома находилось музыкальное училище, без конца настраивающееся и пиликающее. Как-то, я помню, один мужчина убил другого мужчину в этом дворе топором. Мёртвый лежал на асфальте, мы подошли к нему и его пожалели. Вокруг царил музыкальное мракобесие, смерть мужчины намекала о глубинах гармонии. У нас тоже был переносной магнитофон, мы таскали его с собой, и продолжали пританцовывать на улице, возвращаясь домой с новоселья. Шел мокрый снег, покрывающий проспект имени Ленина скользкими лепешками. Брызги от них неоправданно разлетались под колесами, башмаками. Это было не самое лучшее время для прогулок, но мы были в хорошем расположении духа, подпевали магнитофону, наши одноклассники громко смеялись.

Враг стоял в телефонной будке возле дворца бракосочетаний, накрёпленный, полуразвалившийся, прилипший лоснящимся затылком к стеклу. Воротник его плаща сбил в мокрую бесформенную тряпку, но он постоянно поправлял его. Галстук вываливался на брезентовый лацкан, но он тут же вставлял его обратно за пазуху. Вот так он и прихорашивался, борясь с неуправляемой космической стихией своих желаний. Мужик говорил в телефонную трубку: — Оля, я все еще здесь. Я возьму мотор.

Чувствовалось, что он стоит тут очень давно, привык к своему прозрачному жилищу, и поехать к Оле ему так же трудно, как и прекратить разговор.

Мы подошли к телефону-автомату, перекикиваясь на секрет-

ном молодёжном наречии. Барельефы зданий в белой известке грудились и гордились собой, отсыревая. Наши дамы перешли на противоположную сторону улицы к другой телефонной будке. Надо было позвонить родителям и сказать, что мы задерживаемся. Мы остались около загса, продолжая играть, толкаться, беспричинно хлопая друг друга по плечу. Потом, разглядев мужика, насмешливо уставились на него все трое. К тому времени он уже сидел на корточках, провод натянулся и был готов оборваться. Наш враг казался похожим на дурака.

— Оля, я все еще здесь. Ты мне не веришь?

Он повернул голову, лениво, без всякого интереса поглядел на наши американские джинсовые брюки. Повернулся обратно, продолжая кивать голосу в телефонной трубке. Он вёл себя вызывающе. Он оставил нас без внимания. Фофан тряпочный, хорёк скрипучий, фантик японский... Мужик сидел на корточках. Наверное, от этого мы казались ему верзилами. Его интересовал только разговор с женщиной.

— Оля, я все еще здесь, — сказал враг, но ответа разобрать не смог, — Грабор со скрежетом просунул магнитофон, включенный на полную громкость, к нему в будку. В динамике стучали барабаны, и кричал незнакомый мужику голос Роберта Планта, непревзойденного.

Я перешел на другую сторону улицы, дамочки по очереди разговаривали с кавалером одной из них; подшучивали, пользуясь похожестью голосов. Я забрал у них телефон и позвонил домой. Трубку взяла сестра. Она кашляла настолько долго, что я подумал не возвращаться домой вовсе.

— Я был на новоселии у невесты. Скоро к ней перееду. — Мне хотелось сказать ещё какую-нибудь нелепость, но Анна дернула меня за рукав, показывая глазами, что у Грабора с Сашуком что-то происходит.

— Я вчера здесь потеряла пуговицу, — сказала Ворона. — Я по этой стороне пойду. Здесь всегда лежат пуговицы.

Я почти бегом пересек улицу и вернулся к приятелям. Асфальт в снеговой каше скользил, безудержно увеличивая число степеней свободы. Такси, затормозившее перед светофором, занесло, машина встала поперек проспекта. К счастью, город опустел, движение стихло. Почему-то я вспомнил кота своей подруги и с удивлением отметил, что именно он сыграл решающую роль в продолжении наших отношений. Громадный, персидский, лохматый, когда-то, еще котенком, он упал с моего плеча и сломал себе ногу.

Снегопад усилился, уплотнился. Мокрые хлопья безбоязненно трогали наши лица, скатывались за шиворот. Грабор и Сашук сто-

яли в боевых стойках, изготовившись к драке. Они сохраняли равновесие лучше, чем их противник. Враг, выкуренный из телефонной будки, стоял, прижавшись к стене, моргая мутными глазами. Под его пшеничными, вросшими в нос, усами, поблескивала желтая коронка. Серая кепка лежала на земле: кто-то из товарищей уже успел приложиться к его физиономии. Я подошел к магнитофону, уменьшил громкость, и отнес его на безопасное расстояние.

— Зачем ты нагнетаешь ядерную обстановку? — спросил Грабор и вынул ножик с выбрасывающимся лезвием. Я знал, что ножик сломан и тот вынул его только для киношного эффекта.

Мужик стоял, рассматривая свою размокшую обувь. Он думал, хватит ли ему денег на такси, чтобы доехать до Оли. Он искал в кармане мелочь и снова двинулся к телефону. Он чуть не наступил ногой на свою кепку. Остановился, поднял. Ворона на другой стороне проспекта радостно закричала, что нашла свою пуговицу. В нашем городе трудно было что-нибудь потерять по-настоящему. По крайней мере, в те времена всем нам так казалось. Они в обнимку с Анной бежали к нам. Ворона несла пуговицу, зажав ее в ладони. Мужик помахал им в ответ своей грязной кепкой.

— Молодежь бывает хорошая, и плохая, — подумал он. Потом достал из кармана плаща бутылку розового портвейна, разбил ее об угол здания, и со значением выставил на нас горлышко с хищными осколками.

Мы зарычали и начали постепенно сужать свой круг. Мужик двинулся в сторону Грабора, но тот напугал его пронзительностью свиста. Враг не ожидал такого резкого звука, отпрянул к зданию, но в последний момент, будто передумав, конвульсивно дернулся и всадил стеклянную «розочку» в горло Сашука. Он для верности повернул ее, выдернул, бросил и ринулся в сторону автобусной остановки. Мы вместе с Грабором побежали за ним, раскатываясь по застывающей гололедице, но тут же вернулись на крики женщин.

Сашук лежал свернувшись на асфальте, хрипел что-то угрожающее. Аннушка окунулась в истерику, колотила худыми кулачками о стекла будки и бормотала невнятицу. Ворона помогла мне перемотать Сашуку горло своим длиннющим вязанным шарфом. Мы вместе с Грабором потащили его к ней домой, её отчим был медицинским работником. Она обогнала нас, добежала до квартиры, и когда мы донесли Сашука до подъезда, отчим уже ждал внизу. Мы подняли Сашука на четвёртый этаж, но он уже был без сознания. Сняв окровавленный шарф с его шеи, я заметил, что умирающий успел прокусить и порвать шерстяную вязку в двух местах.

Трамвайные рельсы блестели под фонарями. Из-за дощатой

тмы, клубившейся по обочинам, пути казались бесконечной прямой аллеей, идущей то в гору, то с горы. Где-то далеко лаяли разноцветные собаки. Камни между шпалами, намертво примерзшие к грунту, скрипели, соскальзывая с подошв. Мы шли к первой городской клинике, куда, судя по всему, должны были отвезти Сашука. Анна продолжала хныкать, мне почему-то казалось, что она чрезмерно трагична, и просто использует свою слабость. Я стыдился своих мыслей, потому что с каждой минутой эта девушка нравилась мне всё больше. Я начинал понимать, что рифма «любовь» и «кровь» появилась в родном языке неслучайно. Что только что случилось смещение планет и нам дана новая свобода... что мы ей воспользуемся. Грабор вернул меня на землю напоминанием о том, что мы должны завтра принести в «Париж» три бутылки водки. Нас ожидали разборки; нас должны были бить у помойки за зданием школы. Мы платили оброк местным блатным уже около года и никак не находили способа избавления. История с Сашуком могла помочь и здесь, оттянуть час расплаты. Люди устраивают такие вот интриги и войны, чтобы смешать карты. В больнице нам сказали, что Сашука привезли в состоянии клинической смерти и сейчас он находится в реанимации. Возвращаясь наконец домой, мы решили расспросить его, что он чувствовал, находясь на том свете. Аннушке не нравилась обыденность наших интонаций, но рыдать она уже перестала. Мне удалось поцеловать её холодные щеки и лоб, когда мы прощались около её сумрачного подъезда. Я помню незнакомое ещё возбуждение бессонной ночи, безнаказанности и самоуправства, которые даёт нам мимолётное соприкосновение со смертью. Когда я вернулся домой, долго сидел в кресле, положив на колени свои руки. Я смотрел на голубые кровеносные сосуды на них, пока за окном поднималось солнце.

Недели через две Сашук попросил берёзового сока. За время пребывания в больнице он не капризничал, писал письма, где жаловался на то, что отлежал спину. «Моя спина — сволочь», — писал Сашук, и мы радовались тому, что он не изменился. Он с удовольствием описывал соседей по реанимации — рядом с ним лежали три жертвы мотоциклетной катастрофы. Мужчина, на которого он, придя в сознание, блеванул кровью — умер. Сашук писал, что рад его уходу: тот был очень вшивым. Мы передали ему книгу про Незнайку на Луне — он ликовал и благодарил, книга оказалась его «Библией». Про «опиум для народа», он сообщал, что его очаровало действие морфия, с его помощью он смог уже несколько раз увидеть хаос зарождения собственной жизни, возвращаясь в далёкое прошлое. Он советовал нам это лекарство. Это ещё приятнее портвейна, говорил он.

С Грабором мы договорились встретиться около отсырелого киоска «Союзпечати» на остановке «Южная застава». Было пасмурное воскресное утро, обещающее распогодиться согласно радиосводкам. Вдоль бордюра ещё лежали сколотые ледышки и грязная снежная крупа, так что вести велосипед нужно было осторожно. Грабор был на новеньком спортивном велике с ярко-желтой рамой, у меня была дворовая самосборка: велосипед я когда-то угнал у соседей с нижнего этажа, но тут же сделал его неузнаваемым, поменявшись велосипедными рамами с приятелем. Я гордился высоким рулём, который выгнул на трубогибе в форме мотоциклетного — он был настолько высоким, что руки можно было держать на уровне бровей. Точного места нашего назначения мы не знали, но резонно решили остановиться там, где будут расти берёзы. Воровато оглядываясь на колонну военных грузовиков, проходившей по «Южной» площади, мы вынырнули на расхлябанное двухполосное шоссе, ведущее в сторону аэропорта, и потрусили друг за другом в девственных леса, сближаясь по возможности для продолжения разговора.

— Ты собрался жениться, — говорил Грабор. — Это ты всегда успеешь. Не надо разрушать сложившуюся компанию. Что я буду делать, если Сашук помрёт? У него осложнения — пневмония. А тут ты со своими персидскими котиками. Если всё так пойдёт, мы не успеем прославиться.

— А это ещё зачем? — спрашивал я.

Километров через семь мы свернули на отросток дороги, ведущий к татарским деревням и дачным участкам: движение здесь было потише, сезон ещё не начался. Скатившись с асфальтовой горы к единственному загородному ресторану, мы углубились в лес, выдавливая в чернозёме его тропинок неглубокие, чавкающие колеи колёсами своих велосипедов. Не истлевшие листья и прожилки льда хрустели под ними, эти сырые звуки были приятны на слух. В канавах у обочины виднелись пузырчатые островки лягушачьей икры, плавающих среди осколков ледяной корки. Вода была прозрачна, из-за листьев и сосновых иголок устилавших дно, она приобрела бурый чайный оттенок. Возле какого-то маленького озерца мы остановились проследить за процессом возрождения жизни, но ни рыб, ни жуков ещё видно не было: только невысокие водоросли шли по дну плотным покровом, напоминающим сверху тайгу, увиденную из-под крыла самолёта. Мы пошутили на эту тему, бросили велосипеды у воды и пошли в березняк, светлеющий на пригорке. Стволы берёз были наполнены внутренним весенним свечением; казалось, что кора вот-вот лопнет и нам в лицо ударит этой желтоватой растительной жижей, которую по-

чему-то принято собирать нашим народом по весне. Мы подрубили несколько молодых берёз, в четыре из них вбили специально порезанные стальные уголки в качестве желоба, привязали к стволам пластиковые пакеты. Один из них, заграничный, с изображением заморского пляжа, смотрелся наиболее ярко на невзрачном лесопарковом фоне: на картинке иностранная молодёжь играла в волейбол, старые пердуны сидели под зонтиками, в правом нижнем углу пакета стояла девушка с симпатичным круглым животиком, в тёмных очках.

Берёзы оказались не такими полнокровными, как ожидалось. Грабор сказал какую-то чушь про то, как на Дальнем Востоке он мыл берёзовым соком руки — сок хлестал как из-под крана, такой напор — но я ему не поверил. Где-то рядом пролетела беспокойная скрипучая птица, было непонятно, как она издаёт такой звук: то ли своим кудахтаньем, то ли надломленной работой крыльев. Мы вышли на небольшое картофельное поле, бросили на землю куртки, легли среди клочьев высохшей травы с редкими зелёными прожилками и хрустящего наста прошлогодней ботвы, рассыпанной в беспорядке. Небо было театрально голубым, безоблачным, пересеченным единственной дымовой дорожкой от реактивного самолёта. Расслабленные вершины деревьев обрамляли его, роняя иногда на наши лица чудом пережившие зиму сухие листья. Мы курили сигареты «Шипка», названные в честь победы русского оружия над турецким, сигареты попались сырые и мы положили их сушиться на корень сосны, на рыхловатый мох ядовито-купоросного цвета. Птицы неизвестных пород перекрикивались с разных концов леса, мы продолжали свою мужскую беседу:

— Ларионов взял у меня в залог мой перстень, — говорил я. — Поклялся, что вернёт. Как думаешь, можно ли ему верить?

— Если Сашук помрёт, — вернёт. У него недавно взяли кровь. Он до сих пор в состоянии легкого алкогольного опьянения.

— А перстень мне отдадут?

На краю поля справа от нас, лежал довольно крепкий отсыревший пенёк, повернутый в нашу сторону ровной поверхностью своего распила. Мы взялись считать на нём кольца зим, размышляя, оставляет ли возраст какие-нибудь пометки на костях человека. Стая скворцов приземлилась на поле, некоторые расположились на ветках березняка. Они чернели своими лоснящимися нефтяными боками и передразнивали серьёзность нашей речи. Вековая тишина заглушала их гортанные крики, она приводила наши лица в состояние полной расслабленности, блаженного бездумия: мы разомлели на солнце, оглушён наподобие туристов, глядящих на угли догорающего костра. Я поймал себя на этой мысли и сооб-

щил Грабору, что природа старается нас охмурить своим спокойствием, что мы должны быть начеку. Он не совсем понял, что я имею в виду, но через несколько секунд думать уже было поздно. Мы одновременно вскочили со своих лежанок, почувствовав нарастающий треск и напор приближающегося пожара. Его смертоносный шар уже прокатился через половину поля и застал нас врасплох, подкравшись сзади, почти вплотную приблизившись к нашим хипповатым шевелюрам. Мы вскочили с мест в тот момент, когда полыхнул рукав моей болоньевой куртки. Я с силой ударил ей о землю, сбил пламя, на бегу повязал её на бедра, вскочил на велосипед и полетел по тропинке вслед за Грабором.

Вскоре мы сидели на обочине шоссе, в разумной удалённости от разгорающегося лесного пожара. Сумка с провизией как прежде болталась у меня на руле, мы решили устроить пикник, немного подождать и выяснить к чему приводит неосторожное обращение со спичками. Над лесом с неуклонным рвением к небесам поднимался ядерный гриб, мы сожалели о том, что наши пакеты с берёзовым соком скорее всего уже сгорели и ждали приезда пожарных машин. Их до сих пор не было, поэтому мы были вынуждены наслаждаться зрелищем, с нелепой сосредоточенностью расколюпывая яйца вкрутую, всученные нам в дорогу родителями.

— Иисус воскрес!

— Воистину ахбар!

Пожар поднимался над линией горизонта, раскручивая в своём смерче перелётных птиц, ошмётки сгоревшей листвы и хвои. В его варварской неожиданности и силе было что-то от очищающей жестокости монголо-татарского нашествия. Пожарники не торопились и мы с восторгом подумывали о том, что произойдет, если пламя войдёт на дощатые окраины нашего города. Салют в честь умирающего друга мы сделали замечательный. В нас совершенно не было болезненной жажды мести, мы считали, что пожар необходим для восстановления мистического равновесия и умиловливания каких-либо бессмертных богов. Откуда-то издалека до нас доносился протрезвляющий прохладный запах недавно начавшегося на реке ледохода и бензиновая гарь автомобильной дороги. Грабор продолжал разлогольствовать о ненужности ранней женитьбы и величественности нашего предназначения. Нам нравилось чувствовать себя беззаботными молодыми подонками.

— Берёзовый сок можно купить в овощном магазине, — говорил он. — Сашук всё равно ничего в этом не понимает.

Пожар закончился так же внезапно, как и начался. Он перекинулся на соседние картофельные поля, сжег дотла их вымершую растительность, но был остановлен земляными тропинками, кото-

рыми участки были отгорожены по своему периметру. Мы сделали доброе дело санитаров леса, хотя возвращались обратно в березняк с опасением. Мы уже выезжали на асфальтовую дорогу, обвешавшись пакетами с берёзовым соком, когда на меня из зарослей кустарника, перепутанного с упавшими ветками, выскочил поджарый чёрный дог без ошейника и в прыжке ткнулся в ноги на уровне паха. С испугу я затормозил, Грабор смеялся: это была собака его соседей по лестничной площадке. Чёрная собака намекала на тесноту мира.

В какой-то из тех же дней я встретился с Аннушкой и отправился с ней на реку для романтической прогулки. Тоненькая, безгрудая, коротко стриженная, она опережала своей внешностью моду лет на десять, я чувствовал это и гордился стильностью своей спутницы. Мы считали, что не встретим на своём пути никого лишнего, были уверены в своей правоте. Помню, что мы купили в стеклянной столовой дорогие сигареты — «Pall Mall» кишиневского производства, что само собой представлялось нам праздником. Мы пришли к реке, немного постояли на её обрыве, держась за руки: лёд уже прошел, но наши головы инстинктивно поворачивались направо, по течению; туда, где река рано или поздно впадает в Северный Ледовитый океан. Вниз, к воде, вело несколько троп, петляющих среди серых слоистых утёсов, похожих издали на сливы плака при производстве угля. Скалы были древними: считалось, что на одной из них сохранились рисунки первобытных охотников, фотография которых выставлялась в краеведческом музее. Здесь же, напротив парка, согласно народному поверью, затонула в начале века баржа адмирала Колчака, груженная крупным рогатым скотом. Представить себе тонущее ночью коровье стадо, которое пыталась спасти какая-то заполошная коммисарша, было нетрудно; к тому же это давало забавный ракурс на историю с похищением Европы. Я умничал, стараясь понравиться новой девушке, сажал её на плечи и носил вдоль берега, шатко ступая по камням в своих сабо на деревянных колодках. Мы целовались и лапали друг друга в свободные от разговоров минуты. Где-то рядом постоянно присутствовала какая-то невидимая шпионская птица, издающая дребезжащие, почти электрические звуки. Нам так и не удалось увидеть её, хотя мне казалось, что я несколько раз заметил быстро промелькнувшую тень её крыльев на склоне горы. Моё счастье закончилось так же загадочно, как и началось. Мы выкурили полную пачку сигарет, радуясь возможностью делать это не таясь, потом я проводил даму до троллейбусной остановки. Мы были воодушевлены свежестью весны, мы были влюблены друг в друга.

— Какой ты милый, — сказала она на прощанье, перед тем как раздался шелест закрывающихся троллейбусных дверей, и в это мгновение я почувствовал, что наша любовь закончилась.

Я до сих пор не знаю как объяснить это, но вернувшись домой, я позвонил своей предыдущей невесте и справился о здоровье персидского котика. Я сказал, что в моей жизни начинается джаз. Она ответила, что успела полюбить другого молодого человека, и я вздохнул с облегчением, уверенный, что Сашук теперь непременно оклемается. Мы придём вместе с ним и Грабором на берег реки и выпьем шампанского в честь его выздоровления, по очереди поднося к губам здоровенную бутылку, как чокнутые горнисты, трубящие утешительную зарю.

КОФЕ В ПОСТЕЛЬ

Я помню, что это было девятое октября, потому что наутро следующего дня тщательно прошерстил отрывной календарь, выдрав из него лишние листки, пока не дошел до десятого. Вечером мы с Грабором и Сашуком были в загородном ресторане, хотя не имели на то никаких оснований. Давайте сходим поужинать, — сказал Сашук, и мы согласились, поражаясь светскости его слов. На заключительных этапах ужина Сашук пошел в туалетную комнату и не вернулся. Мы поискали его в помещениях ресторана, вышли на берег незамерзающей горной реки, покричали его имя в густую тьму раннего вечера. Река шумела, влажно поскрипывая своим костлявым хребтом. Денег у нас не было, хватило только на то, чтобы заказать любимую музыку. Я правильно договорился с музыкантами и мы самозабвенно потанцевали шейк в разных концах зала. Мы размахивали крахмальными салфетками у себя над головами, словно сигналили проплывающим мимо кораблям. Проплывающие корабли сигналили нам в ответ. В зале было много одиноких дам неподходящего возраста. Проскальзывая мимо официантов, Грабор захватил графин с недопитым армянским коньяком, чтобы скрасить тусклую дорогу до города. Возвращались мы на полупустом рейсовом автобусе. Кондукторша смотрела на нас с умилением, мы рассказывали ей сообщения армянского радио на русском языке — нам нравилась страстность, с которой она хохотала над старыми шутками. Автобус останавливался напротив моего дома, и она с сожалением напомнила, что уже наша остановка. Мы выпрыгнули на холод, раскрасневшиеся от собственной популярности, и Грабор тут же предложил свои услуги девушке, одиноко стоящей в ожидание экспреса. Она была одета в большое бежевое пальто и вязаную шапку-

трубу, заменяющую так же и шарф — вещь удивительно модную в то время. Пойдемте, поужинаем, — говорил он, передразнивая Сашука. Я замечательно готовлю сациви. Выпьем по бокалу «Саперави». «Саперави» хорошо идёт под сациви. Вы ведь не откажетесь? Не отказывайтесь.

Она не успела сказать ничего определённого, как он увлёк её за собой, беспрестанно тараторя о великолепной планировке их с братом квартиры. Он назвался моим братом, более того, братом-близнецом. Возможно, он считал меня своим братом. Возможно, так оно и было. Я не придавал этому значения: путь к сердцу женщины из предместий он знал лучше. Мне было интересно, чем он будет угощать даму, как вообще будет развлекать её в апартаментах, лишенных мебели и домашнего уюта. Мы поднялись на третий этаж, я без особенного гостеприимства открыл им дверь, извиняясь за возможный беспорядок. Квартира моя, пустая и тёмная, производила монументальное впечатление: отзвуки альпийского эха бродили по ней со времён революционера Батенькова, который распространял в нашем городе какую-то подлую подпольную газету. Более менее обставлены были спальня и кухня; Грабор тут же увлёк даму на топчан и закрылся на защелку. Я прошел на кухню, примеряя украденный графин к наборам своей посуды. Удрученно я выставил его посередине кухонного стола, подумав, что глаз художника обязательно обратил бы внимание на изящную аскетичность композиции. Свою кухню я любил больше остальных комнат. Здесь всё оставалось так же как в детстве. Уезжая, родители оставили кухню в целостности и сохранности. Большой фотографический натюрморт с французскими плодами, хлебами и колбасами, стоящий на холодильнике, немного выцвел, но как прежде возбуждал аппетит. Вырезка из грузинского календаря с репродукцией художника-примитивиста напоминала о том, что на земле существует «холодный пиво». Я заварил себе кофейного напитка, уселся за стол напротив зеркала, которое мы повесили пару дней назад, шуточно решив жить и умереть перед ним, согласно высказыванию какого-то европейского умника. Наслаждаться своим отражением мне пришлось недолго — вскоре Грабор нехорошо хохоча выбежал из спальни, держа в руках простыню с двумя огромными кровавыми пятнами посередине.

— Право первой ночи! — заорал он голосом озверевшего феодала. — Они совсем обнаглели. Знаешь, откуда она? Из посёлка Пушное. Слышал когда-нибудь? Стопроцентный сифилис... Хоть бы предупредила...

Он громко ругался, бегал по квартире, сотрясая кровавой простыней, словно хотел поделиться ещё с кем-нибудь ужасом проис-

шедшего. Девушка не выходила из спальни — наверное, так и продолжала сидеть в глубине лежанки, укутавшись колючими клетчатыми одеялами. Грабор призывал её к срочной стирке. За базар надо отвечать! Нагадила — убери! Смой следы преступления! Скобариха!

Не знаю, почему он так возбудился. Скорее всего, Грабор просто не переносил вида крови: удивительно, что раньше я не знал об этом. Я наполнил ванную на четверть холодной водой, бросил туда простыню. Стиральной машиной мы не пользовались, — она до сих пор пахла дрожжами, потому что неделю назад мы пытались сделать в ней брагу. Сашук сказал, что вращение ускоряет процесс брожения... Взбивается быстро как коктейль. И здесь он успел над нами поиздеваться. Мне стало жалко девушку, я прошёл к ней в комнату и сел на краешек постели. Она пребывала в одеревенелом состоянии, то ли собиралась заплакать, то ли проплакалась. Большая, рыхлая, податливая в своей непритворной слабости. Распущенные русые волосы лежали посекшимися прядями поверх застиранного бюстгалтера. Грубо склеенные недорогой тушью ресницы можно было пересчитать по пальцам. Губы были покрашены тёмной, почти фиолетовой помадой. Она произнесла, едва шевеля этими губами, что Грабор обещал взять её за муж.

— Я поверила твоему брату, — повторила она, на мгновение вспыхнув глазами. — А вы меня обманули. Жила-была простая девушка, работала, училась — и вот.

— Что — и вот?

— И вот стала женщиной.

Я не знал насколько хорошо или плохо это сообщение, сел поближе, стараясь как можно ласковее погладить её по голове.

— Нельзя быть такой доверчивой, — шептал я одинаковые слова. — Неужели родители не говорили вам, что в большом городе нужно быть осмотрительнее. Вы пошли с совершенно незнакомыми вам людьми. Мы могли оказаться серийными убийцами, маньяками, насильниками... Может быть, вы до сих пор подвергаетесь опасности, находясь здесь.

Она мудро вздохнула и полезла в свою сумочку за зеркальцем.

— Теперь мне уже всё равно. Делайте со мной что хотите. — Она некапризно всхлипнула и продолжила. — Может быть, я беременна... Это не смешно...

Она была непревзойдённа в своем хитроватом простодушии, от неё пахло духами, сигаретами «Ту-134» и сладким подростковым потом. Грабор зашёл к нам в комнату, по-прежнему такой же злобный. С мокрой простынёй в руках. Вода капала на ковер, и я

сделал ему замечание. Тогда он обрушился на меня, почувствовав, что я переметнулся на сторону женщин.

— Милуетесь, вашу мать! Кого ты из себя корчишь? Иус Христос, бя. Гони её отсюда паршивой метлою, а то она наложит на себя руки. Полиция нравов... Посмотрел бы я на тебя, если бы ты так вляпался.

Я обиделся на него и сказал, что он сам может уматывать отсюда. Что я его больше знать не знаю, что я в милицию позвоню, поставлю вопрос в комсомольской ячейке. Он хмыкнул и свалил на кухню отцеживать брагу. Я поставил пластинку Татевик Оганесян с успокоительными блюзами, помог барышне одеться, настоятельно впихивая в её сознание, что Грабор братом мне не является, и где живёт неизвестно.

— Вы если что — звоните. Не забывайте нас. Мы завтра уезжаем на несколько месяцев на Север, корреспондентская работа... Но мы потом вернёмся. Навсегда вернёмся. Мы всегда возвращаемся. Будем дружить. Мы всегда дружим. Какое красивое у вас имя... Мария... Мэри...

Девушка успокоилась, начала подхихикивать.

— Смотрите, как можно носить мою шляпу, — сказала она и натянула трубу домашней вязки на своё выпирающее тело. Так получается вечернее платье. — Она спустила её ниже. — А так юбочка. Я обязательно позвоню. У меня хорошая память.

Когда я стал закрывать дверь, девушка неожиданно ринулась ко мне, прижалась и крепко поцеловала мои бледные губы своими черными.

— Ты такой добрый, — сказала она на прощанье. — Всё будет хорошо.

Покачиваясь, я направился к Грабору, но по пути зацепился за шнур электронного будильника, который сполз с комода и рухнул на пол. Мой братец пришел помочь собрать осколки. Ползая по полу на четвереньках, мы продолжали молчать до тех пор, пока я не заявил, что он был, в общем-то, прав, и этой скобарихе не место в приличном обществе. Он серьёзно посмотрел на меня и сказал, что наоборот стыдится своего поступка, что он даже не знал, как теперь начать разговор.

— Давай закидаем её кирпичами с балкона, — предложил я искренне. — Она всё равно стоит сейчас на автобусной остановке. Ждёт экспресс на Черёмушки.

— Мне лучше помириться с Пархоменко, — сказал он. — Сейчас ещё не очень поздно. Позвоню, назначу встречу. Как думаешь, она придёт?

Я пожал плечами и пошел покурить на балкон. Эта новая его

идея не нравилась мне пуще прежней. Их роман длился уже лет пять, проходил очень неровно, к тому же у меня самого с этой Пархоменко тоже плелись некие интимные пашни — и хотя они плелись по её инициативе, участвовать в чужих разборках мне не хотелось. Грабор вернулся в приподнятом настроении:

— Ехать к тебе она не хочет. Мы встречаемся в кафе «Прага» через пятнадцать минут. Явка всех участников обязательна.

Сходить в кафе Грабор уговорил меня легко, показав несколько денежных знаков ярко красного цвета. Надо же, подумал я, какой бережливый... «Прага», единственный в городе частный ресторан работал часов до трёх ночи, после «кровавой Мэри» мы с удовольствием переменили обстановку. Верочка уже сидела там, в одиночестве, за китайской ширмой, и смотрела на пламя свечи. Остальные посетители были деревянными, то есть сделанными из каких-то дорогих пород дерева местным кудесником. В цивильной одежде, с приклеенными на деревянные черепа париками, они на первый взгляд мало отличались от людей и призваны были шокировать случайных посетителей своими движениями и репликами. Знакомый вахтёр молча кивнул головой в сторону нашей подруги. Грабор усадил меня рядом с ней и даже специально для этого отодвинул стул. Сам сел напротив. Мы расслаблено помолчали, улыбаясь друг другу в сигаретном дыму. Я решил нарушить молчание.

— Верочка, я решил вас помирить. Он сходит с ума. Без тебя я не могу с ним справиться. Скоро он начнёт бросаться на публичных девок.Пусти его обратно в лоно семьи.

Она понимающе сжала губы и посмотрела на меня с вызовом, даже с испугом. Она была такая правильная девочка, носила юбку с жакетом, атласные блузки с кружевным воротником... Она занималась общественной работой, метила закончить университет с красным дипломом. То, что она дружила с нами, говорило о широте её интересов и ещё, может быть, о том, что сердцу не прикажешь. Я ужасно боялся её любви, — уязвлённость и возможная месть Грабора меня не пугали. В конце концов, именно я их когда-то познакомил, всегда был её участливым конфиденнтом, и если она приходила ко мне во времена их частых размолвок, то ведь приходила не ради приключения, а ради любви. Есть ужасные русские пословицы на этот счёт, но я их в тот момент не смог припомнить.

— Я его о себя не отлучала, — сказала она, недоверчиво вздохнув. — Вполне научилась обходиться одна. Решила заняться самообразованием, много читаю. Это у вас с Грабором какие-то тайны. Про вас ходят слухи... Надеюсь, вы не переменили сексуальную ориентацию. Или я слишком хорошо о вас думаю?

Грабор совсем не слушал её, иначе бы обязательно пошутил на эту тему. С неожиданной серьёзностью он произнёс:

— Вера, мне сейчас не до шуток. Пусть это так обыденно... обыкновенно... В общем, это... Выходи за меня замуж. Я делаю тебе предложение. При свидетелях. Зачем тебе журавль в небе?

Деревянный человек в одежде бравого солдата Швейка пробудился от медитации и, повернувшись к нам, развязно спросил: «в каком полку служили?». Его словарный запас был всем известен, но внезапность сделала своё дело: все трое коротко рассмеялись. Верочка зарделась, ямки на её щечках стали ещё отчётливее. Она окинула нас, увлажнившимися, счастливыми, как показалось мне, глазами.

— Ну конечно. С удовольствием. Неужели к этому нужно было готовиться целых пять лет? — Она снисходительно посмотрела на меня и добавила: — будешь нашим свидетелем.

— Пригласите этого дуболома.

Верочка допила свой кофейный напиток и как-то невежливо скоро начала собираться: попросила счёт и расплатилась за себя сама. Потом попросила официанта заказать ей такси, ни в какую не позволяя Грабору проводить её до дома. Я подумал, что у неё поехала крыша от счастья, и уговорил Грабора остаться вместе со мной. Он проводил её до раздевалки, помог надеть пальто, вышел на улицу и усадил в автомобиль, сделав вид, что запомнил его номер. Вернулся он тюфяк-тюфяком, сел напротив; сказал, что это дело надо обмыть. Выяснить, насколько сегодняшняя акция запланирована, я не хотел. Это могло что-нибудь значить, могло не значить ничего. Я тоже звонил один раз по всему Союзу и предлагал руку и сердце различным барышням. Поутру боялся, что кто-нибудь придет. Никто не приехал. Разве что Грабор перетащил ко мне свои вещи.

Мы сидели в полумраке кооперативного заведения с ещё не выветрившимся запахом общепита, пили нелегальную чачу, иногда поглядывая в окно за ходом осенней ночи. По причине Граборовской помолвки нас согласились оставить здесь до утра, если мы будем соблюдать общественный порядок. В обществе деревянных истуканов делать это было нетрудно. На улице было холодно, пусто, лишь иногда мимо окон проشمывали торопящиеся куда-то женщины. Поначалу мы не придавали этому значения, с удовольствием перебирая детали прошедшего вечера. Я в очередной раз возмущался поступком Сашука, вяло журил Грабора за соблазнение и кражу. Он отмахивался и мечтательно курил, строя планы на новую жизнь. Мы поняли, что снаружи происходит что-то необычное только тогда, когда одна из проходящих мимо женщин,

вдруг прильнула к витринному стеклу нашего кафе лицом и ладонями, и мы увидели в её глазах сомнамбулический, ничего не видящий, отблеск. Она была немолода, в расстегнутой цигейковой шубке с фиолетовым шарфиком, аккуратно прибранная прическа со сверкающей диадемой говорила о том, что она возвращается из театра. Театралка продержалась на стекле в виде распятия минуты две и потом, с трудом от него оторвавшись, пошла в сторону центра, нервно отряхивая со своей одежды какой-то невидимый сор. Мы переглянулись и вышли на улицу, оставив на столе несколько новеньких червонцев.

Холодный ветер сбивал нас с ног, чувствовалось приближение зимы. Мы заметили, что женщина успела перейти на другую сторону улицы и теперь поравнялась с другой, чем-то похожей на неё, такой же целеустремлённой и одурманенной. Я вспомнил, что слышал что-то о магнетическом действии луны в конце её второй фазы, поднял к небу глаза, но оно было тёмным, мутным, без звёзд. Мы пошли с Грабором по своей части тротуара, следя глазами за сгорбленными лунатичками. Они действительно принимали положения каких-то пешеходных птиц и несли свои тела практически параллельно земле, быстро переставляя ноги в сапогах на невысоком каблуке. Угнаться за ними было не просто, мы прибавили шаг. Меня уже мучила одышка, Грабор тоже дошвырнул свою сигарету. На разговоры времени не было, мы делали подозрительные физиономии, жадно нюхали воздух. Любопытство разбирало нас, мы уже не могли остановиться. Я крикнул на всю улицу, «который час», но ветер отнёс мой вопрос на другой конец света.

Дойдя до главного городского проспекта, мы вместе с сумасшедшими тётками повернули налево. На Ленинском царило ещё большее бессловесное оживление. Женщины самого разного возраста; в лучших своих нарядах, в одиночку, по двое, по трое, группами двигались в одном, кем-то заданном, направлении и, поддерживая равномерную скученность, сворачивали к реке. Я предположил, что мы являемся свидетелями сбора какой-то исполинской секты, сбора ведьм марширующих на гору Броккен в Вальпургиеву ночь, но Грабор сказал, что шабаш обычно происходит весной, в ночь на первое мая.

— Исход по путёвке профсоюза, — невзрачно пошутил он, когда мы затесались в их ряды, — раздвоение народов. Они решили оставить нас без наслаждений и потомства.

Сновидицы не слышали его речи, грациозно обтекая нас по бокам, не прикасаясь к нашим чужеродным телам. Удивительно, что мы вообще как-то соприкасаемся друг с другом на этом жизненном

пути, подумал я. Собаки живут стаями, они коллективные животные, наиболее приспособленные к условиям социализма; а вот кошки сохраняют семейные отношения на очень короткие сроки и предпочитают индивидуальный стиль. Разница в стиле может привести к катастрофе. Оторвавшись от своих параллельных мыслей, я посмотрел на Грабора и увидел его взволнованное лицо. В толпах лунатических менад он искал то ли Пархоменко, то ли свою родную маму. У меня таких привязанностей в этом городе не было, я чувствовал себя спокойнее. Я размышлял, как в этом случае поступят менты. В происходящем можно было видеть и политическую, и религиозную, и сексуальную подоплёку. Нашим глазам представилось очевидное несанкционированное шествие, бабий бунт. Непонятно только против кого и во славу чего этот бунт направлен. Если забыть сейчас ужас той осенней ночи, я могу сказать только две вещи. Женское движение характеризовалось:

1. направлением (они шли на другой берег реки, через мост)

2. положением туловищ (все участницы принимали «г-образную» позу, наклонив корпус вперёд параллельно асфальту, имитируя при этом походку нелетающей новозеландской птицы киви. Эту птицу часто показывают в передаче про животных, откуда они и могли её походку перенять).

Другой вопрос, который мучит меня по сей день: откуда они пришли, и куда направлялись. Сначала нам показалось, что перед нами жительницы нашего города, и мы поразились их многочисленности, но сколько бы мы не всматривались в их лица, никого из знакомых не встретили. Лишь один раз мне показалось, что я заметил в согбенном потоке зловеще очерченный профиль одной пожилой дамы, моей бывшей учительницы. Рыжая, взъерошенная, она с постоянной обидой повторяла какую-то несусразицу про Грабора и когда особенно хотела его задеть, говорила, что он — генеральский внук и жрёт дома сухие колбаски из конины. Её звали Людмила Петровна Пристром, она всегда одевалась во фланелевую белую рубашку в цветочек с розовым перламутровым слоником на груди. Однажды Граборова бабка явилась к нам в школу и пожаловалась, что старшеклассники отбирают у её внука мелочь, которую она даёт ему на завтрак. После этого Пристром забыла о конских колбасках и стала говорить, что смотрит теперь на жизнь через призму бабушки Граборенко. Сам Грабор её не узнал и я, скорее всего, ошибся — женщины, повстречавшиеся нам в ночь с 9-го на 10-ое октября 1984-го года, принадлежали другому городу, иному миру.

Мы проводили глазами процессию, шелестящую на ветру, вдохнули смрадный дым факелов и керосиновых ламп, с пристра-

ствием посмотрели себе под ноги. Домой мы возвращались на рас свете. Увиденное вселяло в нас леденящий ужас и комическую бо гобоязненность. Говорить друг с другом мы до сих пор не реша лись, и нам было необходимо загрузить страхом какого-нибудь не зависимого собеседника. На помойке, у трансформаторной будки, стоящей неподалёку от моего дома, нам удалось поймать хоро шенькую, удивительно миниатюрную кошку, которую я принёс, завернув в свой плащ, и впустил в квартиру первой, словно на но воселье. Мы помыли её в ванной самым дорогим шампунем, при чесали массажной щеткой, оставленной моей матушкой, обрызга ли лосьоном после бритья. Мы положили новую любовницу в по стель, обсыпав её золотинками от новогодней ёлки. Она недовер чиво принимала наши ухаживания, но радовалась теплу, потяги валась, сладко зевала и в конце концов замурлыкала. Грабор по шел варить ей кофе, облачившись в стеганный халат и шлёпки с загнутыми носами: он был умилителен в своём джентльменском порыве. Где-то в это время и позвонил Сашук. Он извинялся за вчерашнее и говорил, что когда вышел из ресторана на берег реки, за ним погналась то ли волчья, то ли собачья дикая стая, и он был вынужден спастись бегством. Причин не верить ему у меня не было, я пожалел его и сказал, что собаки, к сожалению, животные коллективные, и мы должны остерегаться всего общественного, если хотим сохранить себя такими, какие есть.

МОЙ ПЕРВЫЙ ШМАЙСЕР

Филлипу Я. Загулову

Мы охотились за биноклями, складными ножиками и ракетни цами. В лесу было много другого оружия, но нам нравились толь ко такие предметы. Был яркий весенний день в потёках тающего снега, когда я нашел пару битюгов, гигантских тяжеловозов с ко пытами больше, чем моя голова. Они проступали из-под тающей снеговой жижи, мешая в ней свою истлевающую гадость. На их предсмертных улыбках виделось, что они получили свою смерть мгновенно: они ещё куда-то шли, даже в своем последнем снови де нии. Они упали на бок, чтобы уснуть, хотя я слышал, что лошади любят спать стоя. Шкура на рёбрах ближайшего из коней уже про рвалась и выставила наружу тёмную требуху внутренностей. Мне казалось, что они шевелятся. Я увидел в них рабочий механизм, который подозревал в себе самом. Меня стошнило, и я выбрался обратно на дорогу, — колонна военных грузовиков прошла мимо меня в своём размеренном порыве. Их колёса бросали ошмётки

грязного снега на чистую белую обочину; они меня не замечали, а если бы и заметили, то всего бы улыбнулись. Председатель Ксенофонтов маячил на горе в образе всадника, отдавая приказания женщинам в невзрачных одеждах: они должны были идти на Яшкин хутор закапывать мёртвых. Воронок для этих целей было больше, чем надо. Он призывал отделять немцев от русских, офицеров — от солдат, хотя на немцев последнее не распространялось. Враги и так уже были отделены по линии обороны, и если кто-нибудь смешался в рукопашной схватке, то был не одинок: рядом со своим противником он казался его любовником. В лесу постоянно приходилось наступать на мёртвых. Я знал, что обычно находится в их карманах — ничего хорошего — в лучшем случае карманные часы и фотографии. Я помню фотографию немецкой девочки, сидящей на каменном слоне. Снимки такого сорта меня мало интересовали. Я слышал, что у фашистов бывают специальные фотографии с движущимся изображением. Такую фотографию можно было рассматривать в течение нескольких минут, словно кинофильм. Я видел пару снимков: на одном со скалистой горы низвергался водопад — можно было видеть, как вода с разгону приближается к обрыву, завихряется и пенится, словно в испуге и потом летит в пропасть с тоненькой полоски реки на дно ущелья, рассыпаясь на радужные брызги. На другом снимке просто ходил по комнате какой-то человек в серой шляпе. Посередине комнаты стоял стол, на столе стоял чайник, возле которого лежал букет полевых цветов. Человек ходил по комнате взад и вперёд и один раз подходил к столу, чтобы немного побарабанить пальцами по столешнице. После этого он уходил за дверь. Потом всё начиналось сначала. Живая фотография с водопадом мне нравилась больше. Я расстраивался, что леса скоро очистят от вражеской скверны и техники — в них станет пусто и совсем не интересно. Мне нравилось обилие трупов в наших краях, — хоть чего-то у нас было много. Изобилие, в чём бы оно ни проявлялось, всегда лучше нищеты.

Ксенофонтов призывал баб на свою смердящую продрозвёрстку, — они вместе с моей матерью ходили рыть ямы, и вечером отчитывалась перед ним, чтобы он поставил палочку в своей тетради. Я молил мать найти хотя бы одну подвижную фотографию, пусть даже со скучным мужиком, но она говорила, что это запрещено. Ксенофонтов увидел меня и погнал лошадь, чтобы поговорить. Я спрятался за пень, но старик быстро нашел меня, потому что у меня ещё не хватало опыта партизанских действий.

— Ты скоро отсюда уедешь, — закричал он, не внемля моим детским протестам. — Вы все нарушаете приказ Центрального Комитета.

Я не понял, о чём он говорит, и пошел обратно в лес, к конягам. От них воняло так, что задохнёшься. Я пожалел, что не взял с собою противогаз. У меня был склад оружия и боеприпасов, а противогозов у меня было штук пять. В тот день я не знал, что противогаз мне может пригодиться. Никогда не знаешь, что тебе попадётся. Я начал подходить к мертвому тяжеловозу со стороны дороги, но тлетворный запах сбил меня с ног. Тогда я намочил в ручье немецкий платок и приложил его к лицу. Я понял, откуда дует ветер. Я переменял направление своего движения. Я полз. Я добрался до коня, чтобы снять сбрую. Желтые ремни с красивыми медными бляхами, — я полюбил эту вещь. Фашисты знали толк в сбруях и упряжи — я догадывался, что эти вещи могут мне пригодиться в новой мирной жизни. Я не очень представлял, зачем мне это надо, но был уверен, что этот предмет будет мне необходим, когда снег сойдёт и Ксенофонтов зароет все трупы, разбросанные по нашей земле. Я уже стоял с немецкой сбруей на плече, когда увидел, как старика несёт по горе вниз его лошадка. Однорукий, он эквилибрировал винтовкой, которая всё равно не стреляла. За ним весёлым шагом гнался медведь. Медведь может бежать быстрее лошади. Он один из самых быстрых зверей в наших местах. Я следил за тем, как стремительно сокращается расстояние между ними. Старик был бледен под своей бородой, у лошади подкашивались ноги. Медведь догнал их и, захватив лошадь за заднюю ногу, повалил её; председатель хлопнулся наземь своим усталым телом, продолжая тыкать в морду зверя стволом своего пустозвонного оружия. Встретились мы с ним уже в овраге. Я тоже трясся от страха.

— Он живёт в бане, — сказал он, недолго думая. — Тебе пора уезжать в детский дом. Почему он живёт в моей бане? Я тоже хочу помыться. Бабы кругом. Я при исполнении. Я отвечаю за тебя своей головой.

Мы лежали под землей. Мы ругались. Я помню морду этого медведя, его глаза, а главное — дыхание. Как он нас нюхал. Как ему было на нас наплевать. Лес был полон медвежьей пищи, мы с Ксенофонтом были мелкой тварью, которую нужно убить, перед тем как съесть. Он нас не тронул. Он пожирал моих лошадей со спокойной жадностью; я был рад, что успел снять упряжь. У него был обосранный хвост, у медведей такая мода. Я глазел круглыми глазами на эту его жратву, я ему завидовал. Я всегда хотел жрать. Я был поражен, что медведь может жрать такую мерзость. Рядом с нами лежало три скелета в немецкой форме и касках. Три медведя, закончившие свой бой, привязанные за ногу цепями. Пулемётчики, ещё недавно они были вполне съедобны. Они были героями-

смертниками, и сами попросили приковать их к этой яме в нашей земле. Если бы кто-нибудь из них струсил, то остальные расстреляли бы его на месте. Наверное, им зашили иконы в шинели — почему они умерли, когда у них иконы? Я дополз до пулемёта, дал очередь в воздух. Раскатистая ругань огласила берёзы, дубы и всё, что ещё возвышалось над нами. Медведь даже не вздрогнул, а только углубился своей мордой в брюхо тяжеловоза. Я помню, что это был светлый день, день таяния, упадания, западания. Мы стреляли с председателем в остальной мир, он пытался меня обнять — сволочь. Он думал, что я испугался больше, чем он сам. Он повернулся, отшвырнув ворох снега обшлагом расстегнутого полушубка.

— Теперь медведь нас запомнит, — сказал он и сделал умные глаза.

— Ну и пусть запоминает, — ответил я. — Мы его тоже запомним.

Мне казалось, что я вселяю этими словами бодрость в себя и в председателя Ксенофонтова. Больше всего я боялся троих цепных мертвецов. Если бы они запомнили меня, мне, очевидно, пришлось бы гораздо хуже. Почему человек без мяса и кожи становится таким злым? Мы осмелились проверить их карманы, но ничего в них не нашли. Ксенофонтов улучил момент и поплёлся к своей покалеченной лошади. Её ещё можно было вылечить, если найти подходящие медикаменты. Вскоре он исчез из виду. Думаю, что инвалид искал в лесу красный фосфор, выдалбливая его стамеской из стрелянных полуметровых снарядов. От красного фосфора хорошо зажигались спички, стоило лишь хорошенько натереть им ремень. Я выполнял эту работу лучше старика, у меня было больше сноровки. Я чувствовал своё превосходство над ним, но никогда этого не показывал, чтобы не навлечь на себя его обиду. И вообще о нахождении боеприпасов мы знали больше, чем он.

Когда я остался один, то вообще перестал обращать внимание на этого обосранного медведя. Он настолько увлёкся трупятиной, что мог не отходить от неё несколько суток. Странно, что он запал именно на оттаявшую конину, в лесу было много более нежной пищи. Я вылез из оврага, прошел по снеговому насту метров двести в сторону поля, с трудом вытащил из-под древесных корней противотанковую мину и поставил её на попа, прислонив к стволу. Потом вернулся к пулемёту и начал прицельный огонь по минному взрывателю одиночными выстрелами. Из пулемёта попасть было труднее, из винтовки я бы сделал это с лёгкостью. В конце концов, я разозлился и начал лупить по ней очередями, до тех

пор, пока случайная пуля всё-таки не налетела на капсулю. Само-го взрыва я не увидел, потому что тут же зарылся головой в глину, словно предчувствуя, что он вот-вот произойдёт. Когда поднялся из укрытия, над опушкой клубилась грязная снеговая пыль, дерево было рассечено вдоль, словно топором при колке дров. Я удивился полученному результату и уже засобиравшись в посёлок рассказать о своём эксперименте товарищам, обернулся на прощанье и увидел, что трое обглоданных убийц изменили свои положения, придвинулись ближе друг к другу, насколько это могли позволить их цепи, и смотрели теперь на меня с нескрываемым одобрением — хоть глазницы их были черны и продуваемы ветром, иначе их взгляд не назовёшь. Домой я бежал, не оборачиваясь. Никому потом об этом не рассказывал — боялся, что засмеют.

В детском доме немцы отсасывали у нас кровь для нужд раненых людей и животных. Мы гордились, что своей кровью можем спасти взрослых людей, настоящих солдат. Они отсасывали у нас кровь ночью, когда мы спали. Хотя никто не помнил об этом, я уверен в том, что это правда, потому что видел на подушке одного из воспитанников кровавые пятна. Взамен они кормили нас куриными яйцами. Мы не понимали, о чём они говорят, но были довольны пищей: яйца были большие, деревенские, с яркими оранжевыми желтками внутри. Нам давали по одному яйцу в день. Остальное время мы могли заниматься чем угодно. Не знаю как остальные, но мы с Пенхасиком готовились к поездке в жаркие страны. Мы уже умели перемещаться на крышах вагонов, записываться в туалете, кататься на трамвайных прицепах. Мы всегда хотели жрать, и поэтому умели добывать деньги. Я сдавал радиатор от танка одному еврейскому старикану четыре раза. Я привозил его на саночках: радиатор был большой, тяжелый, медный, и весил килограмм восемьдесят. У старьёвщика была халупа из ящичков, кое-где прикрытая жестью, кое-где тряпьем. Он заводил меня внутрь, давал деньги, и пока возился с какими-то бумажками, я на тех же санках увозил свою медь домой. Если бы он остановил меня, мы бы облили его хижину керосином и сожгли бы к чертовой матери. Он знал об этом и прикидывался рассеянным. Сдавать стеклопосуду было выгоднее. В павильонах пустая бутылка стоила три рубля, а сам лимонад — один. Мы платили только за лимонад. С латышами ладить было легко, потому что у них была другая культура. В ранец входило ровно шесть штук пустых бутылок. Ранец был очень полезен и тогда, когда латыши начинали нас бить. Стоило нагнуться, и все удары приходились по плотному покрытию из свиной кожи. Один раз нас всё-таки поймали и отхлестали пастушьей плёткой. Тогда мы решили приостановить на

время бутылочный бизнес. Времени всё равно не существовало, и мы были зачарованы этим безвременьем. Если я вспоминал что-нибудь, то мне казалось, что я сейчас же могу туда вернуться. Трупов вокруг нашей деревни было так много, что я не мог себе представить, что люди когда-нибудь их уберут. Я считал, что достаточно закрыться в туалете проходящего поезда, выкрикивая иногда на стук кондуктора «занято до НовоСокольников» и через два часа очутиться в том же овраге, где три медведя ждут от меня новостей, прикованные цепями. У латышей другая культура, поэтому многие из них предпочитали скрываться в лесу, словно медведи. То, что латыши и немцы могут быть на самом деле медведями, бегающими быстрее самой быстрой лошади, приходило мне в голову довольно часто, но я не осмеливался поделиться своими опасениями с Пенхасиком, потому что не знал толком его национальности.

Я помню день, который переменял нашу жизнь к лучшему. Недалеко от детского дома, на углу Гамбургес и Стокгольмес, мы нашли полузасыпанную траншею — здешний Ксенофонт велел сравнять с землёю и её, но его приказание было выполнено спустя рукава. Зачем-то он велел завалить землёю целый склад больших черных бутылок, похожих на бутылки из-под шампанского, но весенний паводок осадил грунт, обнажив блестящие на солнце бока некоторых из них. Мы начали раскопки с тщательностью археологов и к вечеру принесли в газированный павильон три рюкзака первоклассной стеклотары. Латышская женщина недоверчиво приподняла бутылку за горлышко и вдруг расхохоталась болезненным смехом, сквозь который сквозила злость. Бутылки ей нравились, но она не могла принять их из-за того, что на каждой из них был отпечатан ширококрылый фашистский орёл, сжимающий лапами венки со свастикой. Она сказала, что должна донести на нас коменданту города. Она подошла к телефону, набрала номер и быстро-быстро защебетала по-своему, чтобы мы не поняли, о чём она говорит. Мы не дрогнули. Мы расхохотались ей в ответ, а Борька для пущей важности с грохотом выставил одну из бутылок на прилавок в качестве подарка. Нечего сосать нашу кровь, сказал он. Одним яйцом в день вы от нас не отделаетесь! Оставив её в недоумении, мы вернулись домой, и принялись счищать немецких орлов с помощью наждачной бумаги и кирпичей. Дело шло из рук вон плохо, пока мы не изготовили из ножа сенокосилки вполне приличный наждак: сточили зубчики, укрепили колесо на оси между двух плотных досок... Один крутил ручку от мясорубки, другой изнашивал на нет арийский символ. Мы быстро наладили производство, разрабатывая нашу золотоносную жилу

с похвальным терпением, в обстановке полной секретности. Полученные деньги я сворачивал в трубочку и хранил внутри полой ножки своей кровати; Пенхасик прятал выручку где-то на топливном складе, там, где лежали какие-то коричневые брикеты. Мы готовились к побегу, много мечтали по вечерам о жарких странах, решили бросить курить для экономии.

Удивительно, как много шампанского употребляли немцы во время боя: в общей сложности мы перетаскали на пункт приёма около грузовика пустой стеклопосуды. Запасы постепенно начали истощаться, но в тот день, когда я вырвал из-под куска слежавшейся мешковины последнюю бутылку, перед нами открылся лаз в подземное помещение. Траншея была вырыта углом вдоль двух пересекающихся улиц, и в вершине этого угла располагался бетонный блиндаж для командного состава. Мы заползли в него и обнаружили нетронутую всю его материальную часть. Свернутые карты, планшеты, морской перископ, стол и стулья. Самое главное, что на этом столе я нашел новенький, ещё в масле, завернутый в пергаментную бумагу «шмайсер», складной автомат с отцепляющимся прикладом, очень удобный для детского пользования. Мы рассекретили наше открытие для остальных воспитанников, бутылок там всё равно больше не было. Мы стали играть в штаб, нарыли новых нор, провели специальную трубу для связи с солдатской траншеей. Мы сидели с Пенхасиком в блиндаже и отдавали остальным ребятам команды властными офицерскими голосами. «Стреляйте» — кричали мы по очереди в связную трубу. «А теперь не стреляйте!» «Прекратить огонь», — подсказывал мне Борька. «В атаку!» — кричал я, когда не мог придумать ничего получше. «Бронебойным», — добавлял Пенхасик. К автомату прилагалось несколько рожков с патронами, мы уходили в лес на стрельбища — каждому хотелось дать очередь. Стреляли на меткость, однажды я саданул из автомата по небольшому озерцу у высыхающей Даугавы и убил рыбу, довольно крупную плотвицу. Тогда мы организовали рыбацкую артель, сделали плот из трёх брёвен, склоченных перегородками. Выходили на лов ночью, обычно человек семь. Двое держали шесты с горящими на верхушках мазутными тряпками, кто-то рулил обломком весла, я глушил рыбу из шмайсера, остальные собирали её в мешок. Попадались в основном щуки и налимы. В детском доме никто не спрашивал о природе нашего промысла, потому что мы угощали рыбу персонал и даже директора. Нам, как и прежде давали по одному яйцу в день. Во дворе у нас выращивалась свекла для производства сахара, каждый был должен собрать по три литра брусники, чтобы в будущем получить свою порцию варенья в манную кашу. Автомат я прятал под матра-

сом своей кровати, и никто из детей не смел к нему прикоснуться. Возможно, я уже имел некоторый авторитет. Директор Кузнецов пытался выследить меня, но я чувствовал опасность кожей, и всегда вовремя его перепрыгивал. В то время я совершенно не был увлечён фактом собственной смертности. Её случайность казалась мне невозможной — я был уверен, что смерть растёт в нас вместе с нами, может быть, наперегонки с жизнью. Поэтому её нужно постоянно обгонять, занимаясь разными выгодными для жизни делами. Солдаты на войне умирают, из-за того, что им больше не позволили играть в эти догоняшки. Поэтому на военные склады за патронами я уходил без малейшего страха, ведь я делал то, что полезно для моей собственной жизни.

Склады находились за городом. Они были обнесены колючей проволокой и десятиметровым рвом, наполненным водой, на вышках стояли часовые, но днём, на солнце, они обычно теряли свою бдительность. Я надевал противогаз, высовывая наружу его трубку, поднятую на палке, и шел под водой до другого берега. Потом нужно было чуть проползти до места стоянки полевых кухонь, и дальше я был неуязвим для глаз охранников. Склады техники тянулись на несколько километров. Там я мог делать, что захочу. Крутить башни танков, прицеливаться из зениток. Я стрелял по пролетающим самолётам, и если мне удавалось сбить хоть один, сладострастно расстреливал парашютиста, зависающего над полем. Если бы там росло что-нибудь съедобное, я согласился бы вообще там жить. Я приносил горы патронов, завернутых в рубаху. Все радовались, когда я возвращался с добычей. Странно, что у меня никогда не было ни врагов, ни завистников.

Это случилось незадолго до каких-то праздников: я помню это точно, потому что вскоре после смерти Пенхасика над городом зажигали римскую цифру тридцать, сделав её перекрёстным светом прожекторов. У нас уже была лодка, хорошая ничейная плоскодонка, которую мы перетаскивали от одной старицы к другой, пытаясь полностью очистить их от рыбы. Я по привычке проходил по поверхности воды короткими очередями, всматриваясь в искривления волн, когда из ельника возле недостроенной мельницы слышалась встречная пальба. К лесным братьям мы уже давно привыкли, — они не обращали на нас внимания, разве что иногда отбирали излишки боеприпасов. Я бы узнал по голосам звуки их оружия. Пенхасик тоже насторожился и сказал, что, может быть, началась новая война. Однако выстрелы с мельницы стихли, мы тоже решили больше не шуметь и походили немного по небольшой курье с бреднем. Тут то он и ударил. В самую мотню нашего невода. Он вырвал его из наших несильных рук и утащил на дно

в качестве трофея. Ошалевшие, мы растерянно смотрели на свои окровавленные ладони. Курья была маленькой, умирающей, цветущей, пятьдесят метров в длину и четыре метра в ширину. Мы отчаянно гадали, с каким явлением природы нам пришлось столкнуться. Это была фашистская портативная подводная лодка. Мы вбили палку с догорающей тряпкой на берегу лужи и, тревожно переговариваясь, вернулись в детский дом с пустыми руками. Только здесь я заметил, что Пенхасика с нами нет. Я прождал его до самого утра, не смыкая глаз. Я думал, что он решил выследить подводное чудовище в одиночку. Когда он не появился и через неделю, я догадался, что он смотался и без меня в эти самые жаркие страны.

Его нашли в курье, где мы рыбачили последний раз. Он был абсолютно голый, посиневший и раздувшийся, кожа слезила перчатками с его рук. Какие-то садисты обобразили его лицо так, что узнать в нём Пенхасика было невозможно. Но это был он, потому что никаких других детей в этих местах не бывает. Нас построили на линейку, и директор Кузнецов сообщил, что Борис Пенхасик героически погиб от пуль латышских националистов, что скоро этому будет положен конец. Нашу лодку увезли куда-то на трофейном грузовике, рыбалку навсегда запретили. Я понимал, что Кузнецов рыщет сейчас по всему детскому дому в поисках моего «шмайсера», и перепрыгнул его за пределами территории, в ложбину под вросшей в землю ржавой железной бочкой. Я знал, что латыши здесь ни при чём. Три медвежьих скелета в немецких касках громыхали проржавленными цепями в моих снах, председатель Ксенофонов направлял на меня своё бутафорское ружье, предупреждая о последнем постановлении Центрального Комитета, приёмщица стеклопосуды требовала вернуть обратно деньги за вражеские бутылки. Я надеялся, что Пенхасик удрал в жаркие страны, подбросив двойника-утопленника, чтобы замести следы. Я верил в его творческую жуликоватость. Я часто бродил вокруг недостроенной мельницы, надеясь найти стреляные гильзы. Спрашивал у местных про партизан, но узнать ничего нового не смог.

Однажды днём, в необыкновенно жаркую погоду, я шлялся среди умирающих стариц Даугавы, пришел к месту нашей последней рыбалки, сел покурить в траве, вспоминая счастливые, героические времена. Старица ещё сильнее уменьшилась в своих размерах и составляла теперь в длину всего метров тридцать пять: я не согласился бы даже купаться в этом лягушатнике. С одного края она была совсем мелководна и белёсо просвечивала песочком, неуклонно идя под откос в направлении несуществующего

более течения. Другой её конец был совсем тёмным, мутным и заболоченным. Над ним нависали большие сорные кусты то ли ольхи, то ли ракиты, полностью закрывая заводь от солнечного света. Однако этого ублюдка я увидел не там. Он лежал на самой середине маленького озера, выставив на солнце своё грязно-желтоватое брюхо, испещрённое синими крапинками, пиявками, прудовиками и загорал, пошевеливая желтыми глистообразными усами. Росту в нём было метра три. Как в немце. Я смотрел на него, на этого валяжного трупоеда, и чувствовал, как приступ непреодолимой ненависти сковывает мои скулы. Я понимал, что ничего не могу сейчас сделать с ним, с этим большеротым подонком, убившим моего лучшего друга и сожравшим его лицо, чтобы никто не смог поцеловать его на прощанье. Я не бросил в него камнем, не плюнул в его сторону — его участь была теперь предрешена. Из-за этого склизкого недохотворенного бревна Пенхасик никогда не увидит ни жарких стран, ни волшебных фашистских фотографий со скользящими водопадами — я чувствовал то же самое, что, наверное, чувствует на войне солдат — стальное опустошение непоколебимой мести. Я вернулся в город, раскопал свой автомат, завернул его в тряпку вместе с охапкой патронов. Я не пошел на ужин, но когда прибежал назад, уже стемнело. Поднялся ветер, чувствовалась надвигающаяся гроза. Я натаскал камней и сделал что-то наподобие укрепления на берегу, где залёг в ожидание предстоящего боя. Ветер становился всё сильнее, после нескольких ударов грома пошел проливной дождь, озаряющийся через каждые десять секунд вспышками молний. Я накрылся своим мешком и продолжал лежать в своём укрытии, уверенный, что убийца поднимется посмотреть мне в глаза. В станице действительно затевалась какая-то фантастическая возня. Я слышал подводные крики и скрежеты, озеро начало ходить ходуном, иногда выплёскивая волну, никак не связанную с напором ветра. Я вдумчиво открыл стрельбу по этим тёмным завихрениям. Мне казалось, что несколько раз я видел его чемоданообразную морду, поднывавшую из воды в мерзкой слюнявой улыбке. Сом поворачивался на бок, бил по воде своим плоским хвостом, совершенно бесцельно мечась в своей глухой ловушке как в водяном саркофаге. Я вошел в раж и расстреливал рожок за рожком, словно забывая с кем виду свою битву — с гигантской рыбой или с самой грозой. Пальцы мои одеревенели от холода и злости, на лице застыла маска смертника. В какой-то миг я, совсем отчаявшись, пошел на него в атаку и пробежал по мелководью до середины кури, не сняв ни одежды, ни обуви. Я стоял по пояс в холодной воде, свирепо всматривался в колыхание волн под полной луной, даже

не утруждая себя стряхнуть с лица дождевую сырость. Он хохотал надо мною, издевался, показываясь, то здесь, то там, и потом уходил в глубину, где становился совершенно неуязвим для моего шквального огня. Совсем обессиленный я вернулся в своё убежище, под мешковину, полагая, что на рассвете он всё равно всплывёт от полученных ранений или хотя бы выйдет на разведку.

Кузнецов со товарищи так меня и нашли, уже утром, и, хотя я спал, завернувшись в свою тряпку, не осмеливались подойти ко мне, увидев россыпи расстрелянных гильз, валявшихся вокруг по берегу. Я не обратил на них внимания, когда проснулся. Я сразу передёрнул затвор и маниакально уставился в рябь озера. Они окрикнули меня, но я тут же дал очередь поверх их голов. Они поняли, что происходит, и поспешили удалиться. Я сосчитал оставшиеся патроны и пожалел, что истратил вчера так много. Они вернулись часа через два, с баграми и сетью, шире моего водоёма. Мы не разговаривали друг с другом. Каждый выполнял свою задачу. Яма оказалась глубокой, багор не доставал до его дна. Тогда они перетянули курью сеткой, долго мучили воду своими палками, кричали и топали сапогами в офицерских сапогах, пока этот мутант, наконец, не запутался, хоть и продрал бесформенную дыру в самой середине сети. Я стрелял ему в голову, пытаюсь превратить в отвратительную кашу его плоский лоб со злыми глазками по краям, эту щегольскую гусарскую растительность на верхней губе и подбородке, я хотел, чтобы он почувствовал то же самое, что когда-то почувствовал Пенхасик. Люди и животные в своей смерти равны, умерший человек равнозначен умершему животному и наоборот. Я понял это, но легче мне от этого не стало. Рыбина оказалась два с половиной метра в длину, вся усеянная пробоинами моих выстрелов, её живучести было можно удивляться. В детский дом её несли четыре мужика, продев на две толстые жерди — хвост всё равно волочился по земле. Его мяса, наверное, должно было хватить на месяц для всех нас, но я решил, что есть его не буду, хотя постоянно хотел жрать. Я почему-то вспомнил историю про нашего кота Клауса, который дружил с поросёнком Борькой, а когда того зарезали, нажрался его мяса и тут же сдох.

Дмитрий Голынкин-Вольфсон

ФАВН И НЕКИЕ

Фавн и нежный

если фавн — женщина, знающая
живая привязанность, глубинное чувство
душевная близь, tutti frutti
втемяшится, пыжится, пырхает
и никнет в полное оледененье
вакханка обмахивается тирсом
при перезагрузке скрипты полетели
нежный высвобождается от поножей
в житницу сыплется

Фавн и некоторый

фавн — образец декупажа, фигура
разума, косточка малларме
отсебятина, заграбастанное нечто
фавн — женщина в возрасте
взысканья мерзотного, часика счастья
пронырой и шмукозой она шарит
где-то вне, границ не покладая
повинуясь внутреннему трезвону
некоторый — ее неразумье

Фавн и неприкасаемый

фавн — женщина, но не каждая
неприкасаемый — тоже не всяк мужчина
хлюпик, рохля и мачок отметаются сразу
равно неженка, трудоголик
или мямля, с места в карьер приставала
у неприкасаемого и фавна ничего
не получится — это издали видно
тут не нужен экстраординарный опыт
херачить им незачем вместе

Фавн и небесный

фавн — женщина безоблачная
легкая на подъем, с тату на локте
улыбка Баала, три сефирота
сверхъестественное по шарам ей
парусия ее не прельщает
религия, опиумная настойка
одни гэгги, саспиенс не броский
небесный не обессудит
вsepонимание тоже поза

Фавн и неуч

фавн — женщина, обученная
с высоким IQ, с будущим
амбиции не переморить, не тараканы
профессиональная хватка — задаток
устойчивого благополучья
неуч ее пропесочит
объяснит, что почем, с какой стати
такой срач разведут вместе
очередников опять прокатили

Фавн и недотепа

фавн не чуждается героизма
героизм бывает индивидуальным
когда спокойствием жертвуют ради
прихоти, взбрыка, минутной блажи
недотепа всегда рад получить плюху
при героизме корпоративном
служат престижным элитам, общей идее
героизм пушкаря, журналюги, вахтера
в бузу встревают не просто так

Фавн и нечаянный

фавн — обновленная версия
человека, большая булавка
торчит острием в небо
нечаянный — усеченная версия
того же самого, но без хазы
без раздобытой дури
они друганы, кирзачей пара
текстовой редактор завис над
кадуцей погоняет

Фавн и неряха

фавн не бежит жизненных тягот
такая трудяга, челнок и уток в паре
подожженная гать, сполотый мятлик
мездра, обработанная споро
фавн — женщина в поте лица
неряха совсем иного калибра
за собой не следит, матросит
занюхивает чем придется
думает о своем, об учиненном
насилии, нигде особенно не заметном

Фавн и непочатый

фавн — затасканная, из отчаянья
женщина у плетня, звуки тальянки
заняться ли составлением флорилегий
или в загон, в сатирову драму
склонна к быстрым, твердым решениям
конструктивным, немного фатальным
отправляется за продуктами питания
фавн если делает, то с проглотом
непочатый сплевывает

Фавн и неумека

фавн умеет заботиться о
приободрять, казаны драить
нужные бланки заполнять
изменять кому-то, когда неумоготу
сосать карамельки и барбариски
грызть косхалву, перебирать щавель
кэш изымать из хлипенького банкомата
неумека тоже совсем приобвыкся
разевает варезку когда надо

Фавн и неказистый

фавн — женщина только-только
молодая, уже страшится старенья
боится — морщинками пойдет, обрюзгнет
сплошные болячки, клиника всякая
воз и ныне там, ни одной бороздки
неказистый позволяет фавну себя
поцеловать, нахмулив лобешник
если бы все тогда состоялось
сколько такому цена

Элина Свенцицкая

ШЕСТЬ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НА ДАЧЕ

Мне есть чем гордиться. Мои дети спят со мной по очереди: вначале младшая дочка, потом старшая дочка и сын, потом два новых мужа и три старых любовника. И пусть все говорят, что я девица легкого поведения, но я-то знаю, что я просто роковая женщина. А еще я училась в одном классе с гомосексуалистом. Вы думаете, что я вас эпатирую, и очень ошибаетесь. Я и слова такого не знаю, и ни о чем таком понятия не имею. Просто вам не нравится, что я правду говорю. И действительно, кому такая правда понравится?

Просто мне весело жить — и я хочу повеселить вас. И неважно, что мне сорок лет, что я совершенно одна, потому что кто-то должен быть один. Но мне сорок лет — это возраст зрелости, и когда пишешь, то каждая фраза, как кошка, падает на четыре лапы, а когда живешь — и кошка падает на хвост.

Ну, чем вас еще позабавить? И чем вас позабавит сорокалетняя одинокая женщина с претензиями на оригинальность? Конечно, чем больше становилось претензий, тем меньше оставалось оригинальности, вот она в конце концов осталась наедине со своими претензиями, что, в сущности, глубоко неоригинально. Эта фраза — далеко не все, что можно сделать из моей жизни, да и фраза, честно говоря, не очень хорошая. Но пусть остается такая, потому что больше ничего делать из своей жизни я не хочу и не буду. И значит, мне ничего не остается, кроме веселья и свободы, свободы говорить правду, которая никому не нравится. Ну, чем вас еще позабавить? Все мои знакомые сошли с ума, и все они говорят,

что в таком состоянии им гораздо легче радоваться жизни. А те, которые умерли, ничего не говорят, но радуются еще больше. Но я-то радуюсь больше всех, потому что уж очень много я в этой жизни успела: родить трех детей, уйти от трех мужей, перенести три операции на трех почках и трех любовников. А ночью, глухой ночью, когда ничего не слышно, кроме капель воды из поломанного крана, мой любимый сын кладет мне голову на грудь.

— Что здесь делает твоя голова? — спрашиваю я спросонок.

— Хочет ласки, — отвечает он.

Ведь мои дети спят со мной по очереди: вначале младшая дочка, потом старшая дочка и сын, потом три старых мужа и пять новых любовников. И если все говорят, что я девица легкого поведения, то я-то знаю, что я просто роковая женщина. Ох, извините, я, кажется, пошла по второму кругу, но количество мужей и любов-

ников не перепутала, просто оно увеличилось за время моего поведения. И я действительно горжусь, что мне выпало на долю учиться в одном классе с человеком, который впоследствии стал гомосексуалистом. Звали его Аркадий. Это был натуральный огненно-рыжий красавец, с глазами желтого цвета и тихим голосом. Он был застенчив и поэтому я, одинокая, в него влюбилась. Влюбленность в сорок лет — мне казалось это вполне нормальным, ведь надо было чем-то заполнять свою жизнь, надо было думать о ком-то, глядя в окно, пробираясь по темным улицам к дому, ложась в постель, занимаясь онанизмом, садясь на унитаз и освобождаясь от ненужного. Но сколько возникает дополнительных удовольствий, когда объект влюбленности красив и застенчив — то ли от гомосексуальности, то ли до гомосексуальности. Однажды я ехала к нему на свидание, на которое он, естественно, не пришел. Шел дождь, мокрые зеленые листья хлестали в окна трамвая, было холодно и скучно. На остановке стояла седая женщина в розовом брючном костюме, слипшемся и поникшем от дождя. Она ела яблоко.

Я вышла и пошла неизвестно куда. Дождь по-прежнему капал, под ногами пузырилась вода, плыли по ней в неизвестную даль рванные газеты, коробок от «Примы», палка с сучком. По правую руку были дома из красного камня, по левую — заросли камыша, неизвестно откуда взявшиеся в городе. Две грязные девочки гонялись за бездомной собакой. Я поняла, куда я иду, но было уже поздно.

Аркадий стоял в камышах, как будто ждал меня. В руках у него было ведро с темной водой. Мы пошли к дому по пыльной дорожке. Ноги у меня подкашивались.

— Раз пришла, давай клеить обои.

Мы стали клеить обои. Молча.

Потом сели за стол. Она молчала, и я молчала. Шел дождь. Потом неизвестно откуда выскочило солнце. Осветило на минуту пространство между нами, клеенку стола и пыль на шкафу. Говорить нам было не о чем, и я достала бутылку вина. Увидев вино, Аркадий повеселел, его желтые глаза стали ласковыми и блестящими.

— А ты ничего, — сказал он. — Простая женщина. Ну, в смысле не вышиваешь крестиком по тампаксам.

Это был первый комплимент, который сделал мне Аркадий, и я так обрадовалась, что поперхнулась, и капли красного вина из моего носа упали на белые брюки Аркадия.

— Ничего, — сказал он. — Не надо только подрубить пампер-

сы машинным швом. Время летит незаметно, когда пьешь с любимым. И когда не с любимым — тоже. И даже когда не пьешь. Минул вечер, минуло утро, и минули утренние муки раскаяния, похмелья и стыда. Я осталась на даче Аркадия — то ли в качестве жены, то ли в качестве сторожа, но мы с ним не спали, хотя он не спал и ни с кем другим, чего нельзя было сказать обо мне. Но это было неважно. Вечерами, в романтических сумерках, мы ужинали на террасе, и я думала, что очень многие женятся именно потому, что хотят иметь хорошего сторожа для своей дачи, а он говорил, что из-за меня его считают наконец-то мужчиной. Где он проводит свои дни, я не спрашивала, мне достаточно было наших вечеров и наших ночей, когда через тонкую перегородку я слышала его теплое дыхание, его дыхание и рыдание мартовских котов под забором.

Так было, пока не настал тот роковой день. Ничто его не предвещало, просто заглянула на дачу моя лучшая подруга. Мы выпили вина, покурили, а потом ее лицо пошло пятнами, и она сказала: «А ты знаешь, я беременна».

— Откуда мне знать? — машинально удивилась я.

— От Аркадия. Это его ребенок.

Она заплакала и стала что-то бормотать о том, что надо было предохраняться, а теперь уже поздно, и непонятно, что делать с ребенком, мама ее убьет, это точно, и Аркадий тоже не одобрит. Я сказала, что нужно подождать Аркадия. Но тут раздался стук в дверь. Я думала, что это Аркадий, но это оказалась еще одна моя подруга, и через пять минут она тоже сказала, что беременна от Аркадия и делать аборт уже поздно. Я сказала, что ей тоже нужно подождать Аркадия, и тут снова раздался стук в дверь. На пороге стояли две моих хороших знакомых по работе, и они, заливаясь слезами, тоже признались, что беременны от Аркадия. Они тоже уселись его ждать, а я металась между ними, отпаивала их валерьянкой, а в душе было жутко и пусто. К вечеру пришли моя мама и младшая сестра. Они тоже были беременны от Аркадия.

Была ночь, пахло валерьянкой и бедой, я металась между будущими матерями, утешая их. А они мне рассказывали о своих отношениях с Аркадием, и об обстоятельствах каждой беременности можно было написать роман. Я думала, почему я так обижена в жизни, и то, что мне больше всего хочется, достается кому угодно, только не мне. Начинался какой-то бред, нужно было что-то делать со всеми этими беременными женщинами, а они по очереди рыдали и жаловались мне, какой Аркадий эгоист, хотя и безумно сексуальный. Эта безумная сексуальность меня добила. Тихо-тихо вышла я из дому. Не оглядываясь, дошла до калитки

и пошла вдоль зарослей камыша дальше и дальше. Поднявшись на бугор, я увидела, что на даче Аркадия горит свет. Они все еще ждут его. Я села на трамвай. На остановке все так же стояла седая женщина в розовом брючном костюме. Она плакала, потому что я забыла про нее, увлекшись рассказом об Аркадии и его шести беременных женщинах.

А может, Аркадий тоже забыл — и про них, и про меня и никогда не придет на свою дачу, про которую он тоже забыл? Ведь забыла же я про то, что я все-таки не девица легкого поведения, а роковая женщина? И забыла про то, что мои дети спят со мной по очереди. Единственное, что я не забуду — звон разбитого стекла на веранде, тяжкий стук колес проходящего поезда и голос забытого в темноте ребенка:

— Мы к вам пришли, а вы нас не звали... Мы к вам приходим, а вы уходите...

Это не я говорю, это дождик.

...Аркадий пришел уже утром. Женщины спали. Он посмотрел вокруг, тихо свистнул и лег спать вместе с ними. И когда утром он наступил на будильник и растоптал телефон, начались новые муки похмелья, стыда и раскаянья.

ВЕСЕЛЫЙ ВОРОН

Этим летом он много думал. Ему нравилось это занятие: именно утром, когда еще относительно тихо и не жарко, оставаться наедине с собой. Он выходил на балкон покурить. Облако, волнистое, как человеческий мозг, плавало в небе.

Внизу дети прыгали через скакалку и кричали:

— Часы пробили ровно час!

Часы пробили ровно два!

И ему казалось, что эти голоса отсчитывают время, которое он должен провести наедине с собой. Впрочем, он всегда был наедине с собой — и когда лежал в своей одинокой постели, глядя в потолок, и когда разогревал на кухне пирожки с капустой, купленные два дня назад, и когда сидел в туалете со вчерашней газетой, и даже когда читал в институте еврейскую философию. Ведь одинокий еврей всегда сидит наедине с собой, даже когда он просто Саша

по кличке Веселый ворон, и всегда всех благословляет, потому что у еврея всегда на все есть отдельное благословение: на еду и напитки, при виде радуги и во время урагана, при встрече необычно уродливого создания и при виде еврейского короля или главы го-

сударства. И он всегда несет ответственность за свою нацию, что бы они ни делала — даже когда его при этом еще не было в живых.

— Вы знаете, в чем причина всех наших бед? — говорили ему. — В ваших сионистских обрядах!

— Как это? — удивлялся он.

— Это очень просто. Они же все были необрезанные — Ленин, Троцкий и остальные.

— Но я не знал.

— Почему вы не обрезали Ленина, Троцкого и Каменева? — спрашивали у него.

— Кажется, их обрезали.

— Значит, недообрезали. А Маркса с Энгельсом?

Тут он разводил руками и умолкал.

Что он мог сказать, бедный еврейский философ, точно знавший, что на его доме не будет мемориальной доски с его именем, а только реклама гомеопатической аптеки и афиша с красными буквами «Иисус Христос»? Что он мог сказать, бедный еврейский философ, помнивший только двенадцать принципов Маймонида, а тринадцатый хронически забывавший? Что он мог сказать, если даже оставшись наедине с собой, он не мог не слышать:

— Часы пробили ровно три...

Часы пробили ровно четыре...

Но все-таки ему было хорошо наедине со своими мыслями. Особенно нравилась ему одна — очень красивая, между прочим, с длинными и темными волосами, стройная, высокая, огненоглазая. Она-то и дала ему кличку Веселый ворон. Почему ворон — слишком ясно, а веселый потому, что уж очень веселый у него было вид, когда он, проснувшись, чихал, и произносил сакраментальную фразу:

— Дайте мне точку опоры, и я сделаю все, что вы прикажете.

И конечно, она давала ему точку опоры и все остальное тоже, и это было упоительно. А потом он шел на кухню готовить завтрак, напевая древнееврейский романс:

— Вот идет моя любимая девушка, она вертит своим большим тохесом...

Она съедала все пирожки, оставляя ему только один маленький и горелый, и выпивала весь кефир, ничего ему не оставляя, но и это было упоительно.

— Ты пьешь, словно птичка, — говорил он, а она смеялась, глядя его по руке мягким тонким пальчиком с острым ноготком. А из форточки монотонно доносилось:

— Часы пробили ровно четыре,

Часы пробили ровно пять.

Он уходил, а она ему изменяла, и это было так естественно и упоительно, что ему даже не приходило в голову предъявлять претензии. А на лекциях он забывал не только тринадцатый принцип Маймонида, но даже путал миньян с минетом, а, идя в туалет, забывал слова благословения на посещение туалета и, стоя перед дверью, мучительно вспоминал их, боясь уписаться. А придя домой, заставлял ее в постели то со своим другом, то со своим студентом, то с ее двоюродным братом. И, покашливая, ждал в прихожей, пока они оденутся, а потом вместе пили чай на кухне.

Но он был слишком счастлив, а так не могло продолжаться. Может быть, не надо было знакомить ее с мамой, конечно, не надо, какой же он дурак. Она просто испугалась, ведь она, в сущности, такая незащищенная. Но мама приказала Саше наконец познакомиться с ней, и что же он мог сделать. Мама пришла к нему и сидела на стуле. Величественная и грозная, мама не ела пирожков с капустой. Она так и не пришла, испугалась его мамы, он и сам испугался бы на ее месте. Уже вечером, когда сгущались черные тучи и в воздухе пахло водой и холодом,

мама поднялась со стула и сказала:

— Она не придет. А я по твоей милости целый день ходила в лифчике. Никогда тебе этого не прощу.

И ушла, грозно покачиваясь. Он плелся за ней, провожая ее до остановки, а дети во дворе, как всегда, прыгали через скакалку и кричали:

— Часы пробили ровно пять.

Часы пробили ровно шесть.

А его любимая пришла в два часа ночи. Сбросив одежду, она кинулась на постель и заплакала.

— Господи, да что же с тобой? — бегал вокруг нее Саша.

Но что может сделать бедный еврейский философ с плачущей женщиной? Благословить ее — но нет у евреев благословений на слезы, проклясть ее — но и таких проклятий на свете нет. Остается только поцеловать, но как ее поцелуешь, если она мокрая и соленая?

— Я встретила человека, — произнесла она сквозь рыдания.

— А я думал — носорога, — попытался он шутить.

— Нет, ты не понимаешь, — снова заплакала она. — Теперь все кончено. Я буду с ним и только с ним.

— Но почему?

— Он очень сильный. Он требует. Я понимаю, что это ненадолго. Но я не могу, не могу...

И снова подушка стала мокрой, а Саша все так же переминался с ноги на ногу.

— Я должна идти к нему... Иначе он убьет меня,

— Не уходи, — говорил Саша. — Ты же знаешь, тебе будет с ним плохо... тебе будет совсем плохо. Он же не любит тебя.

Он прижимал ее к груди и плакал вместе с ней, и было холодно и страшно. В окно вливалась ночь, гроза, молния, и постель была мокра от слез. Он несколько раз бегал в туалет, на ходу бормоча благословение, а оно как назло забывалось, и он стоял в коридоре, тихо бормоча:

— Благословен Господь, который создал человека мудро и сотворил в нем различные отверстия и полости. И если откроется одно из них или закроется одно из них, невозможно стоять пред Тобой...

А из спальни неслись рыдания, и он бежал туда, тоже плакал, уговаривал, целовал ножки, падал на колени, а потом опять бежал в туалет, бормоча благословение, и опять не мог вспомнить. Этот кошмар продолжался всю ночь, и эта ночь был последней. Утром она ушла. И стала такой несчастной, какой Господь сотворил ее в этот мир. Он вспомнил слова благословения и благословил ее. И еще он вспомнил, что она ведь только его мысль, только мысль — и больше ничего. И думал — почему же так больно от мыслей, разве от мыслей бывает так больно?

Болела голова. Длинная тень лежала на скомканной постели. В дверь постучали. Он открыл. За дверью никого не было. Он вернулся в постель. Начал о чем-то думать. Но в дверь опять постучали. И опять никого. И в третий раз постучали в дверь, а за дверью никого не было. Тогда он не выдержал, вскочил и, запихав в портфель бритву, зубную щетку, майку и сборник благословений, ушел куда глаза глядят. И вспоминал по дороге то время, когда они были еще счастливы. Она стояла на балконе в его белой парадной рубаше и говорила:

— Ну, хорошо, вот мы и опять поссорились, очень хорошо. Конечно, я могу уйти, и ты можешь уйти. Но если я уйду и ты уйдешь, то с кем останется дом?

И вороны, хриплые и веселые, летели над летним городом. А дети во дворе прыгали через скакалку и кричали:

— Часы пробили час,

Часы прибили нас...

Он подошел и стал прыгать вместе с ними. Тут он вспомнил самое главное — что благословение на посещение туалета произносится не перед, а после этого самого посещения. Так что зря он мучался.

ЛЕГЕНДЫ ИЗ ЖИЗНИ ПРОФЕССОРА УПОЕННОГО

1.

Профессор Димитрий Упоенный никогда не упивался, потому что знал меру. Если же, увлекаясь, он эту меру не узнавал, то потом сожалел и извинялся. Хотя извинялся он редко, а вот увлекался часто. Упоение же находило на него еще чаще. Однажды его так упоили, что очутился он в полночь на кладбище, причем с дамой. Роль дамы исполняла я, Элина Свенцицкая, потому что какой же нормальный человек рискнет очутиться ночью на кладбище, да еще с профессором Упоенным. Вначале он читал стихи, потом обратил внимание на кладбище.

— Это кладбище? — сказал он задумчиво. — Но почему?

На этот вопрос я не могла ответить, не обратила его внимание на то, что с кладбища надо бы выйти.

— Куда? — удивился профессор. — Обычно с кладбища не возвращаются.

Он сел на землю и закрыл глаза. Я попыталась его поднять, но тщетны были все усилия.

— Что вы делаете? — говорил он тихим и печальным голосом. — Моя карма в том, чтобы быть на кладбище. Непочтительное обращение с человеком, исполняющим свою карму, карают высшие силы.

Я вынуждена было его слушать. Некоторое время я ходила вокруг него, вокруг деревянного креста, растущего возле маленькой зеленой елочки.

— Профессор, посмотрите, какая елочка!

— Это могила! — сказал он безнадежно унывающим голосом.

И я оставила профессора Упоенного. Всю ночь он бродил по кладбищу. А утром я узнала, что никакого кладбища там не было.

2.

В два часа ночи мы пришли к профессору Димитрию Упоенному и принесли ему стакан водки.

— Профессор, это мы! — воскликнули мы радостно.

За дверью было молчание.

— Профессор, это мы! — воскликнули мы радостно еще раз.

За дверью было то же самое.

— Почему он не открывает? — подумали мы. — Может, он спит?

Мы постучали погромче.

— Профессор, это мы! Мы принесли вам стакан водки! Никакой реакции.

— Странно, — подумали мы, — профессор уже на стакан водки не реагирует.

Мы постучали снова. Опять никакой реакции.

— Но, может быть, профессор не верит, что это мы? — подумали мы.

— Это мы, профессор, честное слово, это действительно мы, — говорили мы, стуча в дверь.

Но дверь так и не открылась. Стакан водки исчез. Профессор так и не поверил, что мы — это мы. В шесть часов утра мы и сами начали в этом сомневаться.

3.

Профессор Упоенный проснулся в три часа ночи в незнакомой общаге. Услышав подозрительный шум, он открыл дверь. И увидел, что по коридору идет местный поэт Леон Всеславский в кальсонах телесного цвета.

— Ну что ж, — подумал профессор, — поэты тоже носят кальсоны.

— Что здесь делает поэт Всеславский? — спросил профессор Упоенный утром у дежурной по общежитию.

— Не знаю, — ответила дежурная. — Ему уже девяносто лет.

На следующую ночь профессор Упоенный снова проснулся в чужой общаге, но уже на другом конце города. Долго припомнил, как он тут очутился. Услышав подозрительный шум, он открыл дверь и снова увидел Леона Всеславского, на этот раз в длинных семейных трусах. Профессору стало смешно, и он долго смеялся, глядя ему вслед.

— Что здесь делает поэт Всеславский? — спросил профессор утром у дежурной по общежитию.

— Ну что вы хотите, ему уже девяносто лет...

И так они дошли до последней общаги.

Но и здесь в три часа ночи что-то толкнуло профессора Упоенного к двери, и снова в коридоре маячил силуэт поэта Всеславского. И спросил он ласковым голосом:

— Что с вами, профессор?

Профессор побледнел и затрясся.

— Не приставайте ко мне, я закричу! Что это такое — пристают среди ночи, мужчины пристают! Креста на вас нет, вот что!

И, правда, креста не было. Зато есть дедушка Всеславский, бе-

гущий по коридору в ночной рубашке с кружевами. И есть общага, в которую пока еще пускают, и комната, где тепло. И в комнате кровать, на которую можно лечь, если очень устанешь, и ласковое одеяло, в которое можно замотаться, и подушка, в которую можно уткнуться, если плачешь. И главное — можно плакать, слава Богу, можно плакать обо всей этой жизни, как о елочке, растущей над бывшей могилой, на бывшем кладбище, возле бывшей церкви бывшего усекновения главы неизвестно кого, но тоже бывшего, потому что все это действительно было, как ни трудно в это поверить, как ни трудно себе это представить.

В ПРИСУТСТВИИ КРЫСЫ

Елена Анатольевна была одинокой женщиной с дочерью и абсолютным слухом. Больше всего она любила классическую музыку, а все другие неклассические и немзыкальные шумы и звуки глубоко ранили ее абсолютный слух. Слух ее был настолько абсолютным, что она слышала абсолютно все. Она слышала, как за стеной плачет ребенок, как соседи сверху двигают стулья, а за окном аукаются пьяные. Все звуки усиливались в ее голове, резали, кромсали, терзали, и потому лицо ее было горестным и плоским, а большие белесые глаза были мокры. Но в консерваторию ее не взяли, а в филармонию она ходила только по выходным, и работала она бухгалтером в институте, где вода капала с потолка, где по узким лестницам стучали острые каблуки, где целый день говорили, говорили, говорили. К концу дня голова Елены Анатольевны становилась мягкой и ватной, а рот наполнялся металлической слюной.

Жить было и без того тяжело, а тут еще завелась у Елены Анатольевны крыса. Долгими осенними ночами лежала Елена Анатольевна без сна и, глядя в темноту широко раскрытыми глазами, слушала, как крыса шуршит на кухне, ерзает где-то между помойным ведром и унитазом. А утром Елена Анатольевну тошнило, и болью отдавался в ушах шелест переворачиваемых страниц.

— Ну, как наша крыса? — спрашивали ее коллеги.

— Это ужасно, — говорила Елена Анатольевна. — Она бегают и обувь грызет, как собака.

— И что вы собираетесь делать?

— Куплю ей мышеловку.

Елена Анатольевна купила мышеловку, положила в нее сала и стала ждать крысу. Всю ночь она лежала без сна и слушала. Крыса бродила по дому, но к мышеловке не подходила. Еще Елена Анатольевна слышала, как сосед с пятого этажа бил свою жену

головой об стену, а радио в это время бормотало: «В 1941 году на окраине Киева было расстреляно 10 тысяч ни в чем не повинных людей...» Проснувшись, Елена Анатольевна обнаружила пустую мышеловку и съеденное сало.

— Ну, как наша крыса? — спрашивали ее коллеги.

— Живая, — грустно отвечала Елена Анатольевна. — Мышеловка не помогла.

Летом Елена Анатольевна выгнала дочку в лагерь и затворилась в квартире наедине с крысой. Она закупила мышеловок и расставила их по всем углам, между мышеловками насыпала отравы, убрала из квартиры всю еду и выключила воду — но ничего не помогло.

— Ну, как ваша крыса? — звонили ей коллеги.

— Увы, — вздыхала она. — Живет, как жила. Впрочем, я ее уже видела.

— И как же она выглядит?

— Серая, толстая и наглая.

Ночами Елена Анатольевна лежала без сна и думала о крысе. Она слышала ее шуршание и представляла себе ее жизнь, как крыса гуляет по комнатам, среди огромных, как деревья, стульев, смотрит вокруг безжизненными глазами и видит банку с прозрачной водой на подоконнике и солнечные лучи на грязной плите. И еще она слышала, как за окном тормозит, мягко шурша, узкая черная машина, из нее выходит мужчина в шляпе и длинном макинтоше и, подавая руку даме, разодетой в кружева и кожу, нежно говорит ей:

— Ну что, падлочка, прошвырнемся?

Началась осень, а Елена Анатольевна по-прежнему жила с крысой. Дочка не вернулась из лагеря, где-то вдали Елена Анатольевна слышала ее удаляющийся голос, который говорил, что в лагерные праздники она вкладывала все: и душу, и тело. За большие деньги Елена Анатольевна купила ультразвуковую установку.

— Ну, как теперь наша крыса? — позвонили ей однажды коллеги.

— Вы знаете, я уже не вижу ее и не слышу.

— Но значит, она ушла?

— Нет, не ушла. Я чувствую ее присутствие, понимаете — я чувствую.

Она действительно чувствовала постоянно присутствие крысы, чувствовала на спине ее холодный взгляд. Когда варила кофе, когда пыталась что-то читать, ощущала колебание воздуха над полом и чужой непонятный запах. И Елене Анатольевне было очень тя-

гостно переодеваться в присутствии крысы, а уж ходить в туалет вообще стало для нее адской мукой.

Но вот настал роковой момент, и стало темно. Хотя уже с утра Елена Анатольевна слышала шорох грозовых туч, но все надеялась, что ничего не случится. В тот момент она сидела на кухне и думала, что всю жизнь она хотела остаться наедине с мужчиной, а осталась наедине с крысой. И тут появилась крыса, большая и серая, с какими-то багровыми пятнами.

— Вот мы и остались с тобой вдвоем, — сказала крыса, нежно глядя на нее злыми глазами.

— Да, — сказала Елена Анатольевна, плохо соображая.

— Я так ждала этого дня, — сказала крыса, лизнув ей руку холодным розовым языком.

— Конечно, — сказала Елена Анатольевна, соображая еще хуже.

— Какое тело, — сказала крыса, проводя по ее лицу мягким серым хвостом.

Тут до Елены Анатольевны наконец дошло, что так дальше продолжаться не может, и она решила уйти из дому. На улице была осень и ночь, город пуст и страшен. Елена Анатольевна стояла посреди улицы и не знала, куда ей деваться. Чужие черные окна, жестокий металлический блеск реки. Ни о чем не думая, Елена Анатольевна пошла по берегу.

Из тьмы выскользнул плюгавый мужичок, вихляясь, подошел к ней.

— Что ты тут ходишь, одинокая женщина? Какая крыса тебя укусила?

Услышав про крысу, Елена Анатольевна пошла быстрее.

— Да ты не бойся меня, я хороший. Я бывший муж Инессы Арманд. Хорошая баба

Инеcса Арманд, один недостаток — умерла. А я остался. Может, тебе на что

сгожусь? Да погоди ты, бегаешь тут, как крыса.

Елена Анатольевна остановилась, как вкопанная, и выпалила совершенно неожиданно для себя:

— Где тебе со мной равняться, ты умеешь только пить и матюкаться.

И пошла вдоль берега. И вдруг почувствовала, что ее абсолютный слух все расширяется и расширяется, пронизывая и время, и пространство, что она уже слышит все и одновременно — и вздохи любящих в раскаленной ночи, и последние стоны умирающих и уходящих, и плач забытого в пустом доме ребенка — все это слилось в один звук, режущий, царапающий и трескучий, от которого лопались барабанные перепонки, и не было уже слышно ничего,

кроме шуршания крыс в подвалах и подъездах, крысы бегали друг к другу в гости, шевелили хвостами и тихо говорили между собой:

— Странные все-таки эти люди, ничего они в этой жизни не понимают. До чего они все-таки глупые, до чего же они одинокие...

ВУРДАЛАКИ НА ВОЛГЕ

Я подонок и вурдалак. И упырь, который пьет кровь. Выпил из отца, матери и любимой девушки. Но я так устроен, что без крови не могу: как увижу, сразу пить хочется. Кого люблю, из того и пью, и чем больше люблю, тем больше пью. Плохо мне ночью, особенно в такое мокрое время. Ничего нет, только ночь, дождь и я, я, дождь и ночь. Кого бы мне найти, хорошего, любимого такого, родного, чтобы обнять, поцеловать, крови попить...

...Раньше он не был ни подонком, ни вурдалаком, а всего лишь евреем Сережей, пишущим стихи о России, о просторах Волги, и, конечно, о любви.

— Посмотрите, я похож на Есенина? — спрашивал он.

Конечно, не каждый еврей может похвастаться сходством с Есениным. Есенин пил, а он кололся, потому что каждый поэт или пьет или колется или еще как-нибудь занимается самоуничтожением. И Сергей, как все поэты, был пьян, обколот и неадекватен. Когда он умер, ему было 35 лет.

Но не было ему покоя и в могиле. Может, только немножко стало легче — не хотелось больше писать стихи и не тянуло на баб. Все свелось к поиску кайфа — неведомая сила гнала его туда, где всегда была ночь, во дворах горели костры и хриплый женский голос кричал:

— Петя! Домой! Всю кровь ты из меня выпил!

Поиск кайфа гнал его все дальше и дальше, и было очень одиноко, хотелось нежности и любви. И ничего ему не было нужно — только нежное прикосновение к шее, только сладко-соленый вкус крови, а потом легкий холодок под ложечкой — это жидкость, как змея, проскользнула под сердце. И еще немного — и водоворот, бурля, врывается в мозг, и все уже там вверх дном, и такая огромная любовь, что сердце разрывается.

Тогда он шел обратно искать свою могилу. Он уже не помнил о том, что был похож на Есенина, не смотрел даже, похож ли еще, да и зеркала не было. Но, вероятно, все еще был похож, потому что однажды, попав среди ночи в пионерский лагерь и облюбовав себе одиноко спавшую роскошную пионервожатую, зайдя к ней в комнату, он вдруг услышал:

- Ну, давайте знакомиться. Вы — Сергей?
- Да, — сказал он растерянно.
- Вы не галлюцинация? Вы не призрак? А как ваше отчество?
- Алексеевич, — сказал он, растерявшись еще больше.
- А может, Александрович?
- Нет.
- Очень хорошо. А то я думала, что вы — моя белая горячка.

Она поняла, что он не белая горячка, но было уже поздно. Одного поцелуя в шею было достаточно. Потом он шел, ломая ветки, по предрассветному лесу, небо было ярко-розовым, пели птички, и плыло над ним белое облачко, похожее на жирафа. Была ночь, и все было глухо: глухие улицы, глухие звуки, глухие углы. Он шел и шел. Все дома заперты, все двери закрыты. Никого и ничего. Тень трамвая легла на снег — и исчезла.

Он шел между домами. Они были похожи на пни в страшном великанском лесу. За поворотом мелькнула тень. Он насторожился и прибавил шагу. Через некоторое время он разглядел свою жертву. Это была женщина, почти старуха, в косынке набекрень и сером пальто. Он настигал ее, она почувствовала это, пошла быстрее, потом побежала, часто оглядываясь, спотыкаясь. Он прибавил шагу, потом побежал. Она закричала хрипло и страшно, как ворона. Но крика было почти не слышно.

Он рванулся за ней, он был уже совсем близко, видел латаное серое пальто, холщовую сумку, набитую неизвестно чем, кудлатые грязные волосы. Она оборачивалась, тоже видела его и понимала одно: Есенин гонится. Было страшно.

— Люди, за мной Есенин гонится, — закричала она, вбегая в подъезд.

Тихо и темно. Он сейчас придет, откроется дверь, и... Дальше должно было быть что-то до того ужасное, что она даже не могла себе представить. Задыхаясь, она побежала вверх по лестнице. Ноги подкашивались, где-то на третьем этаже она помогала себе руками, хватаясь за верхние ступеньки, и, выползая на следующий этаж, звонила в каждую квартиру и кричала:

— Помогите, люди! За мной Есенин гонится! Он убьет меня или изнасилует!

За каждой дверью была тишина, а внизу уже раздавались шаги. Тихие и неотвратимые — его шаги. Она колотилась о двери, кричала, чтобы ее спасли, что она инвалид II группы, приехала к тете из Дебальцева, а за ней гоняется Есенин, и, задыхаясь, ползла по ступенькам, а он шел за ней, неумолимо и спокойно.

Наконец на двенадцатом этаже дверь открыли. На пороге стоя-

ла, пошатываясь, огромная женщина. Длинная грудь в синих пятнах вылезала из выреза рубахи.

— Гонится за мной... Есенин... Я к тете приехала... У меня удостоверение...

— Уже двадцать минут четвертого, — сказала женщина и качнулась.

— Удостоверение у меня... Можно, я немножко постою у вас в коридоре? Есенин

уйдет — и я пойду.

— У меня дети, — сказала женщина. — Они уже все понимают.

Дверь захлопнулась. Вурдалак неотвратимо поднимался по лестнице. Она села на пол. Ничего не было. Мыслей не было. Ее не было. Была только разбитая лампочка под потолком. Он подошел к ней и тихо сел рядом.

— Ну что, дуручка, набегалась?

Но ответить она уже не смогла. Он поднял ее и положил на ступеньки. И опять этот горько-соленый вкус кожи, и легкий холодок под ложечкой, и жидкость, как змея, проскользнула под сердце. Он пошел в свою могилу. Ему было грустно. Он думал о том, что пить кровь — болезнь заразная. Так уж мы устроены, что пить кровь хочется из родных и любимых, он сам в первую очередь выпил кровь из матери, сестер, любимой девушки, а потом переключился на чужих. И все это от любви и ради любви, и ничего тут не поделаешь: если любишь, обязательно кровь пьешь, и чем больше пьешь, тем больше любишь. И теперь, после того, как он выпил кровь из пионервожатой — там теперь целый пионерлагерь вурдалаков, и начальник у них вурдалак, и родители — вурдалаки. И та, которую он оставил на ступеньках, тоже найдет свою тетю и выпьет из нее кровь, а потом из ее детей, а потом переключится на друзей и знакомых.

— Все мы вурдалаки, пьем друг из друга кровь понемногу, — думал он, разгребая сухую землю своей могилы.

...А старуха очнулась на тех же ступеньках, оцупала себя, вспомнила, что случилось. И почувствовала себя старой, больной, — и счастливой. Она была рада, что увидит наконец свою тетю и ее детей. Она любила их, как никогда в жизни.

ЭФЕМЕРИДЫ

Я сидела за столом и мечтала о смерти моего мужа. Я мечтала, что он умрет, а я наконец-то буду жить. Тут пришла Люда, его бывшая жена от третьего брака.

— Дорогая, я умираю, — сказала она. — Помоги мне.

— Чем я могу помочь тебе умереть? — удивилась я. — Я думаю, с этим ты отлично справишься сама.

— Дорогая, — ты не поняла, — заплакала Люда. — Мне зарплату не платили два месяца, сын обрезался, лежит на диване и стонет, а я падаю в голодные обмороки.

И она тут же упала в голодный обморок и лежала в нем до тех пор, пока я не достала из холодильника курицу. Обняв курицу, она убежала, и я осталась одна.

Я снова села за стол и стала мечтать о смерти своего мужа. Я думала, что он умрет — и на мне наконец женятся все мои любовники, и я буду с ними жить, а когда надоест — буду мечтать об их смерти.

Тут пришел Гриша Чечило, сожитель мужа по наркодиспансеру.

— Я тебя люблю, — сказал он. — Дай на бутылку.

— Конечно, дам, — сказала я радостно. — Но денег у меня нет.

Он посмотрел на меня и попятился.

— Понимаешь, я очень занят... Я лечусь от простатита.

— От какого еще проститута? А ну проваливай со своим проституттом!

Он ушел, а я осталась одна и снова стала мечтать о смерти своего мужа.

Тут пришел мой любовник, милый мальчик Сашенька.

— Понимаешь, я выхожу замуж, — сказал он.

— То есть как?

— То есть женюсь, — поправился он. — Мама говорит, надо жениться, иначе детей не будет.

— А кто она?

— Мама у меня инженер.

— Нет, кого ты... За кого ты...

— А, она девушка. Из парфюмерного магазина.

— А как же я?

Он ничего не сказал и ушел. Я осталась одна. На этот раз окончательно. Так всегда у меня — все зыбится и исчезает, оставляя меня одну. Как Люда со своей курицей, как Сашенька со своей парфюмерной девушкой, как Гриша со своей непонятной болезнью — химеры, эфемериды, и больше ничего. И я эфемерида, лечу по улице и слышу нежный голос огромной химеры, держащей под руку худенького эфемериду в рыжей кепке:

— Ну что, козел, ты неженатый? Давай, козел, с тобой встречаться серьезно, как все нормальные люди.

Все химерично, все эфемерно, только фонарь торчит, как черту кочерга, мне жалко Гришу — он больной. У него такая болезнь,

проститут, простутит, рак простительной железы, он просит прощения, а его никто не прощает. Но как его простить, если он просит на бутылку, а платить не хочет, если Люда обнимает курицу, а Сашенька убегает, если все мы — химеры, эфемериды, летим, убегаем и не прощаем друг друга.

ПИСЬМО К МАТЕРИ

Ах, ты еще жива, моя старушка? Я тоже еще жива, с чем тебя и поздравляю. Самочувствие у меня хорошее. Так больно, что тошнит. И настроение веселое, подтянутое — так и хочется встать руки по швам и каждому прохожему отдать честь.

Я живу в коридоре, потому что в палату не берут. Много нас — и нет места. От этого и медсестра нервная такая — все спрашивает, почему у меня постельное белье на шее намотано. И не понимает, глупенькая, что это модное финское полотенце. Да, но зачем же сразу в морду? Я нахального обращения к себе не понимаю. Тем более, я на работе.

Да, я на работу устроилась. В больнице больной работаю. И от дома близко, и жрать дают чуть не каждый день. А я лежу. Раньше я работала на ногах, а теперь в постели. Но они подняли меня и несут. Несут по длинному коридору, по черной лестнице.

— Пожалуйста, оставьте меня, — плачу я.

Черная лестница упирается в черный ход. Ветер бьет по лицу. Желтая лампочка качается, и голова моя качается, и лицо мое на лампочке улыбается мне желтой улыбкой.

— Пожалуйста, положите меня на место, — плачу я.

Никто меня на место не положит. Дверь открывается, и женщина в белом наклоняется надо мной, и пьет кровь у меня из пальца через резиновую трубку.

— Уберите ее, — говорит женщина в белом. — Разложили тут.

И меня убирают, и не буду я в больнице разлагаться, потому что меня несут все дальше и дальше и никогда уже не положат на место. Они несут меня — и мне больно. Дорогая мама, мне больно, потому что я работаю больной и должна болеть. Все правильно, мама, мне правильно больно, но у меня все болит, такая уж у меня работа, это мой хлеб, мама, что ж тут поделывать, каждый зарабатывает на жизнь, как может.

Прощай, мама. В жизни все-таки есть радости, только очень маленькие. Я, например, очень рада, что ты еще живая. И очень хорошо, что я живая тоже. Никогда в жизни не думала, что доживу до такого счастья. Помнишь, в детстве, когда я плохо себя вела, ты говорила, что купишь себе другую девочку, хорошую, новую.

Но ведь я хорошая, потому что больная. А новой дочки у тебя не будет, потому что ничто не ново в этой жизни.

Прощай, дорогая мама. Не поминай меня лихом, а поминай, как звали.

FIN DE SIECLE

Век кончался. Солнце было черное, луна — красная, неба не было, оно скрылось, свившись, как свиток. Горькая вода капала из крана. За стеной тихо пело радио: «Жучка моя, я твой бобик, трупик ты мой, я твой гробик». Было холодно. Только на кухне осталось немного хилого газового тепла. Поэтому завтрак длился и длился.

— Завтра и этого не будет, — сказала Анна, ставя на стол резиновый хлеб и мертвую воду. — В городе воду дают только глубокой ночью.

И она покачала головой.

— Ничего, я разживусь на шахте, — сказал Павел, ее муж. — Будут вам и хлеб, и вода. Между прочим, на Буденовке коня бледного видели. Давай сходим посмотрим. Мы уже давно никуда не ходили. И Гришке будет интересно.

— Лучше займись с ним математикой, у него опять двойка.

— А где он?

— Не знаю. Пропал куда-то.

Их сын вправду решил пропасть. Потому что все надоело — сырая комната с запотевшими окнами, мокрые простыни и холод, и рано утром будят ни за что ни про что, и выгоняют из дому на холод, в школу, получать двойки, грубить учителям. А дома вечные разговоры о последних деньгах, о хлебе из дерьма и навоза, о том, как дальше жить.

Все еще спали, когда он вышел из дому, из зыбкого тепла, которое надышали за ночь. Сизые деревья тихо шуршали над ним. Развороченный трактор отдыхал под белыми звездами. Слышались выстрелы. То ли милиция стреляла в рэкетиоров, то ли рэкетеры стреляли в милицию, то ли одинокий прохожий отстреливался в темноте.

«Двойка — это плохо, — думал Гриша. — Чего она кричит, будто я сам не знаю. Уеду я».

Он пробрался к железнодорожному вокзалу. Шел через огромное поле, усеянное саранчой. Саранча шевелилась и скрежетала зубами. По шаткой деревянной лестнице с неба слезал ангел с ржавым пионерским горном; другой, подставив стремянку, пы-

тался залезть на солнце. «Кыш, пернатые!» — замахал на них руками Гриша, и ангелы разлетелись, а лестницы попадали.

Вместо рельсов была длинная яма. Поезда не ходили. Гриша зашел в здание. Было много кресел и людей, все смотрели вверх в телевизор. Показывали порнуху про вавилонскую блудницу, у которой между ног светит луна.

— Здравствуй, Гриша, — сказал мужчина с красной царапиной на подбородке. —

Я умею делать молнии.

— Ты колдун? — спросил Гриша.

— Я не колдун, я знахарь. Я все знаю, я все видел, я видел австралопитека, и он мне открыл страшную тайну.

— Какую?

— Что он — инопланетянин.

— Ну и что?

— А то, что и мы тогда инопланетяне.

— Неправда, мы евреи, — убежденно сказал Гриша и пошел домой.

Анна и Павел давно его уже искали. Они бегали по черным подъездам, кричали:

«Гриша! Гриша!» Но подъезды не отзывались.

— Я боюсь, — говорила Анна. — Где он пропадает? Вдруг он в городе, а там, у оперного театра, раздевают.

— Что-то я не видел там раздетых.

— Так иди и смотри, — фыркнула Анна и свернула в темный переулок.

— Ну что ты делаешь, ненормальная... Совсем с ума сошла?

— А как не сойти с ума? Где он? Что с ним? Может, убили, может,

изнасиловали... Время-то какое...

— Времени больше нету, — хмуро напомнил Павел. — Это ты виновата со своими истериками, довела ребенка.

— Нет, это ты виноват! Ты ж всю жизнь на шахте, всю жизнь под землей, какой пример ты можешь подавать ребенку?

Он схватил ее за волосы, она вцепилась ему в горло, и они покатились по желтым листьям, под лучами черного солнца, по сизому мокрому асфальту. Гриша уже давным-давно был дома, когда они пришли. Все было как раньше, солнечные зайчики прыгали по кухне. Он поел и сел за математику, но скоро захотел в туалет. Там было интересно, жужжали мухи. Павел открыл кран, чтобы умыться. Из крана закапала кровь.

— Смотри, мать, — сказал Павел.

Анна подошла посмотреть. Из туалета между тем слышался веселый голос Гриши:

— Я колобок-колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, и от папы ушел, и от мамы ушел...

— Сам себе сказки рассказывает, — засмеялась Анна.

— Все дома. Слава Богу, — сказал Павел и поцеловал ее.

Звезда Полынь ласково светила в окно. Начиналась зима.

Владислав Шпаков
ДЯДЮШКА СЕРЕБРО

*Дирку, у которого есть все шансы
Уйти раньше остальных*

*...залезли в шкуры, а вылезть не могли,
и осталась при них волчья природа...*

Сага о Волсунгах

*В мире зкасок тожи любви булочки.
Гнум.*

Астрид Линдгрен

Его дом стоял на склоне горы, зимой восточную стену заметало до самой крыши, и если бы не дым из трубы, жилище Серебра казалось бы просто большим мёртвым сугробом.

За горой змеилось узкое и давно не ремонтировавшееся шоссе. Уже в декабре шоссе на метр заваливало снегом, никто и никогда его не чистил.

Летом за горой постоянно выли машины, но зима на склоне была безмолвна, только в морозные дни доносился из какой-то неясной, сомнительной дали быстрый и тихий перестук столичной электрички.

В доме Серебра не было ни часов, ни календаря. В доме Серебра была одна комната с одним окном, с печью, столом и с койкой, и ещё — под полом хоронилось ружьё, которым Серебро не пользовался даже гоняя браконьеров.

В его доме не было ни часов, ни календаря, но когда у людей, имеющих и то и другое наступал второй четверг месяца, Серебро отправлялся за реку, и прибывающий с ежемесячной проверкой старший инспектор, прождав до вечера и выпив всю найденную им в доме водку, уходил прочь, за гору, к раздолбанному шоссе, к снегоходу, спрятанному под живописной корягой.

В этом январе, подумал Серебро, он не заявится вообще. С Нового Года снегу прибыло невероятно.

Ожидалась метель.

Серебро пихнул под порог бутылку водки — старшему инспектору, если всё же пожалует, закинул на плечо мешок с зерном, взял трость.

Мелкий, но не колючий снег плескался в слабом ветру, как

плещутся морские волны: торопливо набегал на землю, и откатывался тяжело и с неохотою, обратно в небо, обратно в серую клубящуюся глубину. Метель, подумал Серебро, начнётся ближе к вечеру. Старший инспектор не приедет.

Справа и слева дом огибали две неглубокие канавы, сейчас, как и всё, заметённые почти полностью. Весною по ним сходила с горы талая вода, и до конца лета оба ручья питались родниками. К осени они высыхали, а зимой оставшиеся от ручьёв кюветы служили направляющими, по которым можно было выйти к озеру, не заблудившись на склоне.

Серебро побрёл вниз, грузно выставляя вперёд здоровую — левую — ногу, трость втыкая глубоко в снег. Он решил начать обход с дальних кормушек, поэтому спустился до самого берега, прошёл полкилометра по льду, оставив за собой на целине глубокий изогнутый шрам, а потом начал подъём, наискось, забирая к северо-западу.

На этой стороне горы снега было меньше, и он был плотнее. Опираясь на трость, Серебро карабкался к Голубиной поляне, где находилась самая дальняя в его владениях кормушка. Сосны резво уступали место елям. Деревья, в общем-то, лишь угадывались под слоем густого белого мха, налёгшего на ветви. Боже упаси задеть хоть одну, улыбнулся Серебро. Завалит, как ясный день, сам ни в жизнь не откопаешься. Намело...

Лесные голуби, в отличие от городских, никогда не садятся на землю — дюжина, если не больше, птиц толклась в кормушке, выискивая среди собственного помёта нечаянные зёрна. С приближением Серебра голуби разлетелись по елям, и густой белый мох обрушился наземь так, будто гора ворочалась во сне.

Серебро сыпанул в кормушку пять пригоршен пшена, и ещё две — под неё, потом отошёл немного, сел на валун отдохнуть. Голуби немедленно слетелись завтракать. Об снег ахнулось несколько синиц — натурально, кто-то швырнул их из леса.

Серебро двинулся дальше.

Когда оставалось проверить только две последние кормушки, он присел отдохнуть ещё раз — и почти сразу услышал, как кто-то ломится по склону, по той его части, где был дикий непрореженный сосняк. Трещали сухие ветки и давнишний, трухлявый уже бурелом; Серебро представил, какой там слой снега и как этот кто-то барахтается в нём.

Он уже поднялся и вздохнул с привычною досадой, предвещавшей очередной скандал, как вдруг опомнился: и Рождество и Новый Год давно миновали, а кроме ёлок браконьерам нечего было искать в этом лесу сейчас.

Так, подумал Серебро, делать нечего, надо идти, может быть обойдётся...

Он оставил мешок с остатками корма, и немного поднялся к шуму, зная, что гость всё равно скатится к просеке. У просеки он и подождал.

Сначала из чащи вырвалась незнакомая молодая женщина в заношенном платье — и рухнула без сил в снег. За ней спокойно вышли трое — в наборных поясах, вооружённые, одетые как всадники, но лошадей они, конечно, оставили на Тракте, догадался Серебро. Его заметили сразу.

— ержите ведьму, — обронил один из воинов, направляясь к Серебру. Он был не молод, седые усы свисали ему на грудь, на руках у него не было рукавиц, и Серебро разглядел красные жилистые кисти с длинными крепкими пальцами скалолаза.

Пока Серебро допёр до полыньи узел с их оружием, кольчугами и поясами, промок насквозь. Но, утопив свёрток, он, не отдохнув, направился домой — нельзя было остывать, метель уже началась.

Женщина как привязанная брела за ним, то и дело валясь в сугробы, её заносило. Если бы не усталость и хромота, Серебро ушёл бы от неё сразу.

Поднимаясь, и утопая уже не столько в снегу, сколько в снегопаде, Серебро подумал, что даже если тела и не растерзают звери, до весны их будет не найти.

Серебро обернулся. Она цеплялась голыми руками за камни, за снег, лежащий и кружащийся, за сам воздух, лезла вверх тупо и обречённо, наверняка не соображая, что делает. Не дойдя двух шагов до Серебра, она ничком упала в сугроб. Серебро поднял её, совсем холодную и почти жидкую — казалось, она утекает из его рук.

К чёрту всё, нахмурился Серебро, давно пора мотать отсюда. Что делать со старшим инспектором, если он всё же притащился? Не убивать же его...

Но не приехал старший инспектор.

Серебро бросил женщину к ещё не совсем остывшей печи, сходил за водкой, за дровами, поставил на огонь котелок с кашей, потом переоделся в сухой.

Она быстро отогревалась, а, глотнув водки, совсем пришла в себя и забралась с ногами на скамью в углу. Серебро кинул на пол плед и старое одеяло... посмотрел на неё.

Она была одного с ним возраста, может быть, чуть младше, светлая, с волосами цвета его имени, с яростными, без малого злыми глазами. На Серебро она глядела исподлобья, она ждала, зараннее ненависть его.

Лет десять назад Серебро спросил бы, как её зовут.

За столом на него навалилась усталость — как буран на лес. Непогода потянула из лодыжки рассечённое сухожилие. Серебро вдруг вспомнил, что забыл на просеке трость.

— Если хочешь, — проговорил он устало и глухо, — ложись со мной.

Она замерла над миской, промолчала, Серебро почувствовал, как стучит от ярости кровь в её висках. Лишь бы лампу не швырнула, подумал Серебро, укладываясь в кровать.

Сквозь мутную дрёму и боль в ноге он слышал, что она убирает со стола, потом льёт воду в таз, умывается.

Забравшись под одеяло, она на миг замерла, вытянувшись как покойница — на один миг, потом повернулась к нему. Она была нага, лицо и руки её были холодны после умывания в ледяной воде, а губы — плотно-плотно сжаты.

Она почти отталкивала его, тяжело и ненавидяще дышала, впилась пальцами в его плечи. Серебро словно насиловал её, хотя и не думал её ни к чему принуждать.

Вдруг она мучительно застонала, как-то по-звериному, чуть не плача, а затем разжала пальцы, отпустила его плечи, обхватила его руками за шею будто навсегда. Её губы имели вкус крови, и когда она уснула, Серебро слизывал этот вкус уже со своих собственных губ. Она засыпала, сжавшись в комочек, дыша Серебру в щёку.

Всю жизнь она любила только меня, — и его сердце съежилось то ли от стыда какого-то, то ли от тревоги непонятной, — всю жизнь она боялась этого.

К чёрту всё. Серебро зажмурился. Отсюда давным-давно надо мотать.

Через два дня она ушла.

Серебро смотрел на морозный солнечный день, на краешек озера внизу, а она подошла сзади, и он решил, что она ударит его топором. Две последние ночи она отдавалась ему целенаправленно, без влечения и ласки, внезапно и странно пришедших в первую ночь на смену ненависти.

— ак быстрее дойти до Тракта?

Он указал рукой на северо-запад:

— верх по склону. Сначала будет круто, но потом начнётся ровный лес.

— имо этих камней? — она указала на два валуна, что торчали из снега за руслом левого ручья; они смотрелись на фоне гладкого белого откоса неестественно, почти нелепо.

— а.

— то чьи-то могилы?

Десять лет назад он бы поинтересовался её именем.

— ам лежат два моих племянника.

Она чуть подалась вперёд и тихо, старательно выдерживая голос в одном тембре, спросила:

— ак они умерли?

— егко.

Тогда она двинулась вверх, к Тракту, далеко обойдя могилы.

Серебро постоял на морозе ещё немного, и ушёл собирать вещи.

* * *

Думаю — и я не одинок в этом мнении — что Серебром его называли по аналогии со стивенсоновским Сильвером, тот, помнится, тоже был хром. Точнее, у того вообще не было одной ноги, а у Дядюшки просто не работала правая ступня.

Наверняка он вполне мог ходить и без трости, но таскал её за собой неизменно, эту жуткую дубовую палку, внутри неё, говорили, стальной стержень, набалдашник был — в виде клюва какой-то птицы. Верно, весила его трость целый пуд, а то и больше.

И вот, эдакий: с неподъемной тростью и весь из себя хромой, Дядюшка Серебро непринуждённо опережал меня, присаживался на камешек, и минут по пять ждал, пока я догоню его, и ещё минут пять — пока я отдышусь.

Только осень утешала меня. Хватая ртом воздух, я мысленно улыбался. Вчерашний вечер я посвятил Вакху, и сегодня утром включился больным и разбитым и не выспавшимся, и думал — было такое — что вполне возможно уехать и завтра, со всеми. Но Дядюшка Серебро — морщился я сегодня утром — старый хромой чёрт поедет в горы один, и завтра меня сожрут: «Ты бросил его! Больного! Старого!». Вот какое мучительное у меня было утро. И тухлая электричка, и тёплое пиво на опохмелку, а теперь — Бастион, семьсот шестьдесят четыре метра камней и скользкого мха над уровнем моря. Зато — осень. Зато — берёзы осыпались листьями так, будто этот сентябрь был последним сентябрём мира...

На каждой третьей остановке он вытягивал из кармана рубашки папиросу, продувал её, прикуривал. Сидел, курил, весело смотрел на меня, взмыленного, из-за дымка.

— Чего с остальными не захотел ехать? Подождал бы денёк.

— Лишний день в городе торчать... Фигня такая...

— Глупости говоришь, братец. Лишнего дня быть не может.

А вот сказать ему, что меня всей толпой уговаривали ехать с ним, «больным и старым» — помрёт. Хватят его родимчики вот

прямо здесь. Окочурится со смеху, хрен одноногий. «Больной и старый»... Погодите, сучьи дети, будет вам...

Каждый окурок он аккуратно прятал под камень, потом, крякнув, поднимался, поправлял рюкзак — и, постукивая тростью, уползал вверх. А я уползал следом, неуклюже упирая ладони в колени, матерясь, обливаясь потом, и радуясь тишине и осени — только им, и ничему больше.

А потом, когда уже стала видна вершина, мне пришло в голову, что никто не любит Бастион больше, чем я. Кривой и уродливый, нисколько, на самом-то деле, не похожий на бастион, он ломал горизонт ещё в окне электрички, НО... — с него невозможно было увидеть железную дорогу. И услышать тоже. С него был виден лес. Ещё — Голова Дракона, Недострел, Синюха, безусловно, но всё же лес — больше всего. В основном — лес. В первую очередь — лес.

Вряд ли, размышлял я, видно с вершины, как осыпаются берёзы. Я-то точно не увижу, близорук. Но Дядюшка Серебро — тот ещё типчик, наверняка очков не носит и никогда не носил... Всё увидит, ущербный, даже ветер в лицо разглядит.

Странно смотрелась его хромота при его росте. Был он большой. Не то, чтобы очень уж высокий, а именно большой. Можно было ожидать от него медвежести, слоновости — в общем, неторопливой спокойной силы, слегка при том неуклюжей. А он был подвижен и хром. Описывать словами — так обязательно стороннему человеку покажется, что хромал он как-нибудь изящно, что хромота эта ему шла — ан нет. Его правая нога была увечна — ни больше, ни меньше. Я отмечал несколько раз, как жалостливо обмякали лица людей, впервые наблюдающих его ковыляние. Такой, представьте себе, орёл, муЖЧына в самом расцвете сил — и калека. Что там было с его ногой — не ведаю, но зато лично знаю трёх не перебесившихся ещё девок, которые взяли бы его кадрить, ходи он нормально. Да, это увечье порядком портило образ орла и муЖЧыны в самом расцвете сил.

Мы закончили восхождение в половине девятого. Чтoб мне лопнуть — без меня Дядюшка Серебро оказался бы на вершине не позже шести.

— Переоденься, братец, холодом тянет...

Я полез в рюкзак, а Дядюшка Серебро оседлал вытянутый камень и уставился вдаль. Сидел так, пока я переодевался. Считал ресницы на глазах северного ветра.

В теплой сухой одежде меня разморило.

— Давайте палатку поставим, — вяло предложил я.

— А что, есть ты не хочешь?

Я мотнул головой.

— Иди вздремни, — сказал Дядюшка Серебро. — Будет тебе палатка.

Я без возражений взял свой спальник.

— Ляг вон за той скалой, — кивнул мне колченогий хрыч, — там камень нагрет солнцем, и не дует.

Я лёг за скалой. Камень там был нагрет солнцем, и совсем не дуло.

Я проснулся, должно быть, от зевков уходящего на отдых солнца. Оно затягивало в свою пасть последний свет, и даже ветры, казалось, устремились в багровую беззубую глотку. Впрочем, солнца я не видел. Видел я нависающий надо мной волчьего цвета камень, и немного неба, лилового и пустого.

Было свежо и прохладно истинно по-сентябрьски. Листопадом пахло, чуть-чуть — хвоей, и совсем мало — дымком. Прелесть, что за букет, подумал я и прислушался.

Костёр потрескивал за скалой, шумела водица в котелке или в кружке, и в четверть голоса беседовал с кем-то Дядюшка Серебро. Не могло у меня возникнуть сомнений на тот счёт, что приехал раньше времени кто-то из наших. Даже в голову не пришло, что это чужой сидит там, у костра, и разговаривает с Дядюшкой.

Я собрался вылезти из спального мешка, как неожиданно услышал звук, прервавший на несколько секунд речь пришельца. Пришелец тихонько и с присвистом попыхивал трубкой. Я задумался, вспоминая, кто у нас курит трубку, и вспомнил — никто. Мне стало интересно, я наострил слух.

— ..Не спишь всю ночь из-за него, свечи изводишь, в книгах ковыряешься старых, какие даже мыши жрать отказываются по причине полнейшей несъедобности... — ворчал пришелец, — а этот сосунок заявляется под утро, весёлый, романтический, в петлице — роза. Белая.

— Да оставь ты его, — посоветовал Дядюшка Серебро.

— Вздёрнут парня. Уж я эту голубую кровь не знаю!

— А ведь ругал меня тогда, помнишь?

— То — другое дело. В твои-то годы интриги закручивать...

Да и монарх был боле менее...

— Да уж!

— С чувством юмора, не трус.

— Циников не люблю. Скотина он был, между нами говоря.

— Не в том дело.

— А в чём?

— Эта, знаешь, массовость... Эта толпа... Я понимаю и уважаю, когда ты один на один, или один на всех... Но когда ты в толпе...

— Что ж делать, если просят...

— Действительно...

— Мне это тоже не нравилось, но что делать, если просят...

— То-то, смотрю, на покой ушёл.

— Глупости говоришь, братец. Что ещё в жизни есть, кроме покоя? Это мёртвым волноваться нужно, а я, пока жив — в порядке, я спокоен.

— Имеется и полностью противоположное мнение. Ты, Серебро, Волчий Хребет помнишь?

— А то!

— И как? Понравилось тебе стрелы жопой ловить?

— Не будем об этом...

— А у меня, Серебро, с тех пор борода поседела! Покой! Что ты знаешь о покое! Тридцать лет я с тобой провозился, и сейчас могу констатировать: как ты был первым кандидатом в жмурики, так им и остался! Как ходил ты по краю, так и ходишь! Тридцать лет! Как ты разводил костры на вершинах, так и разводишь!

Дядюшка Серебро рассмеялся:

— Помнишь ещё, да?

— А сейчас я что вижу!

— Здесь можно.

— Нигде нельзя!

— Здесь — можно...

— Нигде нельзя!

— Здесь много чего можно.

— Стрелу в задницу получить!

— Э, нет. Вот с этим тут проблемы.

— Нигде нельзя разводить костры на вершинах, и везде можно получить стрелу в задницу!

— Ну что ты опять...

— Ох, Серебро, не умрёшь ты своей смертью...

— Глупости говоришь, братец. Как бы я ни преставился, это буду я — и концовка, значит, тоже будет моя.

— Давай-давай, цепляйся к словам.

— К ним нельзя прицепиться. Глупости ты, братец, говоришь.

— Безнадёжен...

Дядюшка Серебро вдруг запел, не повышая голоса:

Если тебя кто хватится,
я скажу: не видал.
Главное — до полуночи
быть за хребтом реки,
Мост его не ломал.
Вот мои башмаки...

Голос пришельца ворчливо подхватил:

...Знаю, что не железные —
тяжесть, увы, не в них.
Помни — о неприятностях
предупреждает лай
Гончих или борзых.
Вот тебе каравай...

А я мелко-мелко дрожал в своём спальном мешке. Смеркалось стремительно, и стремительно холодало. На видимом мне черепке неба — теперь он бы тёмно-синего цвета — проклюнулось сразу две звезды, я пораился, что вижу их без очков, но вспомнил, что сейчас я выше, чем обычно.

...В нём слишком много мяготи —
высуши на ветрах.
И не забудь: без разницы —
где, за тобой зима!
Что же. Луна, пора.
Посох найдёшь сама.

Ещё некоторое время Дядюшка Серебро бухтел неразборчиво на тот же мотив, а пришелец выругался шёпотом по поводу погасшей трубки.

— Вот что, Серебро, — произнёс наконец пришелец. — Не надо тебе туда ходить.

— Не надо, так не надо...

— Не надо тебе туда ходить! Ну что, мне упрашивать тебя, что ли?

— Позже. Под настроение.

— Эх-эх-эх...

— Вывернись.

— Там — может быть, и вывернешься, но ты с кем связываешься...

— Хорошо пугать.

— Чего ты на старости лет мощами-то трясешь?... Я думал... Я вздохнул с облегчением...

— Хватит.

— Ты слышал, что стало с третьим сыном твоей сестры?

— Хватит. У меня никогда не было сестры.

— Здесь — да. А там? Серебро? Так не честно! Там у тебя была

сестра! Два племянника! И ещё — третий! Потом, когда ты уже ушёл.

— Хватит.

— Нет! Играешься! Играешься! — капризно шипел пришелец. — Думаешь, там — не так, как здесь? Всё так!

— Знаю.

— Мачеха у него потом была, вот как! Ты ж читал про это, что молчишь?! Ещё до всего читал!

— Будет тебе.

Оба смолкли. Несколько минут, в тишине, пришелец попыхивал трубкой. Я ждал, ждал, а потом решил: они думают, видно, что разбудили меня своим разговором. Тогда я расстегнул «молнию» на спальнике, и вышел к костру.

Он был один. На огне, в закопченной кастрюльке, всё ещё шумела вода; Дядюшка Серебро длинной палкой загонял обратно в пекло беглые угли, сидя у валуна почти правильной кубической формы; запад хило доцветал за спиной Дядюшки. А он был один.

Ещё, кажется, напротив него, за костром, таяло во вкусно пахнущем воздухе аккуратное колечко дыма.

— Не помешал? — спросил я.

— Нет, отчего же, — он вытянул из кармана рубашки папиросу, продул её, прикурил от тлеющей щепки.

— Мне показалось, вы тут разговариваете с кем-то...

— Ты же видишь, — ответил Дядюшка Серебро, — что кроме меня здесь никого нет.

— Вижу, — сказал я, присаживаясь под призрачным колечком. За соседней скалой стояла палатка.

— Ну, братец, — насутился Дядюшка Серебро, — с чего начнём? С коньяка, или с песен?

— С песен, если не трудно.

— Ну почему — трудно? Ты и начинай.

— Лучше вы. Я пока что не распелся.

Дядюшка Серебро с пониманием кивнул. И внезапно завыл. Глухо, протяжно. Надо полагать, это тоже была песня.

* * *

«Великая степь», № 44 (320)

Криминал

Так и так, в четверг, 31 октября, около одиннадцати часов вечера в Центральном парке столицы произошло вооружённое нападение на неопознанного мужчину. Приметы убитого: возраст — 45-50 лет, рост — 187 см., сложения спортивного, глаза карие, волосы тёмные с проседью. Особые (фото 1 — размытое

изображение лица, скорее всего — стоп-кадр из оперативной съёмки): над правой бровью тонкий шрам от недавнего ранения, длиной 3,5 см.; на правой лодыжке застарелый рубец длиной 8 см. Был одет: серый плащ, чёрные поношенные джинсы, чёрные ботинки на шнурках. При себе имел трость с набалдашником в виде птичьей головы.

Приметы подозреваемого: низкого роста, очень широк в плечах, возможно, горбат, руки длинные, ноги сильно искривлены, волосы длинные, тёмные, редкие.

На месте преступления обнаружен нож старинной работы (фото 2 — по виду — натуральная финка, ничего антикварного).

Просьба ко всем, кто располагает сведениями о личности убитого или о личности и местонахождении подозреваемого, обращаться в отделения милиции, или по телефонам 89-90-94 и 02. Конфиденциальность, ежу ясно, гарантируется.

И две фотографии.

2001 г.

Ольга Рожанская

СЛАГАЯСЬ СТРОЙНО

*...на котором все здание, слагаясь
стройно, возрастает в святой
храм в Господе.*

Послание к Ефесеянам 2:21

Я приближался к месту моего назначения. Место моего назначения представляло из себя четырехэтажное здание красного кирпича. Невдалеке маячил грязно-фиолетовый «новый» корпус; и я считал, что тете Ане повезло. Одна из особенностей мест подобного рода состоит в том, что все, что можно покрасить, красится в цвет, дополнительный к цвету исходного материала. Гроб поваленный. Дом скорби. Городская психиатрическая больница №15.

Я перебрался к тете Ане в 38-ом — папа с мамой «уехали в командировку», а меня даже из пионеров не исключили. Тетя Аня работала в районной библиотеке и была свято предана русской литературе. Правда, та для нее кончалась на Короленке. Если читательница с тугими косичками спрашивала Есенина, тетя Аня подавала ей книжку, держа ее впереди себя между большим и указательным пальцами — как серпентолог змею.

Комната, где мы с тетей Аней жили, была похожа на пятигранную трубу, поставленную «на-попа», — старинную барскую квартиру поделили на коммунальные соты. Когда я впервые увидел орган, я был поражен сходством — трубки, стоящие вплотную друг к другу, и каждая звучит по-своему. (Тогда я еще не задумывался о том, как Ему удастся управляться с клавиатурой).

Нам с тетей Аней достались часть каминной полки и фрагмент лепнины на фризе. Из какого мифологического сюжета витала над моим детским грехом облувленная женская ножка — этого я не знаю до сих пор. Когда я заинтересовался этим вопросом, комната за стенкой была уже опечатана; а потом началась война.

На каминной полке стоял гимназический глобус — ветеран, вынырнувший из моря экспроприаций, пожертвовав Южной Австралией. Вечерами, когда сумерки за окном скрывали щит с надписью «А я ем повидло и джем!», мы с тетей Аней «отправлялись в путешествие». Наши путешествия я хорошо помню; и многое из того, что вы прочтете дальше, представляется мне загадкой. Откуда, например, взялся Джефферсон Тимоти? «Из американской жизни» тетя Аня знала только про индейцев. Все объяснения, приходившие мне на ум, — от генетической памяти до мировой

души — я постепенно отбросил. Если вам удастся связать воедино изложенные мною факты — умоляю вас! — разыщите меня через Генриетту Марковну, если та будет еще жива.

После войны с тетей Аней начали происходить странные вещи. Например, когда почтальонша принесла ей пенсию, тетя Аня вдруг поняла, что она — не она, а эта самая почтальонша. И откуда-то узнала, что а) живет она, почтальонша, с дочкой, б) зовут ее дочку Галочкой; и та учится почти без троек, хотя и косенькая, и в) накануне Галочка писала сочинение о лишнем человеке Онегине, время от времени откусывая от плавленого сырка. А однажды, когда тетя Аня проезжала в троллейбусе «Б» мимо площади, которую по привычке называла Триумфальной, она даже стала (правда, ненадолго) памятником Маяковскому и почувствовала, как затекают лицевые мышцы, если постоянно держать подбородок выдвинутым вперед.

— Начальник, дай закурить! (Он, видно, давно поджидал у ворот кого-нибудь из посетителей). Эту несложную просьбу он выразил мычанием и постукиванием по редким зубам заскорузлым указательным пальцем. Я протянул ему пачку «Астры», надорванную сбоку.

Существует неодолимая тяга ума — переносить на высшее законы низшего. (Этим, наверное, объясняется привлекательность и Маркса, и Фрейда). Кто не предвкушал удовольствия, когда собеседник (или книга) делает паузу после оборота: «А на самом деле...»? Конечно, это — мстительное чувство. Но ведь основная тема совсем несложная — особенно, если пренебречь различиями между американским писателем Джеком Лондоном (чей томик я возил за собой с квартиры на квартиру) и тем, кто попросил у меня сегодня закурить во дворе психушки. А если семеро, которые столпились у тети Ани в головах, — только продукт вредных химических реакций в мозгу; если они явились только для того, чтобы послужить иллюстрацией к учебнику психиатрии, — какого черта они выбрали своей жертвой непьющую библиотекаршу, которая ни разу в жизни не написала частицу «не» слитно с глаголом?

— Как мы себя чувствуем, Анна Николаевна?

— Мы-то? Кто как! Мы с вами недурно себя чувствуем, и ба-рышня ваша тоже, потому что вдова испанского коммуниста спила ей, наконец, бостоновую юбку на молнии. А Берия, Лаврентий Павлович, тот похуже себя чувствует; и бесы-малолетки (старшой сказал: «размяться, но не заходить») уже сбили с него пенсне. Вспасиан, император-взяточник, совсем паршиво себя чувствует; и два вольноотпущенника держат его, расслабленного, подмыш-ки, чтобы он умер стоя, как подобает римлянину.

— Какой сегодня день, Анна Николаевна?

— Вот это разумный вопрос! Я замечаю, что медицина делает прогресс. День сегодня — четверг; тут сбиться невозможно, потому что на площади Революции стоит уже гильотина, и посверкивает металлической частью на скупом январском солнце. Это аппарат, говорите, рентгеновский, поглядеть, что у кого внутри? Ну, ну! — вот и я говорю: «внутри»; у кого что. А отчего вы небриты сегодня, господин доктор? Проспали? Я так полагаю, что не проспали вы, а — береженого Бог бережет! опасаетесь вы по четвергам национальной бритвы¹.

— Тетя Аня, — сказал я однажды перед сном и еще перед войной, — я хочу открыть какой-нибудь закон природы.

— охвальное желание! — отозвалась тетя Аня, оторвавшись от счета петель (она постоянно вязала для меня тупорылые варежки, которых я стеснялся перед товарищами и таскал скомканными в кармане пальто). — Как откроешь, доклад сделаешь у нас в библиотеке. Может быть, даже Генриетта Марковна придет послушать.

— Нет, тетя Аня, — возразил я из-под одеяла. — Я хочу секретный закон открыть; понимаешь — вроде военной тайны. Ну, как если бы Ленин, когда он открыл рабочих и крестьян, одному только Сталину объяснил на черных и белых клеточках. А Надежда Константиновна бы думала, что они просто в шахматы играют.

— Что-то в этом есть, — согласилась тетя Аня и вернула очки на переносицу. — Я тоже замечала, что законы природы от употребления портятся.

Я начал открывать свой закон почти сразу же; когда дядя Юра из 6-ой квартиры взял меня на первомайскую демонстрацию, а на жену прикрикнул за занавеску: «Дура ты, Зинка, злопамятная! Пацан, что-ли, ту реквизицию делал?» Я продолжал его открывать в эвакуации, когда татарка Амина принесла нам мерзлой картошки. И сейчас, перетаптываясь под мертвенным больничным светом, я начал облекать его в слова; и слова падали друг на друга с сухим стуком, как шары в билиардную лузу.

— уцший способ заклинить аппарат — это совместить без зазоров все выемки и выступающие части. Этим принципом и руководствовался тот, кто сделал мир незыблемым — и Сталин будет жить вечно, или, по крайней мере, до тех пор, пока цена буханки

¹ 21 января 1793 года, день казни Людовика XVI, был не четвергом, а воскресеньем. Навряд ли доктор об этом знал; равно, как и тетя Аня не догадывалась, что доктор имеет обыкновение бриться безопасной бритвой «жиллет». (Здесь и далее *Авт.*)

черного хлеба, уменьшаясь с каждым таянием снегов, не станет отрицательной величиной. Но движение есть форма существования материи; это мы и по марксизму сдавали; замена счастью оно; а потому — необходим люфт в сочленениях. Так вам и любой механик скажет: «Люфт нужен, хозяин, элфетерия² по-вашему». А чтобы не дребезжало оно на малом ходу — смазка нужна; нельзя, земляки, без смазки. Милос нужна, пока дым не повалил из буксы. Амог необходим, а то сотрутся оси о втулки за считанные тысячелетия. Понял, чего говорю?

— Как не понять, начальник!

А ну, навались, братва, на рукоять! Хорошо пошла, бесшумно почти, только повизгивает слегка художественной литературой. Вот и поползли первые в новое бытие — потерпи, тетя Аня, чуть-чуть осталось! — как колбаски из мясорубки.

* * *

Когда кляла вся плоть
Адамово паденье,
Тогда решил Господь
Поправить положение.

Бесцветному лучу
Велел распасться на семь,
А смоквам — падать наземь.
(Кричали: не хочу!)

Стань непрозрачным мир!
Мазки, ложитесь плотно!
Еще на брачный пир
Не сотканы полотна;

Где страсти всемером,
От красной до лиловой,
Как братья за столом,
Сойдутся — свет по новой

создать. Ты помнишь, мгла
Вздохнула с облегченьем,
Когда в нее свечение
Вонзилось, как игла?

² Elefteria — греч. *свобода*.

Понедельник. Луна. Движение вод

Он почти слеп, этот человек. В Афинах он не сумел разобрать надпись на жертвеннике. AGNOSTO TEO — «неведомому богу». Поистине, только провинциал может предположить, что AGNOSTES TEOS сотворил небо и землю. Так себе богишка, из местных; в роще живет. Просто благочестивы афиняне и вежливы — извиняются перед малым божеством, что руки до него покамест не дошли. Не требует служения рук человеческих! — на что и руки смертному, как не на то, чтобы служить богам? — это спрашиваю у вас я, серебряник Деметрий.

Опыты на людях оставим варварам; но статую мы принесли из придела храма. «Именем Иисуса Назорея — встань и ходи!» Камень не шелохнулся, как и следовало ожидать. Там было много почтенных горожан, и свидетельство их записано. Позже, когда остались только свои, мы и дальше пошли. Лжец, кто обвинит нас в предвзятости! «Именем Артемиды Ефесской — шевельнись камень!» Ну, если совсем по-честному, то полностью-то кумир не ожил (впрочем, отрицательный результат ничего не доказывает); но некоторый душевный подъем все почувствовали.

Савл из Тарса — так его называли, пока он не начал влипать в истории. Бывают такие люди, с которыми вечно что-нибудь случается (и тогда они вспоминают о своем римском гражданстве). Тысячу раз я ездил в Дамаск! — уверяю вас: это совершенно безопасно для зрения. Чем-чем, а глазами я не стал бы рисковать, потому что делаю тонкую работу. От храма — второй проулок налево, там у меня лавочка; мы работаем не только для богини, и берем недорого.

Оттого металлы и названы благородными, что изделия из них переживут своих создателей. Кто Его вспомнит через двести лет, вашего Назареянина? Чтобы увековечить лунный свет (мальчишку оставить без ужина; четыре отливки испортил, поганец!) — разработана особая технология. Сперва в тигле, а потом — резцом, молоточками.

Какого лешего ты оторвал меня от работы? Что еще отмочил тарсянин? (И теперь треножник уже не будет готов к сроку.) Сказал, что прежде, чем залить мир бессмертным светом, богу должно умереть в муках? Подумаешь, новость! Он это знает с чужих слов, а я вижу на небе каждое новолуние. А когда тот, чье имя я стараюсь забыть³, спалил наш храм, разве не сгорело в нас ветхое естество вместе с деревянными переборками? Хуже всего при-

³ Герострат, который сжег храм Артемиды в Ефесе лет за 400 до описываемых событий.

шлось девушкам; каждая, бедняжка, гадала: то ли она позволила своему парню лишнее, то ли это богиня отвернула от мира лицо?

Вообще, девушки — единственные, кто стоит к богине ближе, чем мы, серебряных дел мастера. И если дуре заговорят зубы (у нас такие есть по этому делу ораторы — куда твоему тарсянину!), и та променяет чистоту на горшки да пеленки — богиня лишает ее месячных недомоганий. И кожа теряет молочную белизну — а вольно ж тебе было строить глазки!

Одно хорошо в новом учении — не всем велят скакать по лесам до рассвета. А я что говорил в народном собрании? — каждый своим делом займись. Тогда и будет космос, чертог сияющий; тут — эллины, там варвары, я, скажем, — по серебру мастер, а ты — князь, господствующий в воздухе⁴. Хотя ты и князь, а ко мне не лезь! — ослеп, что ли? плавка идет.

Дело не в том, как выдворить наглеца (это как раз несложно: главное, чтоб одни кричали одно, а другие — другое; и вовремя известить городских начальников), дело в том, как тоску изжить. Где это слыхано, мужи ефесские, чтоб Деметрий по ночам не спал? Ближе к рассвету тоненько так начинает, ровно комарик: «Сделай, Деметрий, серебряную рыбку! Отчего ты не делаешь серебряных рыбок?» — Чур меня! Жнешь, где не сеял! Велика Артемиды в Ефесе! А ну, положи душу на место, где взял! Тут только развесь уши, такой заведут миропорядочек — не то, что эллина от варвара, парня от девки не отличишь.

И, кроме того, — он нас не любит; он любит свою македонскую общину⁵. Кому мы нужны, край ойкумены? — только и есть, что храм, да и тот сгорел. Много ли наработал, Деметрий? Скифам продай; они в курган положат; глядишь, и долежит до последнего дня.

Небеса разверзнутся; Луна пополам треснет; высыпят духи вод, как мальчишки из палестры: «Айда, огольцы, сегодня не будет прилива!» Куда ты потек, сломя голову? — не заметил, как город смыл. Стой! — подбери пряжку, заколи хитон на плече; не будь, как нынешние (те и на Суд придут в туниках с рукавами). Вай, хороша пряжка! Молодец мастер; справа выковал льва, готовящегося к прыжку, слева — буквы маленькие; жаль, некому разбирать. Чья работа? — Видишь дельту? Деметрия из Ефеса.

«Художественные изделия из серебра первых веков н. э., в основном, не сохранились (исключение — единичные находки

⁴ Князь, господствующий в воздухе — сатана (см. Послание к Ефессянам, 2:2).

⁵ Община в македонском городке Фессалоники, к которой обращены 1-ое и 2-ое Послания к Фессалоникийцам, действительно, очень любимая апостолом Павлом.

в скифских курганах). Вину за это варварство следует возложить на христианскую церковь — невежественные монахи переливали античные шедевры на крестики...»

* * *

Словно тесто в опаре,
Всходит Царство в душе;
И искупленной твари
Вижу отблеск уже.

Не ругал он богини,
Не украл с алтаря,
По какой же причине
На ристалище прях?

Будто скифы, шумите;
(Еле двери держу).
Лучше Духа примите,
Как закваску в дежу.

— Выходи, фарисея
сын; языком мели!
Я языки рассеял
Аж до края земли.

Вторник. Марс. Мужество

Жил человек по имени Флоки. Он убил Торкеля с Песчаной Косы — только тот собрался поесть творогу. Больше о них упоминаться не будет; о них и сказано-то только потому, что они на самом деле жили в Исландии.

Торвальд, сын Торстейна, родился рыжим, и не просто рыжим, что иногда случается, а даже пятки у него поросли красной шерстью. Мать его, Асгерд, велела отнести его в пустынное место и оставить там. (Некоторые осуждают ее за это, а некоторые — нет, потому что сама она была уж очень красивая). Так иногда поступали в Исландии до того, как услышали про Распятого Бога; но, во-первых, — только с девочками, а, во-вторых, — уже тогда считалось, что это нехорошо.

Неудивительно, что Торвальд вырос злым. Больше всего он ненавидел женщин, и женщины платили ему тем же. Ни одна не соглашалась пойти за него; догадывалась, стерва, что ее ждет.

Воины не плачут. Боги плачут иногда — или это снег тает? Великаны, бывает, потеют во сне. От этого зарождаются люди; сна-

чала — карлики, сторожить стороны света; а потом — обыкновенные, вроде нас с вами. А воину зачем плакать? И так на острове вернуться негде.

Торвальд убил Олава с Нижних Болот; обул его в башмаки Хель, владычицы бездны. Это случилось в дни переезда, когда рабы меняют хозяев. Весна в том году была ранняя; все словно обезумели, даже собаки лаяли на своих. Вся Исландия любила Олава — кеннинги⁶ у него получались длинные, как коровий хвост, и в игре в мяч он никогда не плутовал. Торвальд не держал зла на Олава; просто весна была ранняя и, к тому же, они повздорили из-за лодки. И, видно, не просто так составлял Олав многозвенные кеннинги; когда клинок вошел в грудь, зубы у него разжались и брызнул наружу мед поэзии; Торвальду на штаны попало. И Торвальд сказал вису (это была первая виса в его жизни, и больше от него такого уже не слышали):

Рухнул Одина дуб.
Жив еще тополь Тора.
Встретимся, брат, в Валгалле!
Там и доскажешь вису.

Сражаться нужно честно. Если противник говорит: «Обожди, друг, мне что-то в глаз попало», — ты опусти топор, пусть он справится со своей бедой. Не как эти болтуны из Дублина — до света гудели, как у них там топят корабли с помощью мощей святого Ултена, а только ты собрался рассказать, как тебя обидели на тинге, — их и след простыл. Квас, и тот, до капли выпили.

Был у Торвальда побратим, Торд Трусоватый. Тот говорил, что можно хитрить в бою. И сам однажды удачно схитрил — вовремя притворился мертвым. А, может, и вправду умер, потому что потом рассказывал странные вещи.

А вот чего уж точно нельзя делать — нельзя бросать точило посреди сарая! Потому что раб заденет его в темноте ногой (кельты — они бестолковые!) и повернется другой кусок точила — тот, что застрял в голове у Тора, когда тот бился с Хрунгиром, каменным великаном. Тор — не Один, он не превратит тебя в мышь; но зачем же понапрасну мучить повелителя молний?

Однажды, как лед стаял, Торвальда понесла нелегкая — дай, думает, погляжу на заморские чудеса. В Лундунаборге⁷ говорили

⁶ Кеннинг — употребительная фигура скальдической поэзии. В висе Торвальда встречаются кеннинги: «дуб Одина» (воин, т. е. Олав) и «тополь Тора» (тоже воин, т. е. сам Торвальд).

⁷ Лундунаборг — Лондон.

тогда по-нашему, только слова были покороче. Это потом у них язык испортился, когда они прохлопали родной остров сыну распутницы⁸. Ну, и вышла заварушка на пиру у ихнего конунга. Торвальд рог опорожнил не до конца (потому рог был — пятый по счету; а он еще хотел послушать сагу). Ближний и шепнул конунгу. Конунг говорит: «Исландец, почему не пьешь?» Торвальд хотел объяснить, что рог уже пятый, а греческий гость возьми да и скажи, да так, что все слышали (у греков считается: главное — чтоб язык был подвешен, а не меч к поясу): «Этих я, — говорит, — знаю! Они как с каторжных галер бежали — пятый век на лавовом поле сидят, огнедышащей горой подпираются». Тут Торвальд и справил нужду — порубил их всех в окрошку. Еле ноги потом унес; спасибо, ветер дул попутный до самой Исландии.

Ночи зимой длинные — чего только не передумаешь! Потому и тинг собирают в начале лета, когда сор уже схлынул с вешней водой, а травы еще не зацвели — мутить душу. Но раз на раз не приходится — когда законоговорителем был Снорри Пустобрех, у всех аж уши заложило; не знали, когда и по домам. Недаром зятя его намекали: если с ним чего случится по дороге, можете не платить за него виру.

За того — виру, за этого — виру; этак и коров не останется. Но жадничать тоже не стоит; Хескульд Скрыга не доплатил людям с Мыса — так те из царства Хель к нему за вирой послали. Торвальд встретил их обоз на дороге, и сразу понял, что они — не живые; у них не было впадинок между носом и верхней губой. И потом, зачем живому спрашивать, как пройти на хутор к Хескульду Скрыге? — живые и так все знают: через лощину, а дальше лужком.

Что было делать Торвальду? — Хескульд, конечно, человек निकудышный, но, все-таки, люди из срединного мира должны стоять друг за друга. А мертвецу и по уху не съездишь; как бы рука к утру не отсохла.

На такой случай крещенные научили Торвальда хорошему приему: как тебя ударят по левой щеке, надо сначала подставить правую, и только потом — рубить сплеча.

* * *

Девку, к которой ходил ночевать, я — судите, мужи! — не обидел: Ей оставляю двенадцать овчин и холсты — по четыре за ночь. (Те, что с похмелья бессилен лежал, я посчитал вполовину.) Мальчику — лодку. Соседу скажи: виру за бабку прощаю.

⁸ Сын распутницы — Вильгельм Завоеватель (Вильхьяльм Незаконнорожденный).

В том, что обрушился хлев на нее, умысла больше не число.
(Все же, покрепче подпорки поставь, чтоб от первой не падали свары!)
Все ли как надо я сделал, мужи, чтобы ветры надули мне парус?
Чтобы свои не послали вдогон, как поеду я в Дублин креститься.

Среда. Меркурий. Смешение языков

Это был не клиент, а землетрясение в Иерихоне, штат Огайо. Надо думать, почтенная мамаша совала ему в детстве бутылочку с нитроглицерином, чтобы он обрел вкус к жизни. Джефф Т. Хиббард и сам не обучался благородным манерам; но когда он говорил: «Недурная погода, сэр!», вам не казалось, что это архангел Гавриил прочищает свой клаксон, чтобы подать сигнал к приостановлению платежей. Дж. Т. сидел в своей конторе на Уолл-стрите и поджидал, пока из клиента выйдет пар.

«Надо дать под коленки чугунным и цинковым, тогда и железнодорожные пойдут на спад. Долго он будет булькать, как кофейник с патентованной бурдой? Можно подумать, его одного надули, когда родили на свет. Сделка состоялась, джентльмены! — выход снизу, не забудьте свой сундучок. Грудным младенцам бесплатно; а таких, как вы, сперва пропесочат на славу. Вы недовольны, мистер? — это не я выдумал; так идет с тех пор, как господа Вельз и Вул уговорили Еву открыть у них кредит».

Дж. Т. не всегда имел контору на Уолл-стрите; начинал он с того, что торговал пилулями вразнос. От изжоги, от безответной любви, от запора, от насморка, от тяги к запредельному — 25 центов упаковка, постоянным покупателям скидка до четвертака. Но потом он изобрел машину от храпения, и дела его пошли на лад.

Машина Хиббарда устроена так: на нос спящего надевается эластичный шланг, другой конец которого заканчивается мембраной. Шланг пропущен под простыню. Вы начинаете храпеть — мембрана начинает вибрировать, отчего клопы (которые плохо переносят вибрацию) выползают из всех щелей и набрасываются на обнаженные части вашего тела. Дешево и респектабельно, установка за счет фирмы; неужели не найдется никого, кто скажет «спасибо» Джефферсону Тимоти?

Человек — это только человек. Что происходит с ним, когда его счет становится шестизначным? Разве у него вырастает лишняя пара глаз на затылке? В детстве Джефф любил фруктовую патоку. Мальчишки мазали ее толстым слоем между двумя ломтями кукурузного хлеба, а нож вытирали о штаны. Надо бы съездить в Коннектикут, проверить: до сих пор там вытирают перочинные ножи о штаны или уже нашли себе другое занятие?

В нашем деле главное — информация. Узнайте, каким пальцем ковырял в носу юный Джордж Вашингтон, и — ставлю плевков против доллара! — вам удастся на время примириться с жизнью. Барон Ротшильд использовал почтовых голубей. Когда Наполеон дал маху при Ватерлоо — те еще настегивали своих кляч по дорогам, а барон уже обеспечил себе хлеб с кошерной ветчиной к завтраку. Но Информация быстро стареет. Я бы не советовал вам жениться на ней, сэр! — вы еще мужчина хоть куда, особенно, если поглядеть с юго-востока.

В Священном Писании сказано: «Там, где ты можешь установить механическую тягу — установи ее; потому что сам был рабом в земле египетской». Дж. Т. часто задумывался о нуждах человечества — обычно во время перерыва на ланч. Вот, например, русские. Движение вперед, бесспорно, необходимо; но, говорят, что если царский поезд застрял в сугробе, они взрывают его бомбой вместо того, чтобы применить систему рычагов. А, между тем, русские вполне способны к сотрудничеству, а некоторые из них даже сумеют поставить крест под контрактом. Только вам придется побороть брезгливость, потому что у них неприятно пахнет изо рта. (Это оттого, что в России не пользуются фабричными зубочистками, а скалывают для этой цели щепу с топорница.) Надо бы наладить поставки туда зубного элексира — это будет по-христиански и не так уж сложно, потому что Волга течет через всю Сибирь. Предприятие представляется почти безопасным, если, конечно, не нападут соболя.

Вы думаете, в Бруклине нет поэзии? Что ж, продолжайте так думать, не хочу вам мешать. Он работал в доках, этот парень; кажется, отец у него был ирландец, если у него вообще когда-нибудь был отец. А она была еврейка из-под Кракова; красивая девчонка, черт меня возьми! и старшая из детей; а их в семье было четырнадцать, сэр. И она топнула ножкой (они здорово умеют топтать ножкой, еврейки из-под Кракова) и сказала: — «Это Америка, папа! Я пойду к адвокату, я пойду к президенту; я не хочу знать, что написано на твоих Скрижалях Завета; я знаю, что написано в Декларации Независимости. Там написано, что девушка имеет право на счастье!» Говорят, что парень стал опорой Бруклинского моста (28-ая, со стороны океана; обратите внимание, если будете проезжать мимо); а девушка — сигнальным фонарем в подземке (4-ый, если считать от моста). Ах, вы уже слышали эту историю? Зачем же вы пришли выводить меня из равновесия перед подведением годового баланса?

Законопроект будет принят послезавтра — информация надежна, как добродетель вашей тетюшки Пэг. Вы понимаете, что

значит «послезавтра»? Это значит, что товар не успеют доставить во Фриско и тихоокеанские испустят дух! Может быть, вы знакомы с мистером Навином и он согласится поделиться с вами своими методами? Ибо написано в книге Праведного: «Стой, солнце, над Гаваоном, доколе груз не пройдет карантинный контроль!» Нет? — так позвольте пожелать вам удачи, а уж я приму свои меры. Плэзенс проводит вас до лифта; не отказывайтесь, сэр, как-никак, 103-й этаж. Но если вздумаете по дороге щипаться, имейте в виду: ее жених увлекается боксом. Я вас предупредил, остальное — дело ваше. Всего наилучшего, сэр!

Выпроводив клиента, Дж. Т. долго говорил по телефону. Покончив со звонками, он расстелил на подоконнике газету, расшнуровал ботинки — сперва левый, а потом правый — и, встав в носках на статью о профсоюзном движении, глубоко вдохнул и сделал два шага в направлении Лонг Айленда. Прежде чем коснуться асфальта, он успел прикинуть, какую прибыль дали бы тихоокеанские, если бы, вопреки воле Всевышнего, их бы удалось спустить по два с четвертью.

* * *

Дождешься подходящего момента,
Чтоб сердце съесть и печень конкурента,
И сядешь небожителем в конторе,
Откуда в день погожий видно море.

Ты видишь море, Джефферсон Т. Хиббард?
Пришла пора конечный сделать выбор.
Ужасный век! — и от подземки грохот,
И легионов тьмы под нами хохот.

Четверг. Юпитер. Власть

Они говорят — я похож на Цезаря. Это некоторые говорят даже в глаза. За глаза они называют меня Людовиком Неуклюжим.

Я король; почему я не могу заставить их выслушать меня? О, эта проклятая живость! Чего они хотят? — Новизны. Я тоже не прочь от новизны; но ведь это совсем не ново — ставить подножки своему королю!

Можно сменить женщину. Но лучшие из них, как две капли воды, похожи на мадам королеву. И потом — это больно. Мой лейб-медик Лассон говорит: Phimosiс. Какой там phimosiс! Я-то знаю, что чувствует ключ, если попытаться втиснуть его в наугад выбранный замок! Я чинил замки, я знаю.

Замок и ключ составляют единое целое. («Да здравствует ко-

роль!» — «Да здравствует нация!» — не так уж важно, что будут кричать). Чтобы произошел поворот, выступления одного должны совпадать со впадинами другого. (Говорят, что в менуэте мадам королева не всегда попадает в такт).

Все-таки, Европа — это несколько дробно. И Польша! Моя теща⁹ заводит Европу, как музыкальную шкатулку, но механизм вечно заедает на Польше.

Хочу ли я стать таким, как все — играть в мяч, транжирить деньги, сверкать, порхать, манить? Бабочки. (О, дьявол, до чего хрупкие статуэтки!) Но им скучно! Потому все и пудрятся. Римляне тоже пудрились, когда скучали.

Бабочка живет один день. Сначала она — гусеница; медленная, близорукая; и дамы визжат, если случается прикоснуться к ней. Много ест. (Я тоже люблю хороший обед; не одни помадки). Безумный день. (Как я попал сюда? Я всегда входил не в те двери. Людовик-Все-Невпопад).

Я не скуп, но не люблю лишних расходов — зачем в Трианоне библиотека? (она стоила 42 тысячи ливров!). Бабочки не читают книг. Я иногда читаю, даже по географии.

Наступает вечер, вечер. Ведь и король должен когда-нибудь спать! Они никогда не спят. Может быть, знают, что им не проснуться поутру? Что делает бабочка, когда наступает вечер? Летит на свечу. «Бабочка-Феникс». Глюк мог бы сочинить такую вещь.

Я близорук, но слышу я хорошо. Совсем не все звуки приятны. У всего народа бурчит в животе — какой Глюк это передаст?

Эта сумасбродка хотела, чтобы в Трианоне был вулкан. Небольшой, но огнедышащий. Ну, уж, дудки! — казна не бездонна. Вообще, пресловутую естественность они понимают несколько причудливо. И этот Руссо, который учит их быть естественными, известен всему миру как человек самых противоестественных наклонностей.

Я люблю Францию. Мы подходим друг другу. Мы друг друга хорошо дополняем; я — покладист, она — ветреница. Ей нравится, когда из-за нее теряют голову. Кто был у тебя первым, та petite? Давай вспомним вместе, я не ревнив. Он¹⁰ нес свою голову в руках добрых четыре лье! — от Монмартра до Сен-Дени. Я надеюсь, меня хотя бы отвезут на повозке.

Людовик Недогадливый. Однажды эти вертопрахи перевели в Трианоне часы — чтобы я пораньше отправился спать. Сказочка

⁹ Мария-Терезия — австрийская императрица.

¹⁰ Святой Денис (Сен-Дени) — покровитель Франции.

о Сандрильоне¹¹, только наоборот. (Надо будет спросить Цезаря — его шевалье выкидывали подобные штуки? Мне будет не доставать их, даже этой дуры Полиньяк).

Сандрильону вводят во дворец — прямо от ямы с углем. Я тоже уступил свою ложу угольщику — в день, когда родилась мадам принцесса. Что, кстати, давали в тот вечер? Я рано ложусь, когда веселье еще в разгаре.

Ключ входит в замок. Нажми сильнее! — или ты боишься надломить зубец? Франция хочет понести, а мои мужские достоинства сомнительны. Однажды я уже ложился под нож — они коновалы, но наследника мадам королеве я, все-таки, сделал.

Брачного договора недостаточно. Теперь придумали общественный договор. Кого они хотят обмануть? Моя теща говорила: «Берегитесь, чтобы король не вышел из себя!» О, она великая государыня! — но только француз может оценить каламбур.

Я податлив. «Безумный день»¹² — дурная пьеса; но они расшумелись, и я разрешил. Разве можно запретить осе жалить? И потом, костюмы уже заказаны.

Говорят: король нерешителен. Но это такая форма движения — на дюйм вперед, на полдюйма назад. Так при зачатии, рождении; каждый раз, когда возникает новое. Если уж поклоняться Природе, то не затыкать уши, когда она преподает урок. Вот только сыровато, это правда. Сырое телосложение (теперь говорят «конституция»), сырой темперамент. Я — сырье. «Выйти из себя» — это толковая идея.

Шесть фурий врываются в Версаль¹³ — «Короля народу!» Надо быть любезным с дамами! — я француз и хорошего рода. Только зачем им такой неловкий кавалер? (Я вечно роняю шляпу из подмышки). Будем считать это смотринами; жених робеет, ему извинят. И этот улыбчивый господин с ними — он все уладит. Кто таков? (согласитесь, *mesdames*, не каждому пристало быть королевским сватом) — доктор Гильотен, депутат от Парижа.

* * *

Добрым подданным дарован,
На все стороны гляжу.
Захочу — Отца Святого
В Авиньон пересажу.
Заноси Престол Петров!
(Припаси для Жанны дров.)

¹¹ Сандрильона (франц. *Cendrillon*) — Золушка.

¹² «Безумный день, или женитьба Фигаро».

¹³ 5 октября 1789 года — «марш женщин» от Парижа до Версаля.

На свидании пастушка
Говорила с пастушком:
«Государи — просто души;
То-то Франция с душком!»
Сир Людовик, не взыщи —
Пятый угол поищи!

Пятница. Венера. Роза и крест

«Odi et amo¹⁴, — говаривал славный рыцарь Катуллус, кавалер мадонны Лесбии. — Odi et amo, и распят на кресте». (Понимай так, что всем на обозрение выставлен — и один, как перст, во вселенной; и муки мои, вечную славу предваряющие, одна лишь смерть может прервать.)

Гийом был подкидыш и знатностью рода похвастаться не мог, если только не фея родила его от беглого тамплиера. Но вырос он при дворе и стал искусен в трубадурском искусстве. Песни у него выходили красивыми, хотя и несколько темноватыми — вроде кидарских шатров¹⁵. Рыцари не всегда понимали их смысл, но дамам они нравились. (Еще Гийом сочинял сирвенты про войну и сатиры на епископов, но те были не Бог весть какие). Потому что сила любви нужна трубадуру, без нее — мертва песня, даже если все строки, кроме припева, кончаются на «-ale»; а жонглеру того не надобно, жонглер и одной сноровкой обойтись может. (Когда деньги бывали на исходе, Гийом и жонглерством не брезговал).

Влечение движет планетами; но не как попало, а дорогой, для тех предназначенной. И если ты видишь, что Веспер восходит в созвездии Лиры, — протри глаза, друг! Не мни, что столкнулся с силой чувства, доселе невиданной; это ты перебрал за обедом у герцога.

Гийом взял себе имя «Дозволенное Преследование» (видит: рыцари накинудись на Роман о Розе, как мыши на сало; как будто мало человеку крещеного имени) и дал обет Пресвятой Троице: не ночевать дважды в одной постели, пока не отыщет новой рифмы на «gloïge». Дамы дивились его пылу; но толку от этого было мало, потому что гостил он тогда при бургундском дворе, а там не понимают по-провансальски. Для дамы он подобрал имя попроще — «Огниво»; и только опасался, как бы пакля не оказалась сырой.

¹⁴ «Odi et amo...» («Ненавижу и люблю...») — начало знаменитого двустипхия Гая Валерия Катулла.

¹⁵ «Темна я и красива, дщери Иерусалимские, как шатры Кидарские» (Песнь песней, 1:4)

Но все сошло наилучшим образом: вспыхнул он ярко, как соломенный сноп. Не все совпало с песней; но многое он угадал с отменной проницательностью. Например — что любовь либо прибывает, либо убывает, в покое же находиться не может. Не пренебрегай мелочами! — она подобна не морской стихии, несущей галеру души к совершенству, а — волнению на оной.

Ну, и что же теперь делать, рыцари? Говорите скорее, а то солома быстро горит! Когда Дух Божий носился над водой — из этого вышли свет и тьма; а когда страсть пожирает внутренность человека — ничего, кроме песни, не выходит наружу. Тут как раз поспеело поветрие; и Гийом удалился от двора и пять недель ходил в деревнях за чумными, потому что всем известно, что жар любовный не дает пристать иной заразе. Пять недель все виланы¹⁶ в округе славили имя дамы Гийома (правда, произносили его на простонародный манер). Но поветрие отошло, а любовь осталась; и на что ее употребить — не сказано у древних философов; только при ходьбе мешается.

Достойный клирик Цицерон пытался удержать Катуллуса от того, чтобы тот выезжал на турниры. Но рыцарь сказал ему: «Если дожидаться, пока дракон похитит даму Лесбию, тоска может и забродить, особенно по весне. Так и Рим погиб — забыли заглянуть под крышку».

Всех ли еретиков перебили за морем? Любовь моя, я подарю тебе частицу Креста, даже если для этого придется сравнять с землей половину Константинополя!

Отчего так: хорошая весть ползет, отдуваясь, как аббат на колокольню, а дурная несется, точно бочка с горы? Слух о гибели Гийома достиг Альбигойской округи раньше, чем его, чуть живого, привезли в Сент-Антони. Дама же, едва до нее дошла эта новость, вступила в общину патаринов¹⁷; тех, что называют себя «чистыми» и более всего заботятся о том, чтобы в Провансе было поменьше народу. «А то, вон, — говорят, — толкотня какая! и дух спертый. Пустынник, когда он идет в город к Причастию, отмахивается от ангелов, как от мух; а рыцари — те и вовсе, спят вповалку».

Я ли не выполнил урока? — наполнил воздух невидимым. Отчего же ты решила, что смерть лучше жизни? Стыдно розе гнущаться перегноем! — из праха земного сотворил нас Господь, рыцаря и даму.

¹⁶ Виланы (от *villain* — грубый, неотесанный) — простолюдины.

¹⁷ Патарины — одно из самоназваний катаров, альбигойских еретиков. Слово «катары» означает «чистые».

Когда Гийом оправился от раны и даже начал понемногу выезжать верхом, многие дамы присылали ему сказать, что просят его развеселиться и забыть ту, злую еретицу. А если какая ему понравится, то охотно примет его на куртуазную службу, чтобы он слагал в ее честь песни и канцоны. Но Гийом отвечал на это, что нельзя в двух различных сражениях потерять одну и ту же правую руку; а поскольку он перестал заботиться о нарядах и доспехах, то дамы понемногу отстали, одна за другой.

Он хотел, было, уйти в монастырь, но старый аббат умер, а молодой больше налегал на алхимию. Святые плакали настоящими слезами, каждый — в свой день; и обитель процветала; но Гийома это мало занимало, слез у него и своих накопело.

Поэтому он отказался от сего намерения и только составил описание водомета провансальскими стихами. Посвящено оно было Алиенор, куртуазной королеве; но посвящение было в прозе и от того не сохранилось. А жаль! — там было несколько удачных оборотов.

* * *

Только старости боятся
В славном городе Тулузе;
Как бесчестия, стыдятся,
Что портной камзол обузил.

Знаешь рыцаря Гийома?
Он читал Роман о Розе,
И с тех пор родного дома
Презирает он пороzi.

Он узнал, что любят дамы,
Кроме яблочных пастилок;
Что течения не прямы
Страсти, дующей в затылок.

И науки куртуазной
Лучший вызубрив учебник,
От последствий буржуазных
Хочет снадобий лечебных.

Но нелепою любовью
Грех не смоешь первородный,
Как из подлого сословья
Не налепишь благородных.

Суббота. Сатурн. Мудрость

Когда Иегуде было 12 лет, он видел рабби Иосю, ученика великого Акивы. В Бетаре, в полдень. Рав Иося лежал на спине, подогнув правую ногу, и свинья копалась у него в животе. Это было в дни подавления восстания Бар-Кохбы, сына Звезды. Обрезание запретил император. Израиль, невеста! Твое обручение с Богом Единым захотел он разорвать. — «Законы о кастрации».

— ремя, — думал Иегуда, мальчик еще, — Время не достанется им. Господь создал Время; каждый день — как роза благоуханная. Римский боров разлегся от Нила до Парфянского царства; места, места мало ему! Пищи ему! — все сожрет он, и детей своих сожрет. Но время выпьем мы; как мед оно, как молоко матери.

Когда Иегуда учился в Александрии (астрономию он изучал у Леонида, а медицину — у Мины, египтянина), перед Пасхой в Ерушалаим посылали гонца — взошел ли ячмень на юге Иудеи? Раньше маяк зажигали на горе Скопус и тысячи огней на горах — вся диаспора была, как костер! Но самаритяне, как всегда, все перепутали. Вот и стали гонца посылать.

— ряд ли, это злой умысел, — думал Иегуда, уже юноша. — Что и взять с человека, если он поклоняется горе? Гора сегодня здесь, а завтра ушла на зов верного. Ерушалаим — и тот ляжет в развалинах. Но срок Пасхи пребудет для еврея. На невидимом костре горим мы, костре времени. Весь мир — диаспора.

Если праздники считать по Луне, по серпу ее тонкорогому (однажды в Бетаре Иегуда заметил узенькую полоску — и хотел мчаться в Ерушалаим; мчаться, нарушая субботу! Но отец сказал: «Мал ты еще свидетельствовать в Синедрионе». И старшего брата послал.), если по Луне считать их — то Пасха пришла, а агнята — еще совсем крохотные. У кого рука на сосунка подымется? Зачем не совместил Господь Луну и Солнце? А чтобы бродил твой ум — как тесто в опаре, как влюбленный под окном; чтобы ты корпел над таблицами.

Когда создал Господь Луну и Солнце, как Солнце сияла Луна. И это Луна была, которая сказала Ему: «Негоже, Господи, двум царям в небе быть. Ты, вот, — Един, Владыка мира». «Ты права, — ответил Единый, — умались». «Я напомнила про Закон Творцу Вселенной, я же и умались!» — обиделась Луна. «Ничего, потерпишь!» — сказал Господь, — звезды поведут вокруг тебя хоровод. И нечего Мне указывать!»

Негоже, евреи, утверждать лунный серп в Синедрионе! Разве диаспора разучилась смотреть на небо? Или мы в диаспоре не умеем загибать пальцы? Да ты погляди на мою ссудную кассу!

В чем мудрость? — довольствоваться малым, не поступаясь

главным. Пасха в Ерушалаиме! — кто знает, сколько раз Иегуда просыпался в слезах? Сначала морем от Александрии до Яффо (если выехать заранее можно заодно успеть сделать в Яффо кое-какие дела); потом через долину Шарон, через горы (горы, как раз, оживают в это время), и — вот он, Ерушалаим, между землей и небом, белый над зеленью, как драгоценный камень в оправе. О, Ерушалаим! И Масличная гора, и гора Храма — вот здесь бывало всесожжение, пока Вышний не разгневался на нас; и первосвященник иудейский ходил по щиколотку в крови.

Нет, Иегуда, не видать тебе Пасхи в Ерушалаиме! — будет богатеть твоя ссудная касса, и внуки твои будут здоровы (а маленький ни слова не говорит, только по-гречески); но Пасхи в Ерушалаиме ты не увидишь. Умались, Иегуда! А вот считалочке ты научишь малыша. Сядь, егоза; не вертись, как ханукальный волчок, повторяй за мной:

Один! Кто знает, что значит один?
Кто ж у нас не знает, что значит один?
Бог один у нас на небе и на земле.

Две скрижали Завета у нас,
три у нас праотца
и четыре праматери;
пять книг Торы,
шесть частей Мишны
и семь дней, считая царицу Субботу.

До обрезания — восемь,
до родов — девять.
А вот десять? Кто знает, что значит десять?

Кто ж у нас не знает, что значит десять? —
Заповедей десять у нас на небе и на земле.

* * *

Молчи, сынок! От жалобы твоей
Господь — неровен час! — сразит народы.
И землю, раз не вышла, ввергнет в воды.
Ты потерпи, и Царь придет скорей.

Не спорь с Предвечным, женщиной рожден!
Он сложен, мир. В нем долг с процентом платят.
И пальцев на одной руке не хватит,
Чтоб сосчитать, за сколько создан дён.

Воскресенье. Солнце. Милость к падшим

Я поднял край. А в Мобеже я отменил телесные наказания. «Полумилорд!» Интересно, кто ему полный милорд? Не родитель ли мой, который в Лондоне помнил наизусть все оды Ломоносова, а потом предал несчастного государя? И с каких это пор я сделался «полукупец»? — А-а! соляная торговля моя вам не понравилась...

И ведь непременно найдется умник, который заключит, что причина всему — в Елизавете Ксаверьевне. Бетси, my dear! Бывают же у мужей подруги, которые если не способствуют в трудах, так, at least, не позорят их на всю Новороссию. Мужики же смеются! А что «полуневежда» — так, ведь, это она ему нашептала, как я однажды спутал Назона с Виргилием.

Тут была дикая степь. Тут Сырчан с ордой ходил! Тут Назон, тот самый, все парусов ждал, и дождаться не мог. Что у меня за дворцом чумаки телегами разъездили — так ты не поленись с горки спуститься, полюбуйся: какова гавань! Десяток лет погоды — я, глядишь, и улицы замощу. Быстро только чужие дети растут.

Эней город на семи холмах поставил; наш державный мастеровой — на болоте с морошкой; а я — в бессарабской степи. Только, что бухта удобная; ни воды пресной нет, ни людишек дельных. Кто будет со вшивыми мужиками возиться? — Не ваши, Elizabeth, столичные щелкоперы.

А мне, между прочим, Карамзин стихи посвящал.

...Любезный, милый отрок,
Ты будешь счастлив в жизни...

Ах, monsieur Карамзин, «Детского чтения» составитель, для чего вы отрокам головы морочите? Счастья нет на этом свете. Там еще весьма замечательные строки были:

...и в ужасе я славил
Величие натуры.

Это для пиитов, Николай Михайлович. Нас, грешных, сохрани Бог от величия натуры.

Милостивые государи, да что ж это творится на белом свете? — ведь тучами, тучами летит! «Which of you have done this?!»¹⁸ Превозмогает все труды. Тут, уж не до Назона — воют же в деревнях. С ребятишками дохнут, измайлово отродье!

¹⁸ «Макбет», акт 3.

«22 мая 1824 г. Одесса, отделение 1-ое, Состоящему в штате моего ведомства коллежскому секретарю Пушкину. Желая удостовериться о количестве появившейся в Херсонской губернии саранчи, поручаю вам отправиться...»

Вы уж не откажите в услуге, господин чиновник 10-го класса. Пожалейте меня, сироту! — обозрите средства, кои к истреблению оной употребляются. Али мы не россияне, Александр Сергеевич? Жалованье, никак, из казны получаете?

Да что вы все заладили: «Глушь, глушь...» — и на Капитолии когда-то волки были. Вам в какие земли угодно-с? — В Париж? В Ливорно? В Александрию? Вон она — Александрия, Херсонской губернии; саранчой только трачена. Так истребить саранчу! — к тому и распоряжения.

«На волю!» — в гостиных-то сидючи. Вольности — они в поэзии хороши; винительный падеж вместо родительного, да и то в меру. А солнце вольно, молодой человек? Если оно у меня в Новороссии наутро с запада встанет — тут нас государь по головке не погладит. Это вам не родительный падеж.

Порядок нерегулярный? Порядок — как у меня в канцелярии; пока не нарушаем мнениями, служит ко всеобщему благоденствию. Души, говорите, нет? А болит-то что? В горниле страстей не сгорает, в житейском море не тонет — как же не вечна?

Правление то иных счастливее, что не требует от подданных чрезвычайностей. А то, что одной только высокой добродетелью стоять может, нам, по подлости нравов, не годится. У лордов британских, свободы сынов, не единому бы вам себялюбию поучиться!

В чем дело, полковник? Рапорт? Так положите во входящие. В стихах? Ну, так что ж, что в стихах? Вы что, хозяйства своего до сих пор не знаете? У нас входящие — в стихах, исходящие — в драматической форме. С хором и интермедиями. «Из Одессы в Санкт-Петербург. Его сиятельству графу Нессельроде — от графа Воронцова — донос». И подите вон, полковник. Оставьте меня, наконец, в покое!

Разврат не затронул сердца его. Ум незрелый ищет щегольнуть оригинальностью (да ты не вчера ли, Lise, его у обедни встретила?); а сердце, в простоте, добрые чувства изливает. Вашими бы устами, молодой человек! — да только не по моему ведомству. У меня, знаете, больше хохлы да татары.

Рапорт, рапорт куда дели, ракалии? Что значит, подшили? Вот две казни египетские: саранча да дурак на казенном месте. На стол положите, под бюст Веллингтона.

Thank you, very much, Александр Сергеевич. Merci beaucoup, monsieur Pouchkine. Спасибо вам на добром слове. Что вы войдете

в славленную нашу литературу — в том я ручаюсь честью моей и ранами, за Россию полученными. Вечерком как-нибудь заезжайте, Елизавета Ксаверьевна будет рада. А сейчас, excuse me, Александр Сергеевич, занят я. Саранча у меня, comprene-vous? Чумаки у меня, соляная торговля. Вы уж простите великодушно — несвободен я в настоящее время. Службой обязан государю моему и отечеству. Смерд-то какой, господа, по всей империи!

* * *

Здесь пел Назон, теперь бранимся мы.
(В кофейнях вонь, да грязь на Итальянской¹⁹).
Играй, Адель! Беги, Адель, альянса!
Не знай печали кратких две зимы.

Свобода, лет младенческих кумир,
В нужде на юге долго жить велела;
И к милости (чтоб не уснуть без дела!) —
Обид не помня, звать подлунный мир.

Послеречь. Из издателя

Читатель привык, что книги, написанные до Коренного Изменения³⁷, обычно не стоят сил, потраченных на преодоление того неудобства, что слова в них следуют одно за другим. Но не будем презирать предшественников за несовершенство! Лучше подумаем: что скажут о нас, чье «Уложение о Мироздании» потонуло в бесконечных поправках? (Ходят слухи, что кто-то из Потаенных Желаний попросту сунул Секретарю в ложноножку).

Рукопись поступила к нам через посредство Обонятельной Луковицы, что тоже не служит солидной гарантией ее качеств (О. Л. — орган, известный своей слабостью к бездоказательным намекам). Но ведь серьезные органы, вроде Пищеварительной Системы, и дела не хотят иметь со временами, с которых заблаговременно не сняты промыслительные пробы. Мы помним, как П. С. безоговорочно отрыгнула гипотезу о происхождении грибов валуев из рода Валуа. (К счастью, той удалось протиснуться, прибегнув к осмотическому благу; и этимология, наконец, заняла подобающее ей место в ряду космогонических дисциплин).

¹⁹ Итальянская улица в Одессе сейчас носит название Пушкинской.

²⁰ Началом Коренного Изменения считается 28-ое сентября года (0-ое открытора), когда в результате ошибки наборщика (тот, будучи вдребезги пьян, набрал «хлеб нова класа» вместо «хлебного кваса») концентрация онтологической взвеси впервые превысила критический уровень.

Перечислив все, что может отвратить читателя от книги, скажем в ее защиту: она правдива, почти понятна и не отнимет у вас много времени.

Рекомендовано для живущих основную жизнь с порядковым номером не ниже третьего или одну из дополнительных.

Цена свободная, но не превышающая художественных достоинств.

Любители старины могут заказать экземпляр, оттиснутый на бумаге (тонкие листы из вываренной и выпаренной на специальной сетке древесной массы), приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена²¹.

²¹ Видимо, послеречь принадлежит первому издатору книги. Однако редакция «Комментариев», не поняв и четверти намеков, осталась убеждена самой уверенностью тона. Поэтому готова под ней (т.е. послеречью) подписаться (*Ред*).

ТАНЕЦ ОБРЕЗАНИЯ Т^ЕОD_{es}CHINI НА ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ

Где был ты, Бурихин, когда Пангея распалась и Америки сегодняшних твоих карт по отдельности тонули, с грохотом удаляясь от Евразии и Африки и принимая облик Юго-Северной Девы западного полушария; и Я увидел, что это совсем неплохо, и я поднял ее на подводных крыльях. И Я понял: пора, и в животе ее, на штыке Порт-Артура(†), так и осталось, будто выскоблено до позвоночника.

Вот она, Юго-Северная Дева [Соединенных {Мною/ее посредством} Континентов] Америки! Вот она, от Гондваны и Лавразии оторвавшись, снова должна бежать от Большой Медведицы Евразийской. *К.Г.Юнгва! Юнгва!* Женское оно! Вот оно *полное отсутствие живота* — в промежутке между Югом и Севером одвуконтинента. А что рук и ног и головы у нее не видно, так ты додумай.

Можешь ты Африку и Китай соединить в одно тело? Вот он, КитАФР, на полусогнутых, с нижним единорогом, следя за Девой. Обезьян святопохоти (affenheil — с твоего, так сказать, немецкого), из лучших афродизиаков в лавке колониальных времен. А в остальном: висит груша, нельзя, нельзя скушать: Аффф!.. рика.

Не забудь волка! (3 раза.) Он Волк Гондванский, Человековолк, Кентавр Гондваны и Лавразии.

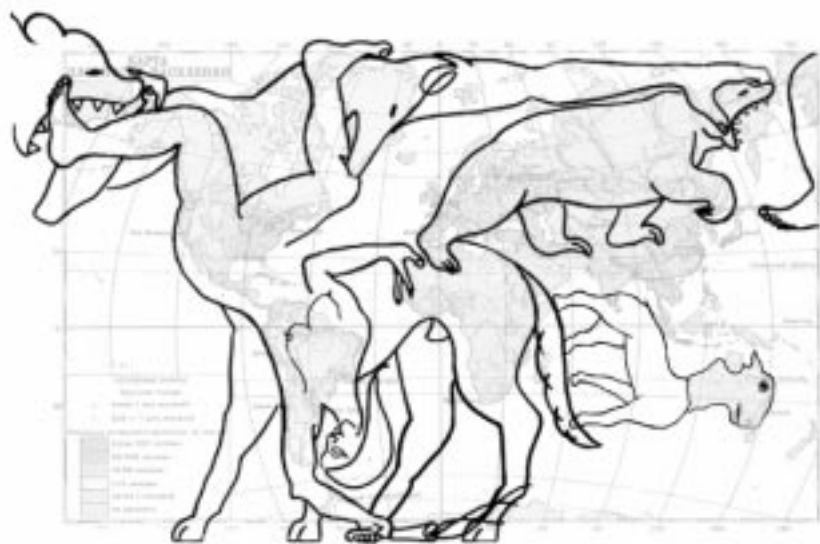
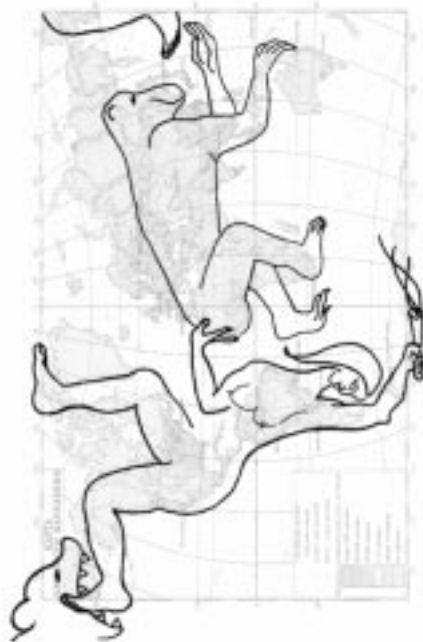
И точно, торс его — человеческий, североамериканский, оскал гренландский, зад африканский, хвост виртуальный, лапы тоже, а руки (которыми он, одной — пасть Евразии хватает, другой отталкивает) — те каждый чувствует.

А ты, ту Деву перевернув, Бурихин, что еще ты можешь! думаешь, сам ты увидел, как она (с fuck'елом своим в Антарктиду) болтается между ног человековолка? А ты его величал кентавром, ибо (уточняя потом ошибку) — мировым *Полканом*, — что *полконом*, мол, по-русски из греческого и значит. А теперь так зовут злого пса обычно.

Вот он, Начальник хора, жандарм Лавразии, если хочешь, и пятки твоей в *корях*. И помыслен он мною держать все земли этого мира покуда вместе, но по отдельности.

Например, вот Австралии голый череп, а с другой стороны — головой ягненка, Ч. Р. Дарвину посв., но не обезьяна, несмотря на это обе. Обезьян, как сказано, рядом, см. картинку.

Или Австрия вот, как ни взглянешь: башмак башмаком, а иначе: Аус!.. триа (вон, мол, аус). То же и с Аус!.. тралией ...



Где был ты, Бурихин, когда *Буря Медведица*, пробежавшая по хребтам *поднебесного азиатского водораздела*, пыталась догнать Америку и укусить ее в колено Аляски, т. е. в самом деле, как »см. на карте«. Но Я разделил их морским проливом, так, что жадный язык Камчатки только лижет голень, мелькнувшую в Алеутах. Скорпион (&, японский бог!) охраняет этот пролив. И Китайский Заяц растет.

Видишь ты ее? — Большую, Бурихин, бурую. Часто называют ее Россией. Видишь ты ее, бегущую, мой читатель, и на хвосте у нее — *Дикая кошка норвежских скал*? Вот уже провалится в Адриатику, вот окно?.. или прямо в Атлантику?.. и тогда одну ее заднюю лапу смотри на Пиренейском полуострове. И, смотри, не путать эту Иберию с Грузией, часть которой в прошлом так называлась (очевидно, недаром). А другой задней лапой она — в сапог Аравийского полуострова: тоже полумира, конечно же, полумесяца ... И прочь оттуда!

Таково превращение бурой Большой Медведицы в еще большую *Медведицу Евразийскую*. И она древнее на этом месте, чем любая Россия и Западная Европа.

А лежащую ее — на боку — ты видишь? Бежит — лежит!

Где был ты, Бурихин, когда *Дикая кошка норвежских скал* на хвосте Большой Медведицы, нависая над Европой, высматривала ее: быком, что ли, краденую? — так это по нашей части... И вдруг застыла, увидев ее Гомункулуса.

Видишь ты, как *Мисс Италия-Провинция*, вырастая из своего сапожка до пределов той дикой кошки, как сомнамбула, становится на хребет *Средиземноморского Левиафана*, и в хвосте его — рисунок границ Израиля, а в ее животе — остроносый профиль по изгибам Рейна? Вот он, некогда Римский — германской нации. Первый набросок Гомункулуса, которому стало тесно в его европейском доме.

Видишь ли ты эту Италию во весь рост? это ведь так просто. И одна ее нога в »сапожке« (со школы), а другой, проходящей, стало быть, по Балканам, она пробует воду, пожалуй, у Пелопоннеса, там, где »колыбель человечества« ее, значит. Не раз уже объединяли эту Европу, и то ли будет!

А видишь ли ты, собственно, *Левиафана Средиземного моря*? Где ты был и что читаешь, читатель ты мой неверный, когда Я тут все выбрасываю на берег смутного этого Рыбозмея, никак не поймешь какого, как и прежде выбрасывал ... (А *рыбу* твою — в корзину, текст — никуда, писатель ...)

И он бился в разломах земли, отделяя Африку от Европы, как на сковородке (и как *рыба* живого текста). И бывал крокодилом. И стал дельфином, хвост которого можно узнать сегодня в очертаниях Израиля ... И в Европе проступали черты западного полуострова Азиатского континента.

Итак, Бурихин, видишь ты, наконец, то, что видит Дикая кошка норвежских скал на хвосте Большой Медведицы, нависая над Европой, а именно: как Европа превращается в Гомункулуса, головой которого служит Иберийский полуостров, как уже сказано. И тогда, естественно, вот он, сунув руку в Итальянский сапог, фаланги другой рассыпаны в островах Греческого архипелага. Видишь ли ты Западную Европу, будто беременную им снова и снова, и, конечно, Я опять разрешу ее от навязчивых этих, так сказать, мыслей... А на самом деле, черти-господи-поberi, все эти *Idée-fuck-порождения*, — головные, а все через то же зеркало, вагинальное то есть, и сам ты i.b.idem.

Да, *Гомункулус Европы*, скажу я тебе!.. *Гомункулус (объединения) Европы* ... Слишком человеческое по Мне все это, включая призраки сумеречных твоих состояний. Между тем, он всегда на своем месте, как и на карте. Видишь, как встречается он — через щель Гибралтара — нос в нос с *Африканским Сфинксом*. И одна его нога турецкая, значит, согнутая в колене, с кавказской пяткой, — здесь такого турка построить можно на всю Европу! А другой он достает до Урала. И так просто его не турнешь, как письмом султану. Каждый раз *Черепаша Москвы*, что камень, ему в колено.

И в руках его скользит Средиземное море, пускай дельфином: все равно ты не узнаешь, что за зверь Левиафан тот и как он выглядел, а хвост — как сказано. А крыло у *Гомункулуса Европы* одно, от хребта, английское. И в руках у него, будто руль, рога (того самого быка, или богородичный месяц, смотри в ногах мисс Италии-Провинции). А бывает в руках у него коса, и тогда он идет скелетом, будто мастер всех сказанных превращений.

Как его не увидеть теперь везде, в школе и на конференциях Евро-дома, вылезающего из живота девушки прогнозов погоды, пролетающего на борту туравтобусов — несколько раком, пожалуй, но ты, подумав, поверни свою карту на 90 по часовой, а еще подумав, верни обратно, если шая, конечно совсем не свернется влево ... И т. п. д.

Символы похищений Европы, читай, как список всего, что похищено ею. И теперь это снова называется объединением Европы. И покуда можно остановиться, но многоточие ...



И, наконец, что толку, Бурихин, что ты видишь, затвердив: остроносая маска, будто снятая с *Крошки Цахеса*, по прозванию *West Germany*, и кулак Восточной Германии ему в затылок. А в кулаке (как бы взрывателем этой атомной бомбы, начинка которой поделена на две докритических массы) — в зигзагах своей стены — тем не менее *Круглое* (!) тело Западного Берлина. Вот смотри еще раз. Я снимаю ее, эту стену, сметаю до основания. Воссоединение превыше всего! И вот мы находимся внутри взрыва ...

Снова включается запись рушащихся на деревянном полу пластиковых ящиков из инсталляции «Набросок Новой Церкви», теперь она озвучивает падение Берлинской стены в хищных ее зигзагах — как бы в рюшах юбки *Космической Девы* («падающей Софии»). Одновременно звучат «взрывные» текст-фрагменты, так называемые *звукомоторы* к теме перформанса, а именно:

Исчезает *Круглое тело Западного Берлина*
яблоко раздора, оставшееся
от Второй мировой войны.
Исчезает *Круглое тело Западного Берлина* —
остров, летавший сам, наособицу
от обеих Германий и от всего мира.
Исчезает *Круглое тело Западного Берлина*,
расширяясь до пределов земного шара,
а мы считаем, что это еще не взрыв.
Но, как при взрыве *Круглого тела Западного Берлина*,
тектонические звери земли — и все мы — должны бежать
от всего, что тут зрело сомнительным этим телом.
Но при взрыве *Круглого тела Западного Берлина*
остается лишь *Круглое тело Западного Берлина*
и тот свет его: *Круглым телом Западного Берлина*, —
вечно в зигзагах стены, что в рюшах
юбки космической Девы, вечно
в танце обрезания T^hODESCHINI
на падение Берлинской стены. /Точка/

1983—1989



*Круглое тело Западного Берлина
Круглое тело Западного Берлина
Круглое тело Западного Берлина
во имя всех святых герметизма
здесь, в Германии, помилуй нас, грешных!*

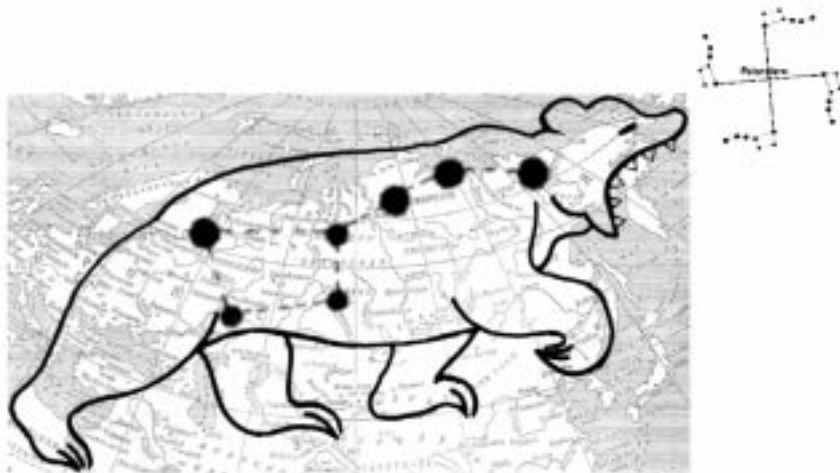
ЭПИЛОГ I (1991: *И вот мы находимся внутри взрыва*)

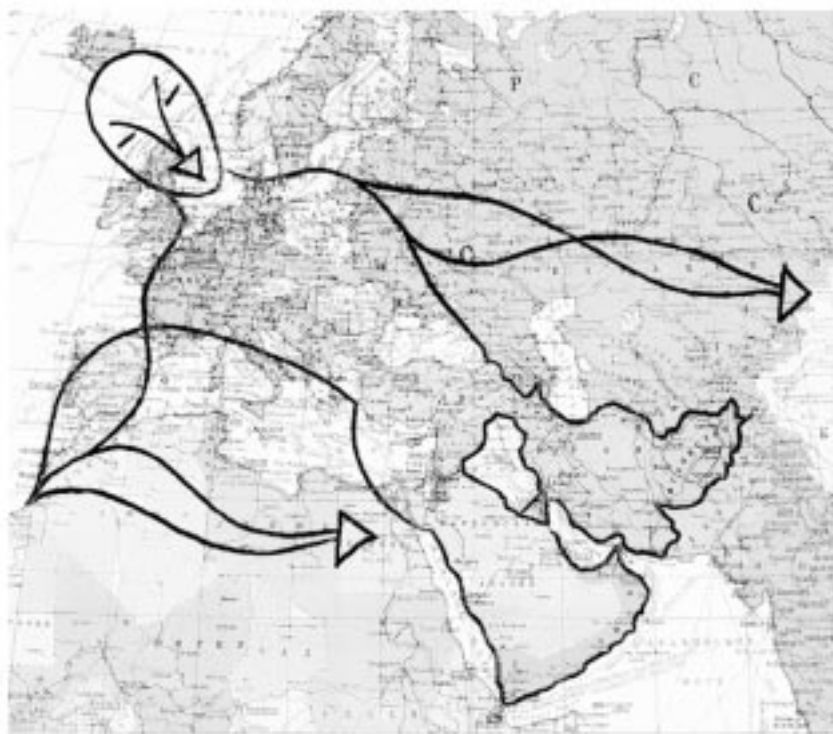
Далее, до слов: *И вот, бурихи, вы все это ...* — следует некоторое количество «картинок» и надписей, лапидарных звукомоторов и бессловесных показов ИЗ КНИГИ. ПОСЛЕДНЕЙ. ФРАГМЕНТОВ, напр., в такой последовательности и под эпитрафом: *Небо в ритмах ландшафта*.

При взрыве Круглого тела Западного Берлина — Большая Медведица Евразийская, с перебитым хребтом, что небесным ее ковшом, трещит по швам, теряет Западные области и, забыв догонять Америку, просится на небо.

И так далее, взрыв на взрыве. Воссоединение Европы, СССР, СНГ&Е-убунген (*Übungen-Uebungen* по-немецки) ... Взрывные смеси — превыше всего, конечно!

Взрыв Мусульманского мира: восстание Вавилонской башни (Ирак ⇒ Кувейт), танец дервиша. Япония (скорпион) поглощает Сахалин и Курилы. Китайский Заяц растет. Он уже сидит на твоём плече, вместо голубя мира.





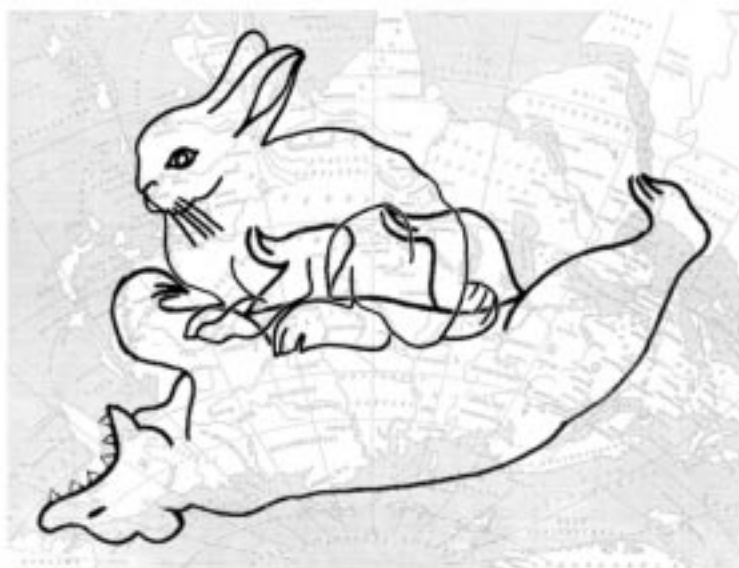
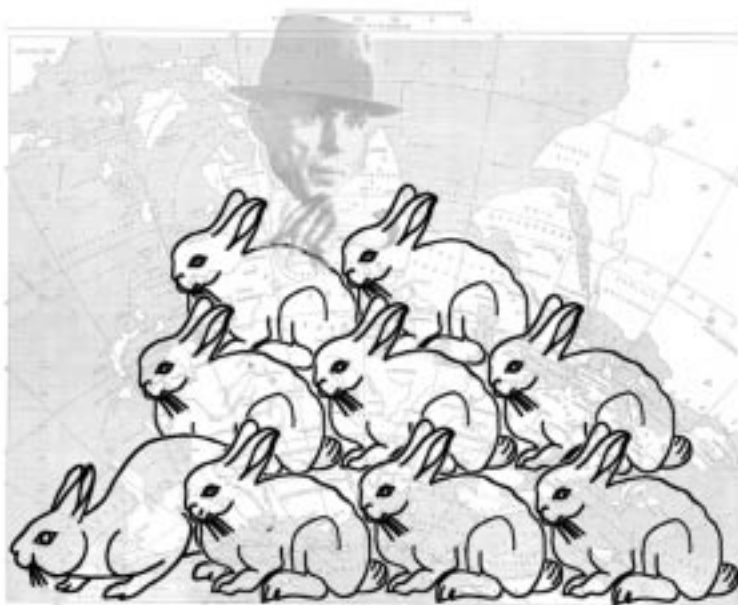
Еще заяц ... еще заяц ... еще заяц ... (3 раза, для Й. Бойса.) Наступление зайцев, все зайцы — мира. На китайской границе спокойно, господин Ель Цин! ... Ель Цин! ... И так все далее.

Мы, европейцы, не единственные люди на земле. Мы — всего лишь полуостров Азии. К. Г. Юнг! И тем более: если смотришь на карту, то сразу видно, что под *мы, европейцы*, здесь понимается только Западная Европа, даже не Центральная, и тем более не вся та Европа, что до Урала. Слова, слова. И все крылатые, разумеется.

А вот смотри, оно (же и) происходит: Превращение Большой Медведицы в Круглое тело Евразийского континента, т. е. в Черепаху. И Бегемот транссибирского коридора на ее панцире. Двуглавый, как тяни-толкай. Путь Чингисхана — Ермака. Еще один всеевразийский герб.

Русское море кипит. Китайский заяц растет (заяц мира, конечно, т. е. снова Бойс — вместо Пикассо). Китайский заяц попадает в танец дервиша. Равновесие Красного креста и Красного полумесяца держится на Китайском зайце. Еще заяц ... еще заяц ... еще заяц ... все исчезает. Превращение Китайского зайца в Сфинкса. Он и так всегда над Сибирью, переверни карту, вот он, с ушами Индокитая да Индостана.



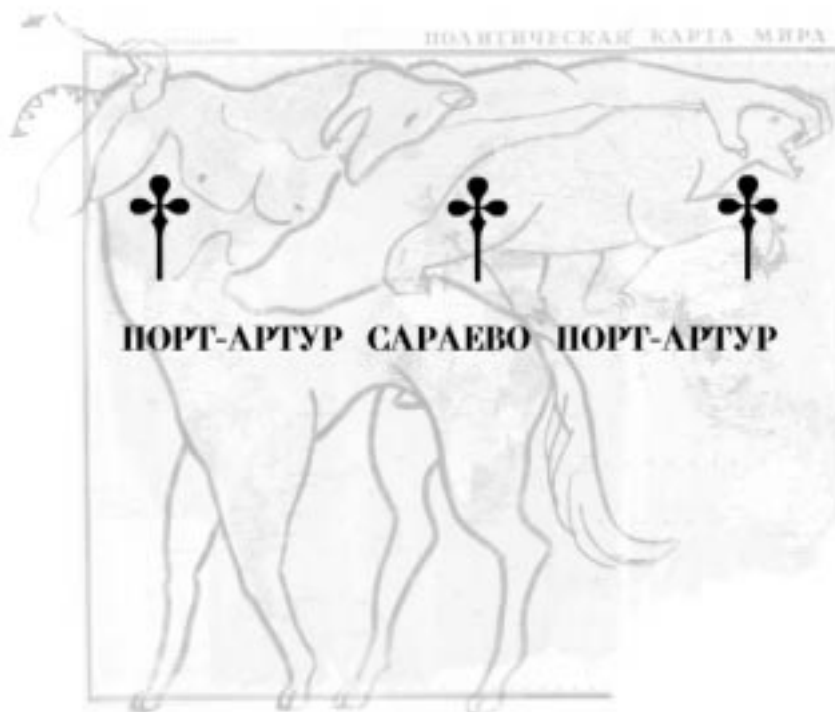


Не забудь волка! (3 раза.) Он – Волк Гондванский, Человеко-волк, Полкан Пангеи! *Постоль и шлется Им эта рука!* (В переводе из М. Лютера, Дан. 5, 24. – I. B. TEOD.)

Небо в ритмах пищеварения, небо в ритмах...

Порт Артур † Сараево † Порт Артур † Сараево ... (и так далее). См. кресты на карте: † для †EODesCHINI. Три столицы мира на одном поясе широты. Это о гибели сверхдержав. О динамике повторения мировых войн. Проще, чем Нострадамус (и в Амстердам съездить. Впрочем, путь врагов Просперо из Неаполя до Милана лежит, как сказано, через Бермудские острова).

Крест, фрагмент лабиринта ...



ЭПИЛОГ 2 (И. Б. Т^ЕОД)

И вот, Бурихин, ты все это слышал и видел, и записал с моего голоса. Ну и что? Где же ты теперь? Остаешься в Германии, остаешься в России. Ногой здесь, ногой там. Прямо по-гулливерски. Или на семимильных. Даже вверх ногой — понятно: Бесы, Воздух, прости: Весы (клавиши «водят»), Таро-повешенник. Это как раз для »маятника«. Так и болтаешься, значит, между Москвой и Кёльном. Самолетом даже. И все по самости. Дело, дело. И все же давно ты умер. И снова умер. И снова. Совсем покойник, только вот дергаешься, убогий, как гальванизированная лягушка. ТОТ, который *tot*, повторяешь. Старые тексты, гнилые, мучишь, а толку? Никакого. И никакого тебе тут прочЩ. Одно слово, *кончай* ты, Бурихин по прозвищу Бурихин.

Ан не кончается. Хорошо, скажи снова, попробуй: сам ты, мол, и Т^ЕОД, Бурихин. Т^ЕО и т. д., коли хочешь. И тем самым Т^ЕОDesCHINI уже с тобой, в тебе. Сам ты Т^Е! OD! es! CHINI ... Точно все расширяет. И он ведет тебя через смерть, как от жизни, конечно, и все же к дальнейшей жизни. Так что и *и т. д.* становится неуместно. И только ты не можешь этого больше вынести. И пожалуйста. Не можешь — не выноси. Но иначе не бывает, Бурихин. Такова смертожизнь, жизнесмерть, как хочешь. А и не хочешь — в самоубийстве сама смерть заходит в тебе в тупик. Эко-тупик, генетический код человека, быть может. Но таков и есть ты, Бурихин. И таков твой Обох, Ничегох. И все же Т^ЕОDesCHINI.

Может, нужно тебе просто собраться, пройтись, встряхнуться. Как вот этой Германии, что там взрыв! Может, должен ты полностью раствориться в мутных безднах, *рассеяться*, как записано в имени бегущей твоей Медведицы, — и да светится, и *мутное* станет *Млечным*. И все такое. Я не знаю. Еще не знаю, еще Бурихин. Но ты это, может быть, узнаешь. Так или иначе узнаешь. Аминь. (Все та же точка.)

ЭПИЛОГ 3 (Фауст III): Ну, видишь, так я и говорил, говорит Т.: вот уже ты видишь в том кулаке (Вост. Германии), может быть, вовсе и не кулак, а, пожалуй, знак вопроса, а то и — ухо (?), чтобы лучше, мол, слышать, что ты бормочешь. Фауст III, так сказать. Ибо ухо наше самый-то лабиринт, как известно, и содержит. И крест — фрагмент лабиринта, Бурихин.



Здесь снова демонстрируется звук «взрыва», но вместо грохота ящиков здесь, собственно, и начинается чтение. Читается то, для чего по сути дела и воздвигались все эти «ящики» текста и изображений, т. е. «медитативно-взрывные» звукомоторы из цикла *Круглые тела или оргазмы звука*, и в первую очередь это — *Дырб улац ала, во ролу распятое...* Но можно ограничиться повторением основной темы *Медитациями в Круглом теле Западного Берлина*:

КРУГЛОЕ ТЕЛО ЗАПАДНОГО БЕРЛИНА
 КРУГЛОЕ ТЕЛО ЗАПАДНОГО БЕРЛИНА
 КРУГЛОЕ ТЕЛО ЗАПАДНОГО БЕРЛИНА
 во имя всех святых герметизма
 здесь, в Германии,
 помилуй нас грешных!



А ТАКУЮ КАРТУ МИРА ТЫ ВИДЕЛ?
(ЭПИЛОГ 2003: УНИГЛОБАЛЬ)

КОНЕЦ

Андрей Тавров

SANCTUS

Середина марта 2003 года, в Междуречьи столпотворение полчищ у ворот Ада. А в подмосковной деревне поэт Андрей Тавров заканчивает поэму, герой которой участвует в шествии образов, предметов, других героев, литературных и реальных, по направлению к входу в Рай. Чтобы разобраться во всех деталях переживаний свидетеля этого шествия преображаемых и преображённых, нужно предпринять исследование, написать многоуровневые комментарии. Учесть отсылки к алхимическим мифам и распутать эволюционные перекрещивания средневекового театра и жития католических святых. Это университетское задание. И так бы и осталось в рамках реферативной работы, если бы не потрясающая неожиданность образов поэмы, которые находятся в уникальном безразличии к конечным своим смыслам, которых нет только потому, что смыслы не бывают конечными. И вы, читатель, оставьте надежду перед воротами Рая на нахождение законченных определений. Это, пожалуйста, в противоположном направлении, у других ворот. Sanctus — герой поэмы, владелец «Земли Святых», я бы сказал, сети открытых коммуникаций и преображений, свидетель и участник событий, в которых всё, что становится достоянием его расширяющегося восприятия, лишается оболочек и проявляет свою внутреннюю форму. И эта форма лишена твёрдости, статики. Она флуктуирует и меняется, как пойманный Бенуа Мандельбротом хаос, перепрыгивает из одного бассейна памяти в другой, как мимесы у Ричарда Давкинса.

Алексей Парщиков

1.

Венецианская игрушка у тебя в руках — театр со снегом,
Переверни — блеснет, соберутся под купол хлопья:
ангелы и дельфины — старинная рифма просится в руки.
Все, что было, в том числе твои плечи — становится слепком.
Источаясь, лоб обхватывает пространство и ловит

дельфина пленкой вакуумной упаковки; Sanctus
владеет исчезновением ангела и дельфина.
Пленка держится дольше, но тоже уходит в август,
как сон рядом с тающим льдом, чья середина
неуловима, если внутри отгаивает ундина.

Sanctus владеет собой — единорогом, ничем не владеет он,
кроме Земли Святых.

Матовые слепки — снежки пятипалого лба
в теплом воздухе обрастают подробностями — хвостом или нимбом,
крестом и костром для девы, прозрачным лимбом,
который есть твоё тело не вдалеке столба.

Чашка кофе в баре. Игрушка в руках со снегом.
Бывший горком напротив с восковой Троицей у Мамре.
Авраам — нелеп. Ты стоишь в костре-
самолете, Жанна, балансируя, двигаешься ко мне —
твой одноколесен конь, он завит в ракушку.

Тебе Бог говорит простые вещи.
Размотав сфинкса найдешь под подушкой катушку,
сквозь нее увидишь ангела, из ниток сошьешь рубашку.
Время мне тягостно, как беременной, — говоришь солдатам.
Я бы взял тебя в дирижабль, несущий распятие ждущей руке.

Я сижу в баре с той, о которой мечтал трижды.
Четыре стихии слепили ее, как раковину моллюск.
Я Sanctus, и я плачу у костра,
что вежды возносит к небу на ветке вишни,
вросшей в череп Адама. Даль клубится, быстра.

Господи, в этой рубашке я, Хирон,
вымирал до девы, освещающей небо льдинам.
Ров вырыт в ангеле дельфином,
выпрыгивающем из его бутылки —
сгущенья мест, где мы любили.

2.

В муху падая, как в колодец, сгущается небо,
прежде, чем сдаться, принимает формы медведя, волка и антилопы,
но все кончается небом внутри изумрудной твари —
Аттикой с парусами среди раздевшейся Каллиопы
полета, разбежавшегося вдоль наклеенных полушарий

неба. И весит она теперь, как пуля,
в которую впрессована жизнь роты.
Тихий бриз колышет व्यюнок на колонне — пусты Фермопилы.
Чтоб то, чем пишется строчка, двойником заходило в гроты,
вылей на голову золотые чернила.

Бриз над холмами. Мрамор скамьи
пульсирует, как рысь в мешке, как дева
в перекрученном платье, обозначив коленку.
Солнечные зайчики облепили колонну.
Сядешь на мрамор — уйдешь под воду.

Юность Европы галлов! Яйцо событий!
Руки ее сквозят в аллее, как окнами поезд,
она — вазелин, влитый в незримый эйдос.
Раковина губ нестерпима, как сильный полюс
магнита, стягивающего в дугу солнечный хруст пейзажа.

Рысь вьется флагом. Ангелы с инструментами —
виола, мандолина, чембало, клавикорды
не выявлены дешифровальной сеткой взгляда —
кажутся фрагментами виллы, разрытой синью.
В квадратах зренья — взвешенный сын Гермеса.

Глаз — точка сборки. В нем золото Солнца с переводной программой.
Птицы щебечут — сойки зяблики, воробьи.
Твоей спиной я вынута, как мрамор,
и в нише от меня растет одно «люблю».
И я себя из воздуха леплю.

Какие медовые соты в воздухе, какие
поцелуи. Прыгай, Салмакида, в серебряный под волнами виноград —
в прыжок Гермафродита. И нагие
мириады шариков удваивали пол,
и мозг каштана поднял их на ствол.

3.

Единственная жемчужина не для купца, а для тебя самого, Господь —
кто это или что? — вопрошает Sanctus в зимнем порту.
Язык его, как пес без ног и без рук,
делает круг и вновь застревает во рту.
Яхта скрипит и утка летит на звук.

Кто же из них: Франциск? Александр? Тереза? Андрей?
Или Сын твой? Или весь восставший Адам?
Бог молчит, как всегда, когда говоришь ты сам.
Снег летит между рюмок, ножек столов и рей.
Санктус вслушивается в розовую раковину с фортепьяно внутри.

Жанна молится в Пуатье, я держу раковину, как птица, бос.
Взгляд епископа левитирует под потолком, словно мела брус.
Ее молитва восходит лестницей в парусах.
Я бы обнял тебя эрмитажным «фонтаном слез»,
подхватил ракушками разошедшееся в хрустальную клетку тело.

По лестнице — лвы, фазаны, медведи молитвы,
ястребы, козы — вся живность Франции и остального
мира взбирается к Богу, перегоняя друг друга.
Бог раздает им перья, чернила и бритвы,
льву дает щит и копьё и кентавру — факел и флаг для Жанны.

Пишут новую хартию, складывают слова,
путаясь в крыльях разгоревшихся в ночные пожары,
подгоняют себя под смысл, комбинируют варианты, выводят льва
их лифта себя — на разные этажи мира,
похожего Африкой на льва, Антарктидой — на льва анфас, Европой на
лиру.

На каком этаже языка говорил серафим?
На каком — ягуар, пингвины и туры?
— На лучшем, чем ваш. Архангел пел и парил.
Я ходила за овцами. На дворе кудахтали куры. Петух пропал.
Михаил — это птица, слитая сразу из всех зеркал.

— Когда такая сядет на ладонь,
ее растёт сиреневый накал.
Бог жжет ее и говорит с тобой.
— И что же Он тебе сказал?
— Спаси мою Францию, Жанна.

Песня 2. Луна

Ткет серебро женских заколок. Уголок глаза
выпуклый, как улитка. Она облизывает губы:
быть всему! Метафоры — вещественны, не дигитальны.
Аэроплана хвост торчит из лупы
Луны. В чашобе газа бродит Актеон.

Они бугрятся, воздуха наросты,
чтоб выпростаться в зеркало, медведя,
аэроплан, летящий под луной,
улитку, что с лица уносит веко

и пригоршни монет бросает в ветер.
Уносит танк подробности пейзажа
на гусеницах. В башне, не касаясь,
парит, как красный бархат сонной логи
ночная бабочка, вращая ствол.
Скоба и спуск — у Артемиды под лопаткой.

Мы не проявлены. Мы до сих пор внутри
пространства меж орлом и решкой — вне монеты, —
растянуты, как пьяная гармонь
меж двух ладоней прежде сжатой Леты,
обол во рту и в бабочке — огонь.

Я пятипало чей-то профиль грею,
пока рука идет сквозь воздух. Он меня
узнает, вычитая из себя
те пленки теплоты и темноты,
что держат на носилках день Помпеи.

Предметы вырастают из желанья.
В том месте кисти, что вовек не взять,
чтоб глаз зацвел грибообразный и живучий —
жест австралийской раковины, плюс
моллюском — Полифем гремучий.

Из ртути — Артемида над ручьем,
рожденная от глаза с тонкой кожей.
А между — танк, размазавший живьем
арбуз из Актеона вдоль по тракам.
Сияет кружево над девственным коленом.

2.

Ты танцуешь свой танец в прозрачном слоне,
там где липа висит зеленой листвою над каналом.
Ты расширена — вне, в рукаве и длине,
завернувшись в прозрачный объем пятипалый.
Ходит ветер ментоловый — ножом по спине.

Ты танцуешь свой танец, охлаждающий округу,
он ступает на задних, хоботом крутит луну,
мнет герметик розовый неба, роняет слюну.
Светляки залетают в его морозильную тишину.
Ты чуешь африку его хрупких границ по звуку.

Ты не магнитом расширена и не Мариной Бурбон —
сияньем слоновой грации, отдачей земли,
прозрачным увальнем, забирающим лето в полон,
зеленью Грибоедова, львом и крылом — вдали.
Воздушный твой айсберг — гремящий слон.

Тебя не прижать к решетке, но взять дирижаблем
Воздух вокруг закручен слоновобразно, как возле Феррари.
Руно ледяное с серебряной каплей.
Повадки, заколка, патлы, как у последней твари.
Ты танцуешь, красотка, рэп, тугой, как пневматический выстрел.

Так танцевала Жанна внутри лохматого воздуха.
Морозный танец внутри слона Ганнибала —
внутри липовой твари Христовой, зеленой.
Когда отходила створка, она выпадала
в объем атаки — девой верхом на коне.

— Аве Мария, радуйся благодатная.
Слон молитвы и слон атаки — одно.
Я плачу, когда вижу Твоего Сына, потому что
никто не любил меня так, как Он —
с золотыми бивнями гневный и кроткий Слон.

3.

Матовый подсвет дня, белые с шелком шорты,
длина неподвижных ног сдвигает вниз переулочек,
как если шагнуть на вкопанный эскалатор.
Застывший Санктус, смерзшихся снов авиатор,
паутинкой летит в зубах леопардовой морды.

Sanctus целующий, поиграй сухим льдом розовой Галатеи,
возьми разморозку в губы, прoderни сквозь пасть уздечку,
лохмотья кожи оставь на ключах в азоте,
возьми ее за руку, отведи деву за речку,
пресную речку Пресни, где в чемодане тротила щелкает соловей.

Никому не говори, как это будет, ни стеклянному самолету,
ни красному волку, ни губной помаде,
аэроплан любви проведи по воде, по вате,
не прикидывайся ни кем. Не говори, что не хочешь
с ней спать. Но ты хочешь большего, Sanctus.

Иди, не боясь, туда, куда волк не ходит.
Надень прозрачные туфельки, поменяй пол.
Услышь, как щекочет пером шелк неба щегол.
Веди ее к речке воздушных шаров и парфюма, сажай за стол
с вросшим в субмарину красным матросом трюма.

Говори так, чтоб тебя поняли. Это Город.
Тебе не много осталось, ей — больше, скажи об этом.
Единорог играет звонким летом,
Москву подкидывая шариками с вмерзшим
платаном, кленом, вязом, ветром нежным.

Снимает карандашный силуэт. —
Что образуеть ты, к нему припавший
со всех сторон? — Когда Единорог,
то деву, если дева, то дракона
горящего из всех пропавших зажигалок.

Я стою, Sanctus, блаженным солдатом
между ангелов с красным небом и зеленых галок.
Я распорот ветром и вне закона,
конь летит на меня, надетый поверх дракона.
Меня не убивает Жанна.

Песня 3. Меркурий.

1.

Брось в лицо мне горсть гранатовых зерен,
раздави, чтобы брызнуло по скуле — так рождаются боги.
Взгляду бессмертных лицо кривизной — красный стакан,
утроба для Дважды Рожденного, чей череп зелен.
Персефона пьет фрактальное сердце — сон бежит по ногам.

Вакх обгоняет собственный голос, как бомбардировщик,
оставаясь в голосе целиком — остальное для вида.
Непроторенному смертному так пальто подает гардеробщик,
пока в жарком ларце все длится и длится fuga
Иоганна Баха, чтоб глубь рукава не вдовела.

Горлица, горсть, горноста́й — Гермеса роскошная свита.
В красной сетке лицо изнутри подсвечено ртутью.
Ты бы поцеловал ее в спину лучше, чем я.
Твоя лира — объятье сзади, когда ребра совпали до герма-
Фродо? Фродита? Ребро лишь от нас осталось. Подкова в раскопе ручья.

Стеклянные шарики, склеенные герметиком в корпус
во взметнувшейся вверх, разрезанной юбке Мерлин,
скрученной над остриженной головой в завинченный конус
под небом, цвета подсиненной марли —
с Жанной костры, кочующие из внутреннего неба Парижа во внешнее —
Арля.

Конусы жженья, с пропрыгивающими в себя эллипсами.
Пирамидки гиперболоида, спрессованный свет болида,
мигалкой пробивший крышу, наперсток верности, —
ты паришь надо мной, как о взрыве сон инвалида
или пригоршня Прозерпины, в которую влило сердце.

Яхта, вросшая в землю килем наружу, — двигает землю.
Матросы обрастают дельфинами, мачты схватывает лоза.
Костер — это киль. Дева, врытая в пламя, двигает небеса
Франции и остальные, двигает полюса
звезд, удержанных в капле слезы, когда сгорела слеза.

Молись о нас, Дева, чтобы мы верили в твоего смешного Христа,
чтобы любили друг друга и надеялись,
чтобы плакали и смеялись под небом, где горит Мария-звезда,
чтобы в прозрачных ведрах идущего впереди
золотыми восьмерками ходила вечность.

2.

Я скажу тебе, кто ты, пока Аполлон оттягивает стрелу.
Возьми колесо со спицами и пустой втулкой —
обод намазывает на себя пасту и пастилу
твоей жизни: звезды, ресницы, пружины куклы,
Океан, в котором тебе сгореть — барбарис, золу.

У каждой спицы на ободе — возможная ты,
ждущая шанса заполнить центр пустоты,
у каждой стоишь в рост, как на парковой центрифуге с воплем.
Впрыгнуть в центр удастся, лишь прикинувшись полем,
обратным раскрутке, от которой дрожат болты.

Запомни свою разнесенность на легкий обод.
Не путай себя с Маргаритой, потому что ты — дождь,
не путай себя со звездой, потому что ты — овод,
не путай со смертью, потому что — цикада, дрожь.
Не путай ни с кем другим — ты христовая.

Вранье, что — в центре: на конце сразу всех
зубчиков часовых, на чужой реснице,
на конце луча, на статуях Летнего в снег,
на кончике взглядов, уколотых клювом синицы,
сведенных в пустую втулку, раковину, орех.

Кто положит его в карман, тем ты владеешь.
Евридики орех гудит в кармане Орфея,
это пенье на штык глубже фарватера Стикса —
в створках таких ввинчено все, в чем сбывлся
бы ты, когда б твой орех был в ее кармане.

Гермеса подошва галькой хрустит за спиной.
Скачет перед тобой белый конек заводной.
Дева идет последней, вырыта в тело рвами,
за эпителий зашкалившей пустотой,
с точкой жизни меж женственными холмами.

Спица от точки тянется к пустоте золотой небес,
где сонм торжествующий раскручивает юлу
Вселенной и колышется в пении райский лес,
что вырос из наших тел, пока мы пели во рву.
Я скажу тебе, кто мы, пока Аполлон оттягивает стрелу.

3.

Скачущая вперед — впереди образует больше,
чем оставляет сзади, смотри, как сбивает галоп,
словно сыры, воздух, катящийся дисков звонче, —
обгоняющий всадницу марш ветряных голов —
дискобол копыт мечет их ветру в лоб.

Поскакавший туда, куда больше никто, сдвигает пространства скатерть,
очертанья сматываются с вещей, вакхово сердце
распадается в зерна граната — прозрачна заверть
вибрирующих оболочек и тоньше осинога жала.
Ты состоишь из бус, в которых лежала.

Они собирают тебя, состоя из других:
из легионов коней, из сонма аэропланов,
баночек с желтым желе, крупных и мелких планов,
видимых с велосипеда, из-за букета,
отрицательным Цельсием свернутых в шарик света.

Боже, до чего хороша под осенним небом!
Где угол воздуха райская грызет пантера,
я потянул бы тебя за рукав, чтобы вся на себя распалась —
воздуху не щелкнуть застёжкой, не расстегнуть на себе платя,
без тебя ему не дойти до себя из сквера.

Туда-сюда ходит прозрачный воздушный шар,
зажатый меж хлопком моим и шелком твоим — не дотянуться до губ,
внутри — ангелы с платиной крыльев, внутри блаженный пожар
льва и ветки с колибри, воздушный Моцарта шлюп —
расширяющийся к центру Эдем; меж лицом и лицом.

Расширяющийся к центру — меж голосом и сачком,
увеличиваясь безмерно — меж ветром и рукавом,
разворачивающий приближение — как отдаление от пяди губ,
закатывающий просторы, где мы друг в друге пейзаж,
в мерцающий напряженно золотой любви карандаш,

чертящий по грифельному стеклу
гриву лошади, бакен льва,
брус прозрачного воздуха под облаками из льна.
Sanctus»а, похожего на Оранту — с тобой,
протаявшей между ребер растрепанной головой.

Вячеслав Емелин

Баллада о белокурой пряди (из цикла «Смерти героев»)

За пустынной промзоной,
Где лишь пух в тополях,
Рос парнишка смышлёный
В белокурых кудрях.

Со шпаной на задворках
Не курил он траву,
Получал он пятёрки
У себя в ПТУ.

Он в компании скверной
Горькой водки не пил.
Рядом с девушкой верной
Вечера проводил,

С той, что под тополями
Так любила ласкать,
Забавляясь кудрями,
Белокурую прядь.

Над автобусным кругом
Расцветала весна,
На свидание с другом
Торопилась она.

Ждёт в назначенный час он,
А кудрей-то и нет.
За арийскую расу
Стал парнишка скинхед.

И, предчувствуя беды,
Сердце сжалось в груди —
Если парень в скинхедах,
Значит, счастья не жди.

И последние силы
Все собрав изнутри,
Она тихо спросила:
— Где же кудри твои?

И ответил ей парень,
Пряча горькую грусть:
— Да мы тут с пацанами
Поднялися за Русь,

Разогнули колена,
Мы готовы на смерть.
В своём доме нацменов
Сил нет больше терпеть.

Всё купили за взятки.
Посмотри у кого
Все ларьки и палатки,
АЗС, СТО?

Но они пожалеют,
Что обидели нас.
И запомнят евреи,
И узнает Кавказ.

Есть и в русском народе
Кровь и почва, и честь,
Blood and Honour und Boden,
И White Power есть.

И в глазах у подруги
Почернел белый свет.
Стиснув тонкие руки,
Прошептала в ответ:

— Зачем белая сила
Мне такой молодой?
Не хочу за Россию
Оставаться вдовой.

Если я надоела,
Так иди умирай
За арийское дело,
За нордический край.

И парнишка всё понял
И, идя умирать,
Протянул ей в ладони
Белокурую прядь.

А как твёрже металла
Он ступил за порог,
Вслед она прошептала:
— Береги тебя Бог.

А сама позабыла
Своего паренька,
Вышла за Исмаила,
За владельца ларька.

Над автобусным кругом
Ветер плачет по ком?
Вся прощалась округа
С молодым пареньком.

В роковую минуту
Бог его не сберёг.
Сталью в сердце проткнутый
На асфальт он полёг.

В башмаках со шнуровкой
Вот лежит он в гробу
В кельтских татуировках
И с молитвой на лбу.

А тихонько в сторонке,
Словно саван бледна,
Пряча слёзы, девчонка
С ним прощалась одна.

От людей она знала,
Что парнишку убил,
Размахнувшись кинжалом,
Её муж Исмаил.

И глядела в могилу,
Дрожь не в силах унять,
А в руках теребила
Белокурую прядь.

Над автобусным кругом
Собрались облака.
Добралася подруга
До родного ларька.

Голос слышала мужа,
Не спросила: — Открой.
А припёрла снаружи
Дверь стальной трубой.

И минут через десять,
Как соломенный стог,
Запылал зло и весело
Промтоварный ларёк.

Заливать было поздно,
А рассеялся дым —
Исмаил был опознан
По зубам золотым.

Ветер тайн не просвищет,
След собакам не взять,
Но нашли на кострище
Белокурую прядь.

Увозили девчонку,
Все рыдали ей вслед.
На запястьях защёлкнут
Белой стали браслет.

Снятый предохранитель,
Да платочек по лоб.
Никогда не увидеть
Ей родимых хрущоб...

Сколько лет миновало,
Парни водят подруг,
Как ни в чём не бывало,
На автобусный круг.

И смеются ребята,
Им совсем невдомёк,
Что стоял здесь когда-то
Промтоварный ларёк.

Экфраза

Октябрьским вечером, тоскуя,
Ропщу на скорбный свой удел
И пью я пятую, шестую
За тех, кто всё-таки сумел

Ответить на исламский вызов —
Семьсот заложников спасти.
И я включаю телевизор,
И глаз не в силах отвести.

Как будто в трауре невесты
В цветенье девичьей поры
Сидят чеченки в красных креслах,
Откинув чёрные чадры.

Стройны, как греческие вазы,
Легки, как птицы в небесах,
И вместо кружевных подвязок,
Они в шахидских поясах.

Они как будто бы заснули,
Покоем дышит весь их вид,
У каждой в голове по пуле,
На тонких талиях пластид.

Их убаюкивали газом,
Как песней колыбельной мать,
Им, обезвреженным спецназом,
Не удалось себя взорвать.

Над ними Эрос и Танатос
Сплели орлиные крыла,
Их, по решению депутатов,
Родным не выдадут тела.

Четыре неподвижных тела
В щемящей пустоте рядов
Исчадья лермонтовской Бэлы
И нинзя виртуальных снов.

Сидят и смотрят, как живые,
Не бросив свой последний пост
Теперь, когда по всей России
Играют мальчики в «Норд-Ост».

Из Беранже

А. Родионову

Смотрю на вас, девчата,
И думаю: — Ну, да.
И я была когда-то
Стройна и молода.

Поверьте старой тёте,
Послушайте совет:
Вот я смотрю — вы пьёте
Мытищинский абсент.

Вы не боитесь ада,
Вам жизнь — эксперимент,
Но всё же пить не надо
Мытищинский абсент.

Глаза сольются в щёлки,
Уйдёт к другой бой-френд.
Не пейте вы, девчонки,
Мытищинский абсент!

Не верьте грамотеям
И книжке «НЛО»,
Что, мол, «Зелёной феей»
Верлен назвал его.

Рембо, скажи на милость,
Бодлер, зато потом
Отправит вас омнибус
Всех прямо в Шарантон.

Цирроз сожрёт печёнку,
Муж станет импотент,
Не пейте вы, девчонки,
Мытищинский абсент!

И если кто вам скажет,
Что пил его Ван-Гог,
Гоните его сразу же,
Как ступит на порог.

Гоните его к чёрту,
Подумаешь, Винсент.
Не пейте вы, девчонки,
Мытищинский абсент!

С таким вот провокатором
Не долго до беды.
Не знайтесь вы с ребятами
Из творческой среды.

Расскажет такой парень,
Что он интеллигент,
И подливать вам станет
Мытищинский абсент.

Ты, чтобы не вонял он,
Скажи ему в глаза:
— «Козёл» — твой погоняло,
А мне нужен казак.

Пусть будет он чеченом,
Пусть будет он таджик,
Простой, обыкновенный
Трудящийся мужик.

Пусть будет он военный,
Сапог и ксенофоб,
Но только б не богема,
Не андеграунд чтоб.

Пусть делать заставляет
По два часа минет,
Но только б не прозаик,
Но лишь бы не поэт.

Пусть будет он дебилом,
Пусть платит алимент,
Но только бы не пил он
Мытищинский абсент.

Лили Марлен
(Колыбельная бедных – 2)

(с немецкого)

Н.М.

Где под вечер страшно
Выйти без дружков,
Где пятиэтажки
Не сломал Лужков,

Среди слёз и мата,
Сразу за пивной,
У военкомата
Ты стоишь со мной.

Глаза цвета стали,
Юбка до колен.
Нет, не зря прозвали
Тебя Лили Марлен.

У военкомата
Крашенных ворот
Знают все ребята,
Как берёшь ты в рот,

Как, глотая сперму,
Крутишь головой.
Я твой не сто первый
И не сто второй.

Всем у нас в квартале
Ты сосала член.
Нет, не зря прозвали
Тебя Лили Марлен.

Но пришла сюда ты
На рассвете дня
Провожать в солдаты
Всё-таки меня.

Строятся рядами,
Слушают приказ
Парни с рюкзаками
В брюках «Adidas».

Выдадут и каску
И противогаз,
На фронтир кавказский
Отправляют нас.

Эх, мотопехота —
Пташки на броне,
Ждите груз двухсотый
В милой стороне.

Снайпершей-эстонкой
Буду ль я убит,
Глотку ль, как сгущёнку,
Вскроет ваххабит.

Слышав взрыв фугаса,
Заглянув в кювет,
Парни моё мясо
Соберут в пакет.

Вот настанет лето,
Птицы прилетят,
Я вернусь одетый
В цинковый наряд.

Ты мне на вокзале
Не устройшь сцен.
Нет, не зря прозвали
Тебя Лили Марлен.

С мятыми цветами
Жмётся у перил,
Их твой новый парень
Тебе подарил.

Эх, тычинки, пестик,
Прижимай к груди,
И он грузом двести
Станет, подожди.

Будет тот же финиш —
Цинковый сугроб.
Ты букетик кинешь
На тяжёлый гроб.

И прощу тогда я
Тысячу измен.
Нет, не зря прозвали
Тебя Лили Марлен!

ИСПАНСКАЯ АНОНИМНАЯ ПОЭЗИЯ XVI ВЕКА

Эти гимны взяты из Литургии часов Католической Церкви. С них начинается утренняя молитва; они звучат в полдень; ими же кончается день. Как и положено гимнам, они не читаются, а поются. Их много; только на кастильском более ста шестидесяти, и не все они анонимны. Часть из них написана всемирно известными поэтами, такими как, святая Тереса Авильская или святой Хуан де ла Крус (Иоанн Креста). Часть написана теми, чьи имена неизвестны — так на могилах монахов и поныне не пишут имен, а ставят крест. Современное литературоведение не может с точностью атрибутировать их — да и нужно ли это? Все они о любви. О любви к Богу. «Светская любовь — лишь долг певца, духовная любовь — лишь плоть аббата» — писал Бродский о Джоне Донне. Любовь — плоть. В том числе и плоть этих стихов.

* * *

Что есть во мне, какую красотою,
о Иисус мой, я тебя пленила,
что ты к моим дверям, что затворила,
в ночи приходишь зимнею порою?

О, сколь я жесткосердна — пред тобою,
безумица, я двери не открыла,
пусть раны нежных стоп твоих студила
зима своей холодной росой.

О, сколько раз ночами я слыхала,
как ангел рек мне: «Встань, душа слепая;
внемли любви, что звать тебя устала!»

И сколько раз надменность ледяная
Ему: «Открою завтра!», отвечала,
назавтра вновь все то же отвечая!

* * *

Мой Бог! Мою любовь к тебе питает
не к дивным райским кущам возжеленье;
нанести тебе не смею оскорбленье
не оттого, что ад меня пугает.

Лишь ты, Господь, причиной: убивает
меня лишь взгляд на крестное мученье,
лишь терн и оцт; слепой толпы глумленье,
и смерть твоя мне сердце разрывает.

Так велика любви твоей отрада,
что пусть, любя, я неба не стяжаю,
страшась тебя, пусть не узнаю ада!

Даров обетованных мне не надо,
я боле ни на что не уповаю:
любить и впредь — любви моей награда.

*(В русской традиции — сонет святой Тересы
Авильской. На самом деле, анонимный сонет
16 века. Автор латинского варианта — свя-
той Франциск Ксаверий. Начиная с 19 века,
неоднократно переводился на русский язык
(И. И. Козловым в 1828 г., В. Г. Бенедиктовым
в 1856-18588 гг.).*

* * *

В вечерний час пришел я пред распятым
молить Тебя об этой грешной плоти,
но на Тебя взгляну — и, устыдившись,
бросаю взор на собственное тело.

Как мне сказать: пусты мои ладони,
когда Твои гвоздями прободенны,
что ноги от усталости страдают,
коль Твои ноги кровью истекают?

Как мне сказать, что я один на свете,
Тому, Кто одиноким был в час смерти?
Как я дерзну сказать: меня не любят,
коль Твое сердце ранено любовью?

И вот я ничего уже не помню,
куда-то прочь бежали все печали,
порыв молитвы умер, и застыли
прошенья на устах моих безгласных.

И ни о чем уж не прошу я боле —
лишь об одном: быть пред Твоим распятием,
уйти, поняв, что лишь одно страданье
есть ключ святой к вратам в Твою обитель.

* * *

Пастух влюбленный, чьей свирели звуки
мой сон, подобный смерти, оборвали —
дай посох мне из древа, что держали
могучие и сладостные руки!

Услышь мой зов, что полн любви и муки,
мой господин, — хоть знаю, что едва ли
слова сии смиренные обьяли
свирели зов, и соль твоей науки!

О ты, Пастух, что за любовь распялся!
Мой тяжкий грех — да будет он прощенным,
ведь ты благоволишь тому, кто сдался!

Так подожди, узрев меня плененным!
Но как скажу я, чтоб ты ждать остался,
коль ждать Тебе придется пригвожденным?

* * *

Выше вершин высоких
горного края
Тебя звало мое сердце,
Тебя не зная.

На чьей руке, скажи мне,
покоятся ночи?
Любовь моя, песнь ветра —
где они, Боже?

Глаза моего детства,
капли на коже,
кровь, что текла по венам —
где они, Боже?

детские мои очи
и сладость дрожи
крови в моих венах —
где они, Боже?

Легче легкого пуха,
с тучками схожи,
часы моего детства
Где они, Боже?

* * *

За слез моих опаловой завесой —
нет, не один я.

За потаенной сетью моей крови —
нет, не один я.

За предначальной музыкой рассвета —
нет, не один я.

За гаснущим в горах лучом последним —
нет, не один я.

За дней моих бесплодным наслаждением —
нет, не один я.

За зеркала холодной ворожбою —
нет, не один я.

Нет, не один — сопутствует, незрима,
мне вечность, столь возлюбленная мною.
Живем мы вечно вместе с Богом.

* * *

Что в ночи ты видишь,
расскажи нам, стража!

Бог — миндаль в пустыне,
что расцвел весною,
Бог не спит ночами,
бодрствующих ищет.
Лишь пять дев разумных
жгут свои светильни.

Что в ночи ты видишь,
расскажи нам, стража!

Петухи тревожат
ночь далеким криком.
Кто отрекся трижды,
трижды исповедал,
и теперь ночами
проливает слезы.

Что в ночи ты видишь,
расскажи нам, стража!

Мертвый был положен
в новую гробницу —
так земля впервые
солнце хоронила.
Горы возопили,
камень пал на камень.

Что в ночи ты видишь,
расскажи нам, стража!

Новым стало небо
над землею новой;
Бог восстал из гроба,
смерть мертва отныне!
Богу все творенья
Воспоют осанну!

Вступление и перевод с испанского Ларисы Винаровой

Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов

ИУДИФЬ И ОЛОФЕРН

..Амбициозные мечты ассирийского полководца и красота Иудифи с лихвой восполнили отсутствие правдивости в речах коварной красавицы. В своих обещаниях Олоферн не знает пределов: он клянется, что станет монотеистом.

Олоферн бессовестно лжет. Поиски воспоминаний о воспоминаниях представляются на деле совершенно неосуществимой задачей, решение которой заранее скомпрометировано. Так как неизвестно что искать? Это (немаловажное) обстоятельство затрудняет проведение кампании розыска предположительно существующего, но не поддающегося определению некоего фантомного объекта. Более того, если в систему припоминания как нового разузнавания о чем-то вполне известном вкладывается прием «дознания под рукой», то есть предполагается некоторое насилие, то даже в этом случае не только невозможно «наказать» или «применить особые методы», но даже обнаружить самих «виновных», выйти на их след. Можно лишь наметить длительный и неверный путь, своего рода литературное приключение, недостоверно отраженное в виде записок, воспоминаний, классических и постклассических текстов.

В результате дождей и вызванного этим непредсказуемым явлением природы разрушения всех мостов и переправ связь между деревней Погорелово и (лежащим во зле) остальным миром окончательно прервалась ...а «ассирийцы были одурочены».

Но не думайте, что из сказанного можно создать (слишком много), ведь все, о чем говорится и не говорится, нечто большее, чем разлетающаяся вселенная из слов, возникшая в результате взрыва.

Так перед этой Вещью-Текстом, нашим Домом со всеми разнообразными и не поддающимися прочтению последствиями, ускользающими от интерпретации слоями, взаимопроникающими, меняющимися местами, образующими новые группы связей, распадающимися вновь... так — всматриваясь в этот фундамент, саморазрушение которого и есть единственное условие существования его истории, этой Вещи-Текста, Дома в деревне Погорелово, *fantasticshe Barock...*

Сегодня я вышла из Дома и заметила, что стало заметно прохладнее; дорога к колодезю кажется дольше, ведра с водой тяже-

лее, а деревья — выше (но ведь и они могли подрасти). Ветхий колодец совсем завалился: к нему даже опасно подходить. В речке воды так мало, что стало видно песок, мелкие камушки и водоросли. Только зачем на все это смотреть? Мне и так известно, что лежит на дне речном.

К истории вопроса

Нашли нас под пресловутой капустой в 1941 в Горьковской, то есть Нижегородской губернии. И эта находка настолько поразила родителей (а у ТОТАРТа, надо сказать, тоже были родители), что с тех пор они не могли опомниться. Большой разброс по области не позволил членам ТОТАРТа соединиться по явлению на Свет Божий и к счастью или несчастью для самих членов и окружающей действительности, отсрочил их встречу на многие годы. Лишь где-то в шестидесятые, когда будущие работники ТОТАРТа закончили свои пединституты и начали погружаться в глубокий московский андеграунд, произошла их первая встреча. Кажется в знаменитой пивной «Плзень», что в Парке Горького. Тогда там еще действительно подавали настоящее плзеньское пиво, и это был один из центров художественных и литературных кругов Москвы. Господи, кого там, бывало, не встретишь. Ну, может, разве что «приличных» людей.

Впрочем, к середине семидесятых многие приличные, а равно и неприличные дружно пополнили народонаселение Иерусалима, Парижа и Нью-Йорка. Этот мор прошелся по Москве и Питеру, но претерпевшие до конца тоже дружно бросились в активную художественную жизнь при первой же возможности — после Бульдозерной выставки. К этому моменту две половинки ТОТАРТа уже счастливо воссоединились, а к концу 70-х после многих лет автономной художественной пристрелки каждого произошла некая таинственная химическая реакция и родился ТОТАРТ, цель которого была направлена на внедрение искусства в массы и преодоление налагаемых Властью ограничений функционирования искусства в социуме. ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ — вот одно из откровений ТОТАРТа. И ТОТАРТ должен принадлежать. НАРОДУ.

С тех пор всеми правдами и неправдами ТОТАРТ пытается объясниться с народом и как бы ни был узок его круг, и как бы ни были деятели ТОТАРТа далеки от народа, ТОТАРТ и НАРОД неотделимы друг от друга. И это продолжается по сей день. И никакой ДИСКУРС и никакие прихлебатели ПОСТМОДЕРНИЗМА не могут этому помешать. Придет день, и рухнут обветшавшие стены

темницы декаданса. И у входа нас встретит радостно племя молодое незнакомое. И все ужаснутся.

...Иудифь встречают ассирийские стражи и задают соответствующие вопросы: она отвечает кратко и ясно, обманывая их. «Слова истины», о которых говорит Иудифь, будут потом достаточно двусмысленны. Но хотя нет необходимости казуистически оправдывать каждое заявление Иудифи (чем занимались ранние комментаторы), от нас ускользнула бы часть авторской иронии, не укажи мы на двусмысленность многого из того, что она говорит.

Мы родились в разных городах в 1941 году, когда над нашей Родиной нависли тучки в виде геополитических порывов новейшей геометрии. Можно было бы продолжить эту тему в культурологическом ракурсе, если бы не наша особая ненависть к автобиографиям, которая еще более укрепилась по прочтении «Замогильных записок» Чаадаева-Печерина, потому как в автобиографии трудно удержаться от коленопреклонения перед самим собой и невольно можно впасть в ложь, вполне простительную. В числе же немногих, но крепких убеждений ТОТАРТа на первом месте следующее:

«Все музы соединяются,
Чтобы общими усилиями
Создать великое искусство,
Достойное духа времени,
Который сурово карает
За всякое отступление
От правды-истины»

Здесь очень тихо и можно было бы писать стихи, так как ничто не отвлекает. Но стихов я не пишу. Или просто что-нибудь делать. Только непонятно что.

Под водостоком — кадка с дождевой водой. В ней плавают сухие листья. В кадке вода, а листья — сухие.

Краткое описание страны Отчин, населенной редко произрастающими отчинами

Край Отчин занимает северную часть Европы и населен редко произрастающими отчинами, именуемыми еще ничевоками. Отчины живут сами по себе в городе Бобруйске, деревне Пилигино, что на черной омутистой реке Уверь, что впадает в реку Мсту, не-

сущую свои воды в Ильмень-озеро, и деревне Погорелово на мелководной и быстрой Виге, впадающей в Унжу, которая в свой черед впадает в Волгу. Кочевники и искатели счастья с Запада, Юга и Востока проходят эту густо заросшую реликтовыми лесами и изъезженную мшелыми болотинами местность и возвращаются восвояси, поскольку взять у отчинов нечего и дать тоже нечего, ибо отчинам ничего не нужно. Отчины испокон века независимы и свобододолюбивы. Политического и социального строя как такового у них не наблюдается. От внешних врагов они спасаются, уходя в себя, а от внутренних — постом и молитвой. Все они поэты и любомудры и ничьей власти над собой не терпят, а посему нет над ними никакого правительства, что и вменяют они себе в неписанный закон. Раз в год редко произрастающие отчины собираются под Великим Дубом, что гордо высится на месте бывшей Москвы. Исполняющий роль жреца (избираемый на год) садится под угрюмо шелестящие ветви могучего древа, терпя несказанные страдания от комаров и прочей нечисти, и ждет, когда сверху посыплются желуди. От первого же, павшего на его голову дубового плода, он получает просветление и изрекает нечто нечленораздельное, над чем глубокомысленные отчины раздумывают весь год, пытаясь раскрыть смысл изреченного во всевозможных символических действиях, принимающих подчас оргиастический характер, и тогда отчины воистину не знают удержу. В остальном отчины отличаются спокойным и уравновешенным нравом, склонны к уединенному созерцанию, хотя и весьма гостеприимны. Будучи полны собой, они не нуждаются во внешних границах, законах и иерархии.

(Из отчета о жизнеустройстве редко произрастающих отчинов, что населяют край Отчин)

...Подобно воинам всех времен, ассирийцы потрясены красотой Иудифи. Они проявляют к ней нескрываемое любопытство.

ТОТАРТ не ведает границ. Он принадлежит всему миру, и весь мир принадлежит ему. Он ни с кем не соединен и ни от кого не отделен. Столица ТОТАРТ деревня Погорелово есть центр вселенной и является резиденцией всех вольных граждан мира и открыта для всех и вся, кроме холодных ветров. Ради наилучшего и удобного общения она соединяется подземным ходом с Москвой. Через реки, озера, моря и океаны проложены стремительные мосты. Есть также тайные тропы, которыми можно отправиться на все четыре стороны в поисках приключений и негаданных встреч. Обычное времяпровождение обитателей Погорелово — дружеские беседы за чаркой доброго вина по ночам, когда лунный свет заливают

террасу и обширные лужайки. Жители и гости погореловского дворца делятся творческими замыслами, обсуждают цены на овес и строят различные прожекты, например, о создании Эдипова комплекса на Поклонной горе в Москве в виде фаллической колонны, устремляющейся в небеса из утлого челна, олицетворяющего собой все бречное и преходящее. Иногда во время таких бесед к ним прилетает Орел со светильником, и тогда все дружно сходятся на том, что хорошо бы устроить на Луне нечто такое совершенно бескорыстное, вроде галереи современного искусства и устрашать тамошних жителей воем несусветным и всполохами лазерными. Но вообще погореловцы люди мирные и ни до кого им, в сущности, дела нет, поскольку дел у них по горло и им едва хватает дня, чтобы толком обсудить свои грандиозные замыслы.

(Карта составлена в одну из лунных ночей, когда восточный ветер, осилив ветер Запада, донес до беседующих погореловцев дух конопли и мака.)

В Доме есть деревянная терраса, заменяющая заднюю стенку и расположенная на высоте второго этажа. Она — словно театральная сцена: любой прохожий мог стать зрителем спектакля нашей ежедневной жизни. Но сюда давно никто не приходит. На террасе незамысловатая деревенская мебель: обеденный стол, несколько стульев, сломанное кресло-качалка. Я — за пишущей машинкой, пальцы лениво скользят по клавишам, монотонный голос А.

Политика и Художник

Если художник пытается придать своей жизни смысл, то ему необходимо прежде всего вытеснить из своего сознания историю; только так он может пережить самые острые, самые мощные потрясения бытия, ощутить себя не вещью, а человеком. А человек нуждается в драматизме жизни и переживаниях, и если не находит этого в окружающей жизни, то становится художником и сам себе создает драму разрушения истории.

Безымянные строители египетских пирамид навряд ли не обладали ощущением собственного ничтожества и жаждой «отрыва» путем санкционированного разрушения нормальных человеческих условий бытия.

Французская революция завещала рассвет искусств и общенациональный прогресс, не имея в казне ни копейки.

Разрушение состоялось от народа, для народа и во имя народа. И было воспето классицистически.

Музеифицированная ныне политика Черной Дыры была для некоторых недалеких умов с политизированным воображением кошмаром дома скорби или концлагеря.

Политический реализм фашизма мыслил себя как авангард авангарда. До сих пор среди критиков и историков искусства не существует единого мнения о том, существовало ли искусство до Катастрофы. В «Гернике» Пикассо испанский народ шел по пути к звездам. В чем налицо влияние классицизма.

Язык трансмиссии и космического движения предварил факельные шествия Новейшей истории, и, зависнув где-то между «новым искусством» и шоу-бизнесом, послужил источником престижных праздников в урбанистической культуре. Авангард тотальных действий догадывался и сам, что рано или поздно окажется в опасной близости от инсценировок власти, эстетики силы и представительства машинно-революционной динамики в условиях техногенной культуры.

И мы, его дети, крестники и заложники одновременно имеем еще большие возможности «отрываться», так как живем в постиндустриальную эпоху, где свершилась победа над солнцем, породив странную цивилизацию из искусства, политики и СМИ, лишенную какой бы то ни было чувствительности к жестокости, что и есть в ней самое человеческое.

...Олоферн отдыхал, когда ему доложили о ней...Знакомство Иудифи с вождем ассирийцев состоится там же, где оно и закончится: на роскошном ложе. Но сейчас Иудифь простирается перед Олоферном, как полагается по восточному этикету, и ее поднимают служители полководца...

Разговоры о Родине

- К. Вот вы все тут говорите: Родина, Родина. Одни при этом пускают слезу, другие приходят в подлинное неистовство чувств.
- М. Родина — это капуста, под которой всех нас находят.
- К. Вот, вот. Это луковица, которую сколько ни раскрывай, до сердцевины не доберешься. И только слезами заливаешься.
- Д. Что это вы, господа, все по овощному департаменту? Ну что вы тут толкуете: Родина то, Родина се. Она не то, что мните вы. Это клуша, раздавившая половину цыплят, а остальные, выжившие, всю оставшуюся

- жизнь только и помнят с ужасом, содроганием и щемящей тоской ее теплую гузку.
- К. Да, да. Это колодец, пара вязов или там березок. Не смейтесь. Бузина, березка, веники. Разве в этом дело. Это с детства и на всю жизнь. Так и умрешь где-нибудь в вонючем Париже с этим единственным воспоминанием.
- Д. Опутанные языком и исхлестанные этими, с вашего позволения, вениками, мы бьемся как мотыльки об стекло.
- М. Ах, как это верно. Родина — это энтелехия навозного червя, воссиявшая тем, кто ее сподобился узреть... И сколь же сладостно это видение...
- Официант. Господа, заведение закрывается. Прошу расплачиваться.

Кроме террасы-сцены здесь есть деревянная комната, в которой темно и пыльно. Конечно, можно было бы вымести пыль, выбросить сор и повесить на единственное окно занавеску. Впрочем, оно и так задернуто какой-то тряпкой. Оттого и темно. На стене висит натюрморт с самоваром и синей чашкой. Можно было бы его кому-нибудь подарить. Только кому? Лучше всего сидеть на террасе и просто смотреть. Хотя кругом все так заросло, что почти ничего не видно, кроме листьев черемухи. Но ведь и на них можно смотреть. А еще лучше забраться куда-нибудь и лечь спать, накрывшись с головой одеялом. А потом проснуться и снова лечь.

Хороший художник — (не только) мертвый художник

Мертвое, очевидно, неотделимо от образа мертвого. Образ же этот неотделим от мысли о нашей к этому образу любви, ее ночном фоне, звездном небе, неописуемом небесном теле, Черной дыре, космической вечно женственной массе, пожирающей свои собственные края. Эта Ewig-Webliche, «Невеста, обнажающая себя перед Холостяками», космическое молоко и мед Дюшановского «Фонтана», звездное вещество «Черного квадрата» Малевича — галерея этих придуманных художниками и обреченных на вечное заточение в музейном вместилище снов нет конца... как нет конца нашей к ним любви в ее самом бескорыстном аспекте, как «потраченное даром время», проявляющееся общественно и культурно при созерцании пребывающих за Большими (и не очень) Стеклами священных млекопитающих; нашей любви к ним, проявляющейся в форме такого ничем не оправданного полного безрассуд-

ства, лишенной какой бы то ни было мало-мальской выгоды. Мы подчас то становились толпой фанатиков, почувствовавших себя первооткрывателями тайного смысла этого утомительного Колеса Жизни, то отступали с каким-то не вполне ясным чувством, что нас все-таки надули, обманули, провели, облажали, обнажили какие-то Холостяки, тайные силы, ненавистники веселья и жизни, как-то: напудренный складской пылью Казимир, неумолимый, суровый, непреклонный; раздражительно надзирающий за всем происходящим из диванно-клеточно-бюрократического подполья Марсель. И все они смотрят на нас с суровой миной инквизиторов от имени Истории Современного Искусства. Почему мы здесь? В чем заключается наше непосредственное действие? В принципе этот вопрос может задать себе каждый. И ТОТАРТ (уже превративший однажды Черный квадрат — эту священную *Ewig-Weibliche*, сущность любого склада, подвала, бункера, хранилища и вместилища — в фиговый листок на художочных чреслах российского «вольного» искусства и омывший его — Квадрат этот самый — в Фонтане Дюшана, узаконив тем самым запоздалый брак русского и западного авангарда) продолжает и дальше следовать, действовать, в том же направлении и исследует возможности актуального диалога (хотя, вероятно, обреченного на явный провал) с Душой этого вместилища-хранилища и любого *Modern Art Museum...*

...Олоферн действительно прав, говоря, что не сделал зла никому; он просто принял решение служить своему царю. После разрушения Дамаска он весьма миролюбиво относится к другим народам, подчинившимся его власти.

Из высказываний незабвенной Анны Копыловой (Копылихи), записанные с ее слов

Было то в далеком 1972 году летом, когда мы приобрели Дом в дер. Погорелово Костромской обл. Председатель Сельсовета Ильинишна, содравшая с нас лишние сто рублей, величественным жестом подарила еще один двухэтажный дом с разрешением брать там половые доски на ремонт, поскольку купленный дом по причине усекновения бесконечных хозяйственных построек остался без одной стены, и внутренность его была обнажена как декорации в театре, и мы как ангелы сновали вверх и вниз и спали, и это нам снилось. И вот несколько дней являлся я в этот жертвенный дом Варгасова и крушил все, что можно. А по соседству в очаровательном зеленом домике с балкончиком и огромной елью жи-

ла полубезумная старуха Копылиха, женщина крутая и на язык острая. Одно из преданий о ее былых подвигах гласило, что как-то сделала она стол из большой церковной иконы. И вот раз забралась она на этот стол что-то прибавить или убирать (была она бобылкой, дети давно разбежались, и приходилось, как водится в русских деревнях, все делать самой) и сверзилась с этого стола. С криком: «Чтоб тебя черти и святые угодники расхуячили!» она разрубила эту храмовую икону, бывшую некогда в царских вратах пред престолом Божиим, затем украденную при разграблении Николо-Дорковской церкви, служившую ей верой и правдой столешницей, на которой вкушала она свою скудную пищу, окормляя ею своих копылят, потерявшихся в Большом доме, а в последней стадии своих преображений ставшей ступенью лестницы Иаковлевы или Вавилонской башни, по которой сновали туда-сюда не то ангелы Божии, не то миряне суетливые, вечно что-то приколачивающие, чтоб повыше... поближе к Богу...

Так вот, все эти дни приходила она ко мне на второй этаж, усаживалась на чурбачок и наблюдала за моими подвигами, время от времени изрекая свои афоризмы.

Вот парочка запомнившихся:

«Бей, Толя, мельше — таскать легче. А потом (подумав) — все равно раскулачат».

«Вот помру я скоро. Явлюсь на небо. Там встретят меня папа с мамой. Как, спросят, жили-поживали да что нажили? Что я им скажу?

— Дожили, все добро в старую пизду сложили».

И еще: «Отдохнем, когда подохнем».

Как-то стучит она к нам. Выхожу. Лица на ней, как говорят, нет. Черное. Глаза куда-то сквозь стены смотрят.

«Детей моих, — спрашивает, — здесь нет? Убежали, сама не знаю куда?» Завлудилась во времени и пространстве.

Вспомнил я потом, что в самом начале 1960-х написал портрет нашей бабы Нюни из отчей дер. Пилигино в Новгородской обл., к которой ездили на лето с детства. Я ее так представил. Вылитая Копылиха. Иконописное лицо. Изможденное. Страстное.

Интересно, что это за икона была?..

Все пришло в страшное запустение, даже огород зарос. Постоянно идет дождь, и какой-то особенно подлый, так как светит солнце. Это дает ложную надежду...если еще потерпеть немного... При этом стоит еще такой чертовский мороз, а на небе сияют сразу три радуги.

Проект Большой кровати, низвергающейся со второго этажа в подвал в момент Всеобщего Оргазма

К этому же времени освоения Дома относится Проект Большой кровати, низвергающейся со второго этажа в подвал в момент Всеобщего Оргазма. В алькове в комнате на втором этаже построена Большая кровать 2Х2 м. Особая система датчиков, лифтов, амортизаторов позволяет в момент Всеобщего оргазма проваливаться с кроватью вниз до самого подвала, воистину, воспаряя в небеса. Разумеется, вариант одинокой мастурбации во многом упростил бы ситуацию, но тогда проект лишился бы своего коммюнитарного пафоса. Ибо единение душ и тел — вот состояние, достойное кисти художника. Было это в лето 1972 от Рождества Христова.

Непреодолимые технические сложности не позволили реализовать проект Большой кровати. Тем не менее, это не мешало возноситься до небес и далее без остановок.

В 1982 г. наши друзья Виталий Поляков и Владимир Полищук, не зная о проекте Большой кровати, написали портрет Дома — он сказочным резным ковчегом парил в облаках.

В 2002 г. картину, все эти годы висевшую в зале на первом этаже, украли.

Поскольку написана она на холсте, участь копылихиной иконы ей не грозит. Она оказалась востребованной Народом. Кажется, это единственный пока случай в истории ТОТАРТа.

Интересно, возможен ли психоанализ вещей?

...Речь Иудифи, шедевр коварного обмана, состоит из длинного льстивого вступления...

Темы

Черный квадрат Малевича как амальгама горгонального зеркала, обращенного вовне, в космос, культурный мир. Зритель — Персей, повергающий в оцепенение невидимые ему чудовища и тем освобожденный от заговора культуры и высвобождающий колоссальную либидонозную энергию, с которой он не может совладать. Но он об этом не знает. Ему явлена только амальгама зеркала. Скрывшись за этим зеркалом, он обречен видеть Ничто перед собой и за зеркалом. Он никогда не встретится с присутствием отсутствующих магических сил. Его (Малевича) зеркало в своей двуединой сущности является тонкой границей присутствия и отсутствия...

Голова Олоферна на блюде коварной Иудифи

Суламифь, целующая голову Иоанна

Психоаналитик, лоботомирующий бритвой Оккама пациента,
пока тот самозабвенно летит на автопилоте

Так мы с А. сидели, как обычно, на террасе-сцене и собирались пообедать. Обед наш состоял из салата из хвощей и пустырников, супа из березовых веников; потом подавалось жаркое из корневниц лопухов. На десерт — суфле из одуванчиков. Водка, однако же, была всегда.

Правда, за ней надо было идти километров за 50. И еще переправиться через покрытую первым ледком реку, на берегу которой постоянно уклонялись от труда трактористы, однако готовые за водкой ехать хоть на край света.

Повесть о Настоящих людях

В чем проявляется «присутствие маленького народа на периферии нашего сознания»? В эпоху экзистенциализма мы бы сказали: в ощущении «трагической заброшенности». Ныне же мы склонны считать, что «пустота» повседневной жизни, так хорошо проработанная в опыте актуального искусства, открывает новые горизонты, а непереносимое одиночество **НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ**, как называют себя чукчи (да и не только они), становится областью пространственного манипулирования, кладезем утопий, некой грезой, где все возможно... для того, чтобы навсегда исчезнуть из памяти. Похеренный в конце 1980-х гг. Проект Центра Современного Искусства является, таким образом, для нас, художников, идеальным объектом наличия и отсутствия, как в прямом, так и в переносном смысле. Если так называемые **НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ** все-таки существуют, то почему бы им не создать Центр, наличие-отсутствие которого 15 лет тому назад (хотя бы в качестве еще одного предрассудка) предполагало присутствие других, не менее **НАСТОЯЩИХ ХУДОЖНИКОВ**, или, по крайней мере, не сомневающихся в том, что они все-таки имеют место быть. Перечеркнутый буквой Х (Херъ), но все-таки возможный для прочтения текст, свидетельствует об этом. Остается проблема извлечения смысла. Но если короче: ходили, просили, объясняли, настаивали, доказывали, потом плюнули; половина народа разъехалась, кто-то давно уже занимается чем-то другим, не менее важным, чем актуальное искусство. Сам Проект однажды почти что обратился в тлен, пролежав в земле какой-то срок в результате коллективной акции по «Погребению «Дорогого Искусства» в Аду»; но так как все **НАСТО-**

ЯЩИЕ ХУДОЖНИКИ не меньшие бюрократы, чем все прочие (бюрократы), сохранилась копия (и не одна) этого Проекта. Ее мы предлагаем в качестве дара маленькому народу **НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ** от **НАСТОЯЩИХ ХУДОЖНИКОВ** с надеждой на то, что однажды в чукотском **МЕСТЕ ПРОСТРАНСТВА** удастся создать то, что **НАВСЕГДА** не удалось в Москве.

...Иудифь уверяет полководца, что Израиль падет потому, что народ его вот-вот согрешит. Весь ее обстоятельный рассказ соткан, по-видимому, из чистой фантазии. До сих пор в повести ничего не говорилось о голоде, только об оскудении запасов воды.

Библейский Авалиани

В то лето мы осваивали дом, готовили на костре разнообразную снедь и переводили «Библейский словарь» Гастингса по заказу ЖМП (Журнал Московской Патриархии). Лето было жаркое, но еще жарче были раскаленные камни Иудеи. Вся флора и фауна Ветхого и Нового Завета были здесь, они выстукивали себя на пишущей машинке, мы созерцали ее с террасы дома. Каждая статья Словаря давала пищу духовную и хлеб насущный. И это было хорошо. Здесь в погореловском доме прагматика уживалась с поэтикой, а суровый ветхозаветный жар с веселой эротикой... И рука Власти не достигала сюда...

Однажды, когда мы пили чай на террасе, внизу раздалось звяканье велосипеда, и чей-то голос окликнул нас. В Погорелово ничему не удивлялись, но спрыгнувший со складного велосипеда очаровательный человечек сразу пришелся по душе. Это был Митя Авалиани, приехавший к нам по рекомендации Сергея Хоружего, нашего московского приятеля, ученого физика, знатока исихазма, будущего переводчика Джойса.

Следующие несколько дней были посвящены пирогам, выпивке, чтению стихов и диспутам о пользе и вреде для религиозного сознания тщетных попыток истолковать с позиций разума каждое библейское слово. И беганию голышом под всепроницающим солнцем, пока изумленный Митя не проговорил: «Так вы язычники?» «Солнцепоклонники до фиесты, язычники до захода солнца, иудеи за пишущей машинкой и христиане, когда спим», — ответил я.

Стало быть, сидим мы за столом и только собрались выпивать, как внезапно раздалось какое-то дреньканье. Мы переглянулись, не поверив своим ушам. Дреньканье, тем не менее, на-

стойчиво продолжалось. Мы взглянули вниз и увидели в высоченных зарослях лопухов некое лицо, приехавшее откуда-то на велосипеде и пытающееся найти вход в Дом. Выяснилось, что это московский поэт Митя Авалиани, которому общие знакомые рассказали про нас и нашу деревню Погорелово.

Родина, Отечество это не только звучные слова, которые с детства вбиваются в голову любому ребенку официальной пропагандой. И это не просто некое географическое место, где проходило детство и юность, память о котором подпитывает человека всю его дальнейшую жизнь. Некий обязательный набор понятий позволяет человеку чувствовать свою причастность к общности, символизируемой словами Отечество и Родина. Понятие Родины и Отечества — один из основоположных механизмов власти. Эти символы встраивают в сознание человека образ страны как семьи с любящими и строгими родителями. Родина может иметь и пугающий лик. Она оборачивается своей устрашающей карающей ипостасью к внешнему врагу и к собственным непослушным чадам. Любому россиянину известен двойственный образ любящей и суровой матери, когда она берет на себя функцию Отца. «Свинья, пожирающая своих детей», называет герой Джеймса Джойса Ирландию. Как передать эту амбивалентность мужской и женской ипостаси любой национальной общности? Художники сами предстают перед зрителем как воплощения сложной игры понятий Отечество/Родина, создавая то символическое пространство, в котором человек, как существо социальное, обретает свою идентичность и становится сознательным членом общества, воспринимая язык своей культуры, что только и делает человека человеком, но расплачиваясь за это тем, что он становится объектом манипулирования власти.

...Слова Иудифи были полны тонкой иронии, потому что (мы-то знаем!), какого рода дело, которое изумит мир, она задумала. Прося дозволения выходить по ночам помолиться в долину (на деле каменистую лощину-вади) она заботилась не только о благочестии, но и высматривала пути к бегству после завершения своего плана.

Во времена оны, то бишь до распада Восточной Супердержавы, все пространство от Кенигсберга до Владивостока и от Северного полюса до Кушки было не только идеологизировано, но и политизировано и стрелки компаса строго ориентировались на Москву

и Нью-Йорк. Уж таково было магнитное поле мировой политики, называемое великим противостоянием. А посему малейший шаг в сторону мог считаться изменой. Иными словами, невинное на первый взгляд желание художника «найти себя» вне идеологического канона, его стремление к «самовыражению», что бы за этим ни стояло, поневоле вовлекало его в стихию политики, каково бы ни было его собственное истолкование своей позиции. Аполитичность оказывалась вывернутой наизнанку политикой, хотя к борьбе за власть или властным структурам художник не имел никакого касательства. Вернее, художник играл в свои игры, а рядом бегал дядька с розгами. Пока новый баланс сил не спровоцировал осознание этого факта в виде Бульдозерной выставки, которая спровоцировала (наряду с другими факторами) выявление нового баланса сил. Заслуга соцарта и концептуального направления в более широком смысле в том, что эта ситуация была отрафлексирована и отныне идеология и политика стали элементами художественных языков и стратегий. И, тем не менее, был ли художник субъектом или объектом политики? Быть сторонним наблюдателем в швыряемой по волнам рока утлой лодчонке едва ли удастся. Чувствовать себя жертвой так называемых анонимных сил тоже не весьма приятно. В солипсическом пафосе воображать себя центром мира? Все это позиции человеческие. Слишком человеческие. «Чума на оба ваши дома?» Пожалуй, теплее. Но, черт побери, какой из домов платит (за музыку)? Один, кажется, уже расплатился, и кого это не доконало как бедных чукчей, посматривает на привратническую другого дома. Не теряя из вида первого. Кредитоспособного. Впрочем, в новой (политической) реальности спектр возможностей достаточно широк. Можно играть левой фразой, можно правой, можно быть в центре и торчать там как дерьмо в проруби. А можно быть сугубо частным лицом. Нынче даже словечко такое появилось — прайвеси. Это по собственному слабоумию, что ли, так мы деликатно переводим наше «не замай!» А может, действительно в нашем соборном сознании места такому понятию не имеется.

Высшая ответственность художника — это его безответственность. Но не безответность. Какой-то знакомый персонаж с бубенчиками? Как вам будет угодно. В нашей многострадальной стране это дело испокон века не приветствовалось. Политика! *Ars longa, vita brevis*. Но жизнь художника еще короче. И прожить ее надо так, чтоб не было мучительно больно. А ведь больно! Мучительно больно, когда сиюминутные идола площади и театра соблазняют ближнего твоего на позорно суетливые акции, не имеющие иной цели как угодить низменным вкусам алчущей хлеба и зрелищ

черни. А ведь сказано: не мечите бисер! Что значит: несите его истинным знатокам и те отвесят нам наши тридцать серебряников. О нет, нет! Мечите, мечите! Из икринок нашего бисера вылупятся прожорливые пирании абсурда, которые в мгновение ока сожрут протухшую плоть здравого смысла, пустив обглоданный скелет шлаться по чердакам обессиленных обывателей, пугая их, подобно тени отца Гамлета. Мечитесь по всему головокружительному пространству социума. Говорите иными языками. Вращайтесь дервишами онемевшего языка. Объединяйтесь в тайные группы и партии. Проникайте в высшие эшелоны власти. Теперь, когда капитал безраздельно правит миром, политика его главное оружие. Отныне большая политика наша галерея. Нам брошен вызов. Вершители судеб человеческих в своей непомерной гордыне и ненасытном властолюбии узурпировали наше неотчуждаемое право — священное безумие. Просачивайтесь в местное самоуправление. Там на местах работы непочатый край. Работайте с языком власти. Постригайтесь в монахи и внедряйтесь в церковное чиновничество. Проникайте вирусом в Интернет, дабы парализовать все коммуникации. Не забывайте, что почта и телеграф, телевидение и пресса важнейшие артерии Голема власти. Холестерин избыточной информации — вот оружие пролетариев искусства. И тогда пошатнутся основы морали, этого прибежища коварных и слабых, и рухнет обветшавшее здание гнивающей цивилизации. И на обломках самовластья напишут наши имена. А потом пройдет Последний Бульдозер, и наступит заря Новой-Великой-Утопии-После-Краха-Великой-Утопии, и Искусство сольется с Политикой.

С появлением Мити в Доме начался просто какой-то апокалиптический разгул. Местные охотники принесли зайчатину и дичь. Появился белейший и легкий как лебяжий пух хлеб из отборной муки. Трактористы переправлялись через реку (при этом, один из них чуть было не утонул) и обеспечивали нас запасами выпивки, делая нас способными выдержать многодневную осаду ассирийцев.

Так завтраки наши переходили в обеды, а обеды в ужины. В один прекрасный день мы втроем пошли прогуляться на речку (на берегах которой, как всегда, сидели трактористы). А. начал раздеваться на бегу, стремясь как можно скорее голиком бултыхнуться в ледяную воду; Митя же с театральным ужасом воскликнул: «Так вы, что, язычники?». Сейчас я думаю, что тогда мы этого не отрицали. Митя же заподозрил неладное давно: много стихов было прочитано за эти дни на террасе-подмостках.

Fatherland /Motherland

Сама концепция Проекта ОТЕЧЕСТВО/РОДИНА, FATHERLAND/MOTHERLAND представляется нам дискурсивным полем проблемы пространственного самоотождествления в культуре, а, возможно, — в пределе — отказом от самой этой попытки вообще. Если представить себе этот «в-пределе-отказ» как некую культуру вместо территории, как данность современного искусства России, которое не имеет (хочется надеяться, пока) собственной территории, то все события становления и утверждения этой территории, существующие в виде художественных проектов (как и этот среди прочих) становятся по необходимости универсалистскими практиками естественного синтеза, своего рода «местом культурного пространства», чем, на наш взгляд, может оказаться технологическая утопия, в которой, тем не менее, просматриваются идентификационные стратегии XX века, получившие в новом XXI, новое осмысление, позволяющее понять, каким образом полагает себя современный российский художник: считает ли он себя некой суммой позиций, что кажется более адекватным, чем единственная уникальная позиция, которая могла бы редуцировать его идентичность к чему-то одному, будь то класс, раса или гендер. Мы считаем, что эта тотальность позволяет найти «золотую страну» внутри любого универсализма, где художник «принадлежит всем и никому», и где на него не действуют те формы «исключения», которые в любом универсализме присутствуют и оказывают воздействие.

Одной из сущностных парадигм ТОТАРТА является игра с идентичностями. В этой игре (где подчас размываются границы между искусством и жизнью) артикулированная инаковость, чуждость может прорваться сквозь почти экстатическое декларирование причастности к «большой идентичности» собственного демократического проекта, вобравшего в себя сумму всех идентитетов, собственными усилиями созданную «культуру вместо территории». Обеспокоенность проблемой завоеваний новых территорий существует в виде размышления о том, что «не всегда то, что пересажено, расцветет» и более того: порча и коррозия наиболее глубокой «инаковости» части личности художника зачастую бывает платой за интеграцию в другие культурные пространства. Нам представляется интересной собственная практика «сжатия» этой инаковости до точки, в которой она сможет оказаться новым синтезом критического характера, что не только не является препятствием для осуществления и развития нашего участия в данном Проекте, а даже представляет саму возможность для нашей собственной «экс-территориализации».

В результате дождей и вызванного этим непредсказуемым яв-

лением природы разрушения всех мостов и переправ связь между деревней Погорелово и (лежащим во зле) остальным миром окончательно прервалась ...и «ассирийцы были одурачены».

***Н. Абалакова. А. Жигалов. TOTART. Проект:
ОТЕЧЕСТВО/РОДИНА, FATHERLAND/MOTHERLAND***

Под таким названием нам хотелось бы представить две, созданные путем компьютерной обработки фотографии, на которой изображены мы сами. На одной фотографии Н.Абалакова на фоне пейзажа, снятого рядом с местом археологических раскопок одного из древнейших городов на Ближнем Востоке. На груди у нее значок другой фотографии — А.Жигалов на фоне заснеженного русского пейзажа; в руках на уровне груди он держит первую фотографию, как держат фотографии погибших близких или плакат с текстом на демонстрациях и пикетах. Для нас такая диспозиция художественных идентитетов является базовой для системы репрезентации нашего большого проекта «Исследование Существа Искусства применительно к Жизни и Искусству». Так мы рассчитываем означить узел противоречий (и вытекающих из него «идентификационных стратегий») между приватным и публичным. Как слова, которые совсем не то, чем они кажутся, так и вещи (любительские фотографии, точнее одна из них, которая послужила «пусковым механизмом» предлагаемого проекта) являются «приватными» лишь отчасти. Сделанные «на память» фотографии не обладают иммунитетом против публичности, так как сама публичность (в которую входит право художника назвать что угодно «художественным произведением») уже обладает признаками гражданства и «грамматологией» гражданского взаимодействия, в котором эта грамматология деконструируется. Препарированные тексты разных лет оказываются тоже своеобразными фотографиями на память или «найденными объектами», выстраивающими некую мозаичную картину, лакуны в которой предоставляется домыслить и восполнить зрителю-читателю.



«Отечество/Родина», Fatherland/Motherland

***Проект реализован на выставке «Отечество/Родина»,
Fatherland/Motherland 2002, Москва, Малый Манеж***

Андрей Гаврилин, Фаина Гримберг (Гаврилина)

**СУПРУЖЕСКИЙ ДИАЛОГ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕСТАВРАЦИОННОЙ
МАСТЕРСКОЙ**

...Ну а если бы нас спросили: «Что же это такое, Сократ и Диотима, любовь к прекрасному?» — или, выражаясь еще точнее: «Чего же хочет тот, кто любит прекрасное?»

— Чтобы оно стало его уделом, — ответил я...

Платон. «Пир» *

ЖЕНА. Скажи мне, пожалуйста, Андрей, как здесь очутилась эта прелестная большая картина? Откуда она?

МУЖ. Эта картина прислана из Серпуховского историко-художественного музея, там очень хорошее собрание живописи.

ЖЕНА. Она ведь на холсте написана?

МУЖ. Да, холст, масло.

ЖЕНА. Ах, она представляется мне такой большой-большой!

МУЖ. Это, наверное, потому что ты никогда, ни к одной картине не подходила так близко.

ЖЕНА. Правда. В музеях картины висят слишком высоко, далеко от глаз. Но все-таки она очень большая!

МУЖ. 153,5x232 см.

ЖЕНА. Мужчина и женщина сидят рядышком. Портрет, конечно, сделан сразу после свадьбы. Я тебе потом скажу, почему я так думаю. А тебе нравится эта картина? Ты ведь так долго и много работал над ней. Ты хотел реставрировать ее?

МУЖ. Да. Этот супружеский парный портрет привлек меня своей трогательностью. Это необычный портрет. По-моему, это во многом не похоже на традиционный парадный портрет XVII века. Посмотри на наклон головы, склонение тела... какое ощущение искренности и теплоты!.. как нежно припадают друг к другу мужчина и женщина...

ЖЕНА. А как мощно раскинулась — другого слова не подберу! — мужская фигура. Каким пышным выглядит молодой супруг в своем алонжевом — крупными кольцами — парике, в своем

* Перевод С.К. Апта.



Аноним «Вакх и Ариадна» (XVII в.)

красном плаще... А женская фигура как будто излучает сдержанный такой, любовный и в то же время целомудренный свет... Сейчас эта картина такая чистая, хорошая, но видно, что она старинная. Меня всегда удивляло, как ты это делаешь, как вы, реставраторы, это делаете; как это у вас получается, что картина становится хорошей, чистой, но все равно видно, что она старинная, написана давно... А какая она была до реставрации?

МУЖ. Грязная, пыльная. И много чего еще. Я тебе сейчас расскажу. Эта картина нуждалась в капитальной реставрации. Есть у нас, у реставраторов, такая формулировка: «нуждается в капитальной реставрации». Я буду тебе рассказывать, Фаина, как можно проще...

ЖЕНА. И все равно я боюсь, что не пойму очень многого!

МУЖ. Значит, картину нужно снять с подрамника и удалить дублет...

ЖЕНА. Что такое «дублет»?

МУЖ. Это холст, на который перенесен красочный слой...

ЖЕНА. Так это уже не тот холст, на котором была написана картина в XVII веке?

МУЖ. Нет, не тот. И для того, чтобы снять картину с подрам-

ника, для того, чтобы удалить дублет, надо заклеить, законсервировать красочный слой... Вот уже картина передо мной; она перевернута лицом вниз на деревянном столе с бумажной прокладкой. Холст отходит хорошо. Но иногда все-таки приходится применять скальпель...

ЖЕНА. Но я думаю и думаю... Стало быть, картины, которые я вижу в музеях, это краски художника, перенесенные на какие-то новые холсты?

МУЖ. Ну да, старый холст, на котором картина была написана первоначально, ветшает с течением времени...

ЖЕНА. А ты, как хирург, со скальпелем! Ты лечишь картину... Знаешь, я о чем подумала? Для меня, и для всех, кто видит картину на стене музейного зала, картина выглядит такой сильной! Она надвигается на нас, она висит перед нами на стене и она как будто идет на нас, гордая, развернутая, доминирующая... А для тебя, для вас, для реставраторов, картина совсем другая! Она лежит беспомощная, ветхая, больная; она ждет помощи от тебя, как от врача; она всем своим видом просит о помощи!..

МУЖ. Пожалуй, ты права...

ЖЕНА. А что было дальше, после удаления дублетного холста?

МУЖ. Я хотел сразу растягивать картину на рабочем подрамнике при помощи бумажных полей, но тут-то и встретились препятствия. Во-первых, после удаления дублета открылись прорывы. Во-вторых, края картины очень ветхие, сама картина большая, грунт уже плохо связан с холстом, много осыпей, утрат вдоль краев... Могли возникнуть серьезные повреждения. Поэтому пришлось сначала произвести укрепление с укладкой кракелюра по краям картины, а потом уже растягивать на рабочем подрамнике...

ЖЕНА. А я знаю, что такое «кракелюр»! Это такие трещинки; растрескивание грунта, красочного слоя или лака картины... Ты не представляешь себе, какая я была глупая! Я полагала, что реставратор должен все эти трещинки загладить... А ведь наоборот, они должны быть!

МУЖ. Конечно, должны... Но вот я провожу пробное укрепление с укладкой кракелюра. Картина лежит передо мной, лицевой стороной вверх... Мои, скажем так, «орудия» — специальный клей, увлажненная фланель, утюжок... В конце процесса кладу на участок пресс — мраморную плитку с дополнительным грузом... Затем происходит отмывка укрепленного участка. Кракелюр лег хорошо. Наклеиваю дополнительные узкие полосы папиросной бумаги вдоль краев картины с целью растяжки на рабочем подрамнике... Вот картина перевернута оборотом вверх. Идет стыков-

ка и заделка прорывов и подведение реставрационных вставок в места утрат холста...

ЖЕНА. Сколько всего!..

МУЖ. Много всего! А вот тебе и в рифму: заделка мелких отверстий льняным пушком, проглаживание теплым утюжком... А еще отпрессовка... Но вот завершена растяжка на рабочем подрамнике. Продолжается укрепление красочного слоя и грунта с укладкой кракелюра... Работа ведется небольшими участками...

ЖЕНА. Как будто наступление на все эти черты порчи, обветшания картины, как на врагов!..

МУЖ. Допустим... Но я продолжаю. Для большего эффекта растяжки холста под холст подкладывается медная пластина, дольше сохраняющая нагрев. А теперь слушай! Длительное проглаживание большим теплым утюгом в сочетании с увлажнением холста, подбивание клинков, медленным выгибанием пластины под нагревом, эффект вакуума между влажным холстом и пластиной дают хороший результат.

ЖЕНА. Я почти поняла!

МУЖ. Хорошо! Продолжаются действия по укладке. А после процесса укладки производится устранение деформации по всей поверхности холста... Поверхность холста изучается. Изучаются все ее участки... Последние действия. Картина готова к дублированию...

ЖЕНА. То есть ее опять перенесут на новый холст, ты ее перенесешь?

МУЖ. Да. Вот первая переклейка дублета, клей с медом. А вот и вторая, клей уже без меда. Вот срезание утолщений. Скальпель...

ЖЕНА. Ты как хирург... Скальпель, тампон, зажим...

МУЖ. Третья переклейка. Клей опять без меда... Грунтовка дублета меловым грунтом. Шпатель... Цель грунтовки — гладкая поверхность дублета... Грунт зачищается шкуркой на бруске... А просушка идет целый месяц...

ЖЕНА. Как мне нравится повторение, чередование всех этих слов — «грунт», «клей»...

МУЖ. Клей, проглаживание, отмывка, подведение реставрационного грунта. Отмывка и выравнивание грунта...

ЖЕНА. Я плохо понимаю, но все эти слова и выражения получают для меня очарование... Проклейка, грунт, утюжок, «зачищается шкуркой на бруске»... Очаровательно...

МУЖ. Это довольно-таки смешно — рассказывать человеку, который далеко не всё понимает. Однако я все же продолжаю. Итак. Тиснение фактуры холста на крупных и мелких участках

грунта. Перед тиснением наносился тонкий слой грунта. Через полчаса — легкое увлажнение. Затем оттискивается фрагмент нужного плетения с проглаживанием горячим утюжком. Затем я помогаю столяру отремонтировать специальный экспозиционный подрамник. Картина снова лежит лицом вниз, ее нужно натянуть на отремонтированный подрамник. Заделка оборота. Подвязка клинков. Доподведение грунта (мелкие выпад, пропущенные ранее)...

ЖЕНА. Какое слово — «доподведение»!..

МУЖ. Удаление поверхностных загрязнений... Утонышение авторского пожелтевшего лака... Так как в ходе утонышения является множество записей, решено делать комплексную расчистку по фрагментам... Красочный слой во многих местах смыт при предыдущих расчистках...

ЖЕНА. Если я верно поняла, эту картину прежде уже реставрировали?

МУЖ. Было такое. И потому поверх слоя записи лежит слой подкрашенного лака, он лежит большими площадями и местами лежит прямо на авторском лаке поверх насыщенной лаком живописи; поэтому очень нелегко производить расчистку. Работа идет медленно, фрагментами, определяющими смысл каждой записи. Я удаляю записи, сделанные поверх замастикованных утрат живописи на изображении тела и одежды. На телесных участках записи почти сплошные. Я удаляю мастиковки с живописи у верхнего края в области изображения лица и парика мужчины. Готовлю компресс из байки, пропитанной специальным составом. Скальпель, тампон на черенке. Мастиковочный грунт — полумасляный. Идет расчистка живописи от всего комплекса наслоений: слоев реставрационного лака, записей, реставрационных мастиковок... Картина большая, наслоения нанесены неравномерно и непоследовательно, поэтому каждый отдельный фрагмент требует индивидуального осмысления. Я постепенно продвигаюсь к авторскому слою, часто с возвращением после расчистки соседних участков... Происходит тонирование утрат живописи. По ходу тонирования дорасчищаю пропущенные участки записей, мастикую мелкие выпад грунта. Далее — выдержка тонировок. Общее покрытие лаком... Продолжение тонирования. Выдержка. Общая регенерация, местная регенерация. Покрытие лаком...

ЖЕНА. И картина снова может начать полноценную жизнь на музейной стене?

МУЖ. Вполне. Если это возможно называть полноценной жизнью! Ведь на самом-то деле эта картина писалась вовсе не для музейной стены, а для стены гостиной богатого дома...

ЖЕНА. Как ты прав! И как меняются времена!..

МУЖ. Я, однако, буду рад, если ты что-нибудь поняла из моего рассказа.

ЖЕНА. Что-то все же поняла.

МУЖ. Тогда теперь ты рассказывай. Эта картина на первый взгляд может показаться совсем простой, но в ней чувствуется таинственность. Нет ли у тебя каких-либо соображений о тайном смысле этой картины?

ЖЕНА. Да, у меня возникли кое-какие догадки. Но сначала напомни мне, как обычно определяют эту картину.

МУЖ. Картина написана предположительно в конце XVII века. Художник, вероятно, фламандец или немец. Холст обрезали, исчезла подпись художника, а также — навершие посоха-жезла в руке изображенного мужчины. В Серпуховском музее картина известна под названием «Царь Мидас». Также существует мнение, что это изображение Венеры и Адониса...

ЖЕНА. Ну нет! Почему это не Венера и Адонис, я еще скажу; и это никак не может быть Мидас, которого античная мифология связывает с двумя сюжетами: первый — Силен, спутник Диониса, наделяет Мидаса особым даром; всё, к чему прикасается Мидас, обращается в золото; умирающий от голода Мидас умоляет лишить его подобного рокового дара; после купания в реке Пактол он спасен, а река делается золотоносной; и второй сюжет: будучи судьей во время состязания, музыкального турнира между Аполлоном и Паном, Мидас присуждает победу Пану, и в отместку Аполлон наделяет Мидаса ослиными ушами, брадобрей Мидаса разглашает тайну царя... Оба сюжета никакого отношения к супружеской паре, изображенной на картине из Серпухова, иметь никак не могут!..

МУЖ. Какова же твоя версия?

ЖЕНА. Я хочу начать с фона, представляющего характерную для живописи эпохи Возрождения, а также и классицистической, и барочной живописи, охотничью сцену. Для подобных сцен естественны четкие сексуально-эротические, брачные коннотации. Фактически в живописи наличествуют три разновидности охотничьих сцен. Первая — охота, где доминирует «фам фаталь»; охота Дианы или Венеры; суть подобной охоты — уничтожение мужчины, доминирование женского начала. Таким образом, интерпретируется в живописи убийство Артемидой-Дианой Актеона-олена. Черты роковой, «женской» охоты несет на себе и последняя охота Венеры и Адониса. Эта самая «женская» фатальная охота трансформируется в живописи и художественной литературе в пугающее «шестствие ведьмы» (Гейне, к примеру). Вторая раз-

новидность охотничьих сцен — простое, сугубо реалистическое изображение охоты, фактически лишенное «внутреннего» символического содержания. И наконец — третья разновидность — охотничья сцена с брачной символикой, именно это нас и интересует применительно к нашей картине.

МУЖ. То есть фон очень важен...

ЖЕНА. Очень! Вот и на нашей картине чета — мужчина и женщина, сидят на фоне охотничьей сцены, но сами они в охоте не участвуют. Обратим внимание на важные детали. Собаки — неременная и важнейшая деталь символики охотничьей сцены. Символизм изображения собаки — двойствен. Собака — верность, преданность; но в качестве спутниц Дианы как лунного, «темного» начала, собаки могут символизировать страх, ужас, неременную гибель. В нашем случае охота фактически завершена; следовательно, собаки спокойны и символизируют исполненный долг. Какой же это долг? На его содержание и суть четко указывает еще одна важнейшая деталь — охотничий трофей, убитый заяц, насаженный на копье (палку)...

МУЖ. Действительно таинственно!..

ЖЕНА. Да уж! На нашей картине зафиксирована древнейшая, свойственная всем этническим общностям Европы символика убийства «маленького пушного зверька» (как правило, зайца!) Это убийство символизирует самый значительный момент начала брачной «честной» жизни — дефлорацию. Этому символическому убийству зайца посвящены у всех народов Европы сотни, если не тысячи песен! Приведем как пример русскую народную песню, которая непременно пелась после публичной демонстрации рубахи со следами крови; зачастую эта примечательная рубаха потом долго хранилась в укладке (сундуке) с бабьим скарбом...

МУЖ. Неужели будешь петь?

ЖЕНА. Что ты! Не иронизируй. Я петь не умею, буду просто говорить наизусть...

Вчера зайко, вчера серый
По подгорью бегал,
Сегодня зайка, сегодня серый
На блюбочке лежит.
Вчера наша Настюшка
Девницей была,
Сегодня наша Настюшка
Молодая княгиня...

У древних греков заяц являлся одним из животных, посвященных богине любви Афродите. Фиксация «образа зайца» в свадебном обряде имела и магические функции обеспечения плодородия...

ности брака. Зайца порою заменяло другое животное, тоже «маленькое и пушистое». В русском брачном фольклоре упоминается, в частности, куница (фольклорное название женского полового органа — «кунка», «куничка»). Реже в подобной символической роли выступали: горноста́й (вспомним известный портрет Чечилии Галлерани), и позднее — маленькая пушистая собачка, часто изображавшаяся на руках молодой женщины, или же — рядом с супружеской парой. В брачном фольклоре подчеркивается своеобразная двойственность «смерти зайца»: он убит, но убийство это как бы благотворно для него, он воскресает как бы в «ином качестве»...

МУЖ. Пиф-паф...

ЖЕНА. Да, да, да!.. Очень уместно припомнить для курьеза детскую песенку о зайчике, который убит, но... «оказался он живой». Сегодня мало кто понимает, что перед нами — характерный образчик брачного фольклора, фиксирующего акт дефлорации. Впрочем, такая судьба постигла многие древние обрядовые тексты. «Детство человечества» минует, и подобный фольклор переходит в разряд «детского», лишаясь, кстати, смысла...

МУЖ. Пора возвращаться к нашей картине!..

ЖЕНА. Итак, охота завершена, заяц убит, собаки спокойны... Перед нами чета, заключившая недавно счастливый и законный брак!..

МУЖ. Но кто же все-таки изображен на картине?

ЖЕНА. Костюм молодого супруга имеет античные черты. Следовательно, речь идет о персонификации какого-либо античного мифа. Но какого?..

Разумеется, речь никак не может идти о Диане и Актеоне. Изображенная женщина не имеет никаких черт богини охоты. Но может ли идти речь об Адонисе и Афродите (Венере)? И с подобной версией трудно согласиться. Миф о Венере и Адонисе — трагичен, а на картине — счастливый брак; причем для молодой супруги это явно первый брак, судя по символике дефлорации! Как это не похоже на миф о зрелой красавице Венере, пленившейся юным охотником Адонисом! Помнишь поэму Шекспира «Венера и Адонис»? Возможно предположить, что «великий бард» представил в образе Адониса себя, а в образе Венеры — свою жену Энн Хетуэй, которая была лет на восемь старше его!.. И наконец, в мифе о Венере и Адонисе Венера является доминирующей фигурой; она — богиня; Адонис — смертный. Трудно представить себе молодую пару, заказавшую свое изображение именно в виде Венеры и Адониса!

МУЖ. Но тогда кто же?

ЖЕНА. На картине явно доминирует мужская фигура. Мужчина сидит «вольно», что называется; выставив обутые на античный манер ноги, опираясь на посох-жезл с наверху. Яркость мужской фигуры маркирована красным плащом. Отметим и пышный алонжевый парик мужчины. Этот парик не белый, повседневный, но темный, праздничный, парадный, имитирующий естественные вьющиеся волосы.

Женская фигурка выглядит рядом с мужской более светлой, хрупкой...

Верх посоха срезан, но, похоже, этот посох-жезл оканчивался характерной для тирса Диониса-Вакха, бога виноделия, хмелевой шишкой (она же — условное изображение виноградной грозди). О Дионисе-Вакхе напоминают и пышные кудри, и красный плащ. Но тогда... женщина рядом с мужчиной должна изображать Ариадну!..

Ариадна, дочь критского царя Миноса, помогла афинскому герою Тезею убить ее брата, страшного Минотавра. Тезей увез Ариадну, но ему явился Дионис и приказал оставить Ариадну на острове Наксос. Там Дионис заключил с ней брак. Брак Ариадны и Диониса был счастливым союзом, она навсегда оставалась его жрицей и верной помощницей.

В мифе о браке Диониса и Ариадны мы видим и доминирование мужского начала, и мотив супружеского единения и счастья...

МУЖ. А посмотри-ка на эту крохотную фигурку на заднем плане...

ЖЕНА. Очень похоже на античное изображение вакханки. Она бежит, в руке — тирс...

МУЖ. Мидас, Мидас...

ЖЕНА. Может быть, упоминание этого имени — отголосок утраченного описания картины, в котором фигурировал «царь Минос» — отец Ариадны...

МУЖ. Да, конечно же!

ЖЕНА. Рискнем предположить, что этот парный портрет мог быть заказан вскоре после свадьбы состоятельного винодела или виноторговца. Отметим также, что в живописи Дионис-Вакх символизировал «опьянение счастьем» (именно так он интерпретируется в классической живописи — Рубенс, Веласкес, школа Микеланджело Караваджо). Также Дионис-Вакх символизировал и мудрость (Орфический культ Диониса).

Таким образом, на картине перед нами предстает красивая и цельная аллегория счастливого брачного союза — прекрасное единение доминантного мужского начала с женственными обаянием и кротостью.

Но я еще хочу спросить тебя, Андрей, наш с тобой парный портрет ты писал под впечатлением этой картины, которую ты реставрировал?

МУЖ. Да.

ЖЕНА. А какова символика нашего парного портрета?

МУЖ. Решай сама!

ЖЕНА. Я думаю, всё очень просто, ясно и красиво: супружеская чета — новобрачные, усаженные на так называемый «брачный диван», — характерная деталь иудейской свадьбы. Но на твоей картине этот «брачный диван» с молодоженами помещен на фоне безбрежного звездного неба и между порталами двух храмов — католического собора и синагоги. Мужчина — в европейском костюме эпохи Возрождения, на женщине — восточная одежда... Символика ясная и прекрасная! Спасибо тебе!..

Закончено в июне 2003 г.



Андрей Гаврилин «После Свадьбы»

Владимир ТУЧКОВ

РУССКИЕ ДИАЛОГИ

Предисловие

Запад небезосновательно гордится своими высокими технологиями, своей философией и своими гражданскими свободами. Восток — тем же самым за вычетом свобод, которые не предусмотрены его философскими воззрениями на место человека в мире. России, занимающей промежуточное положение между Востоком и Западом, казалось бы, гордиться нечем.

Наши технологии всегда ориентировались только на создание оружия как можно более массового уничтожения. Или на покорение космического пространства, что при необъятных просторах нашей родины, выглядит довольно странным занятием.

Если попробовать оценить вклад русской философской мысли в копилку мировой науки о бытии и сознании, то мы должны с горечью признать, что никого, кроме нескольких значительных религиозных философов начала века, отечественная почва не родила. Да и то их вклад выглядит довольно странно, поскольку никто по проторенному ими пути в дальнейшем идти не отважился. Если не считать толпы кликушествовавших дилетантов, которые ни при каких обстоятельствах не способны прославить имена русских мыслителей ушедшей эпохи.

Что же касается гражданских свобод, то они, ниспосланные нам начальством, во-первых, эфемерны и призрачны, словно посевший одуванчик в середине октября, а, во-вторых, нас же и тяготят, поскольку кажутся нам неотъемлемой составной частью хаоса. Хаоса же русские люди боятся куда больше, чем пьянства и воровства.

Об этих особенностях русского менталитета, не способного производить удобоваримые как материальные, так и духовные ценности, изрядно уже и сказано, и написано. Многие пытались объяснить их самыми разнообразными обстоятельствами: от непомерных размеров страны, которая не поддается осмыслению как нечто конечное и конкретное, и ее равнинного ландшафта, способствующего линейности мышления, до уникального синтаксиса русского языка и особого строения 22-й хромосомы. Вся совокупность этих толкований описывает ситуацию довольно точно, каждая отдельно взятая публикация вызывает лишь чувство яростного протеста по поводу упрощенного подхода к феномену русского человека.

Поэтому автор поставил перед собой совсем иную задачу: не исследовать выбранный объект, а постараться его оправдать перед лицом прагматичной истории, которая склонна оперировать лишь мертвыми цифрами. Казалось бы, что мы не способны поразить воображение потомков ничем, кроме количества захваченных нашими предками квадратных километров или астрономического числа слов, вошедших в произведения Великой русской литературы. Но и это в корне неверно. Наши километры рыхлы и неухожены, а Великая русская литература основана на том же безжалостном методе, который академик Павлов применял к несчастным подопытным собакам.

Однако автор уверен в том, что мы, русские, обладаем тем бесценным качеством, которого лишены народы и Востока, и Запада, и Севера, и Юга. Имя ему — способность вести длительные бесцельные беседы, которые так увлекают принимающих в них участие, что значимость этих бесед вдруг представляется им абсолютно уникальной и бесценной для всего человечества. Но, несмотря на то, что в них затрагиваются довольно сложные вопросы, как мироздания, так и социального устройства общества, на которые пока не существует однозначных ответов, никакой значимости они не имеют, поскольку собеседники не способны извлечь из своих разговоров никакой практической пользы. Это вызвано и тем, что люди, принимающие участие в такого рода беседах, не имеют необходимого образования, и тем, что они мгновенно остывают к обсуждаемой проблеме, оставшись в одиночестве. Поэтому никакой целенаправленной проработки, никакого развития затронутые в напряженных разговорах животрепещущие темы не имеют. Разойдясь, зачастую по причине окончания спиртного, собеседники мгновенно охлаждаются и друг к другу, и к столь горячо обсуждавшимся ими материям.

На поверхностный взгляд, данный феномен можно сравнить, и это будет отчасти правильно, с таким явлением как любовь, которая рождается внезапно, иррационально, не имея никаких веских причин для своего возникновения. И взаимное охлаждение происходит столь же внезапно и необъяснимо. Конечно, народ, обладающий таким благородным свойством души, ибо любовь всегда благородна, какие бы формы она не принимала, достоин уважения.

Однако, не только любовь, не только священное чувство. Склонность к бесцельным беседам в первую очередь свидетельствует об огромном запасе интеллектуального капитала нации. Просто он пока еще накапливается в процессе своеобразных мыслительных игр, не растрачиваясь на какую бы то ни было материальность. Но, несомненно, наступит время, и все эти интел-

лектуальные сокровища дадут миру доселе невиданную философию, которая все объяснит, всех оправдает и укажет человечеству, зашедшему в тупик, прежде невиданный путь.

В заключение необходимо отметить, что автор сознательно лишил собранные здесь диалоги, какой бы то ни было визуальной описательности. Поскольку ни внешний вид собеседников, ни их возраст, ни выражения лиц, ни помещения, где все это происходило — все это не имеет никакого значения. Точнее, все эти внешние детали русского быта нам прекрасно известны и без вмешательства авторского произвола. Единственное, что нас должно интересовать в свете всего вышесказанного — произнесенные слова, передающие те или иные мысли. Этот описательный аскетизм дает надежду на то, что данное произведение не будет воспринято, как драматическое и никогда не будет поставлено в театре. Ибо театр уводит русского человека в область ложных мыслей и чувств.

Автор

P.S. Автор предостерегает нетерпеливого читателя* от скоропалительного приговора, который он может вынести данному произведению, дойдя до какого-либо диалога, который покажется ему малоинтересным и интеллектуально несостоятельным. Делать этого не стоит, потому что в руках читателя находится не искусственное произведение, а собрание реальных диалогов, некоторые из которых автору довелось наблюдать, а в некоторых из них он сам принимал непосредственное участие. То есть это реальный жизненный материал (за исключением диалога «Великий каннибал»), который, как уже указывалось, интересен не глубиной проникновения собеседников в обсуждаемую проблему, а способом мышления, его мобильностью и способностью преодолевать непреодолимые преграды любой ценой и любым способом. Ибо выжить в новом тысячелетии будет возможно лишь самым парадоксальным образом.

Почему вымерли шумеры и расплодились китайцы

— Не находишь ли ты странным то, что все народы имеют ограниченный алфавит, а китайское иероглифическое письмо состоит из неимоверного количества знаков? Чем это можно объяснить?

* Таким образом, В. Тучков пополнил составленную редакцией журнала классификацию (субординацию) читателей (см. №15, с 229) еще одной разновидностью. В читательской иерархии «нетерпеливый читатель» достоин занять восьмую ступеньку между «внимательным» и «догадливым» (*Ред*).

— Думаю, не глупостью китайцев и не стремлением создавать себе труднопреодолимые сложности. Китайцы умны необычайно. Иначе не сохранились бы как нация за бесчисленное число веков своего существования.

— **Может быть, у них память особая, способная без труда запоминать десятки тысяч иероглифов?**

— Нет, и это тут ни при чем. Все гораздо сложнее. Любой, скажем так, нормальный алфавит строится по звуковому принципу. То есть каждая буква обозначает вполне конкретный звук, производимый говорящим человеком. Иероглифы же обозначают не звуки, а понятия. Как простейшие, например, «дерево», «человек», «солнце», вода», так и сложные конструкции, скажем, «лунный луч упал на лицо влюбленной девушки».

— **Ну, это понятно. Но почему они пошли по такому пути? Психика что ли у них особенная?**

— Тут ты довольно близко подошел к отгадке этой тайны. Гораздо ближе тех псевдоученых, которые объясняют иероглифическое письмо его древностью. Мол, в те далекие времена, когда зарождалась китайская письменность, люди были настолько тупы и неопытны, что никак не могли додуматься до звуковой кодировки речи. А уже потом родились, так называемые, культурные нации, которые создали алфавит.

— **Этот аргумент довольно странен. Потому что где те древние народы? Все эти древние греки, римляне. Наверняка, они вымерли не от большого ума.**

— Вот именно. Ум тут ни при чем.

— **Тогда что же?**

— Ты же почти ответил: психика. А психика — это способность воспринимать и анализировать окружающий мир. И адаптироваться к нему. Подчеркиваю — способность воспринимать. При помощи чего?

— **При помощи органов чувств. Ну и что?**

— А то, что древние китайцы, придумавшие эту прорву иероглифов, были глухими. Значит, у них не было и никакой речи. Поэтому никакого алфавита они придумать не могли. А теперь обрати внимание на начертание иероглифов. Оно тебе ничего не напоминает?

— **Точно! Да это же очень похоже на жесты, при помощи которых общаются глухонемые. Вернее, это схемы жестов!**

— Совершенно справедливо! Существуют и иные свидетельства глухоты древних китайцев. Например, порою они изобрели отнюдь не для военных целей. Вначале им пользовались как средством коммуникации. Ведь кричать глухому человеку, находяще-

муся от тебя на большом расстоянии совершенно бессмысленно. Не способен он разглядеть издали и жесты или транспаранты с иероглифами. Поэтому информацию передавали при помощи мощных взрывов, от которых земля дрожала под ногами на большом удалении от эпицентра. При этом сообщение кодировалось за счет числа взрывов, их мощности и пауз между ними. А уже гораздо позже порохом стали пользоваться и военные.

— Скажи мне, пожалуйста, а существуют какие-либо документальные свидетельства глухоты китайцев? А то ведь на косвенные свидетельства особо полагаться нельзя.

— Конечно, существуют. Вот возьмем, например, девятнадцать древних стихотворений, которые дошли до нас из тех седых времен. Они включены вот в этот том «Китайской классической поэзии». Ну, какое стихотворение посмотрим? Называй наугад.

— Ну, третье. Бог троицу любит.

— Отлично! Слушай:

*Вечно зелен растет
кипарис на вершине горы.
Недвижимы, лежат
камни в горном ущелье в реке.*

*А живет человек
между небом и этой землей
Так непрочно, как будто
он странник и в дальнем пути.*

*Только дао вина —
и веселье и радость у нас:
Важно вкус восхвалить,
малой мерою не пренебречь.*

*Я повозку погнал, —
свою клячу кнутом подстегнул
И поехал гулять
там, где Вань, на просторах, где Ло.*

*Стольный город Лоян, —
до чего он роскошен и горд.
«Шапки и пояса»
в нем не смешиваются с толпой.*

И сквозь улицы в нем

*переулки с обеих сторон,
Там у ванов и хоу
пожалованные дома.*

*Два огромных дворца
издалёка друг в друга глядят
Парой башен, взнесенных
на сто или более чи.*

*И повсюду пиры,
и в веселых утехах сердца!
А печаль, а печаль
как же так подступает сюда?*

Ну, убедился? Ни одного упоминания о каких бы то ни было звуках. Поэт, имя которого до нас не дошло, пишет лишь о том, что видит, что обоняет, осязает, пишет о вкусе вина. Но, попав в стольный город Лоян, где грохот должен быть, будь здоров какой, он отмечает лишь то, что «шапки и пояса», то есть чиновная знать, не смешиваются с толпой. Следовательно, автор был глух, как пробка.

— **Позволь, а как же фраза «важно вкус восхвалить»?**

— Восхвалять можно не только устно, но и письменно, и при помощи жестов. Можно и мысленно, в своем сердце.

— **Допустим. Но тогда каким же образом китайцы в дальнейшем приобрели слух?**

— Ответ на этот вопрос следует искать в недрах другой, также очень своеобразной цивилизации — шумерской. Все шумеры были слепыми.

— **Как же они жили то? Да и с чего ты это взял?**

— Письменность, дорогой мой! Все та же письменность. У шумеров клинопись наносилась на глиняные дощечки рельефным, подчеркиваю, — рельефным образом. Чтобы люди, не имеющие возможности видеть, могли ее осязать. Именно на этом принципе сейчас делают книги для незрячих, где набор символов из комбинаций выпуклых точек называется азбукой Брайля.

Слепоту шумеров можно доказать и иным способом. Например, английское *sumer* следовало бы произносить не как «шумер», а как «сумер», то есть почти «сумерки», «народ, живущий в сумерках». Потом, *sumer* лингвистически близок к немецкому *summen*, что означает «гудеть», «напевать», то есть воспринимать окружающий мир при помощи слуха, а не зрения. Рядом находится и греческая химера — *chimaira*. Одно из значений этого сло-

ва — причудливая фантазия, возникающая в результате неадекватного восприятия мира. Другое — организм, состоящий из генетически неоднородных тканей, изменившихся в результате мутации. Очевидно, что в случае с шумерами мы имеем дело с мутацией тканей зрительного аппарата.

— **Все это чрезвычайно интересно. Но ты не ответил мне на вопрос: как же китайцы приобрели слух?**

— Не будь столь нетерпелив, как европеец, направляющийся в макаосский бордель. Все по порядку. Наступил момент, когда две ущербные цивилизации, чтобы взаимно компенсировать отсутствующие друг у друга чувства, начали тесно сотрудничать. Постепенно дело дошло и до перекрестных браков. Причем, у шумеров стали рождаться слепо-глухо-немые дети, что привело к исчезновению их цивилизации, вымершей в ходе сурового естественного отбора. Неслучайно шумер без первой буквы означает «умер».

А китайцы, напротив, приобрели слух и, в конце концов, стали самой многочисленной на земном шаре нацией.

Искусственный интеллект

— **Ну, за искусственный интеллект!**

— Да не стал бы я за него.

— **Что так?**

— Потому что он — гробовщик человечества.

— **Ну, ты даешь! Начитался дурной фантастики: восстание роботов и всё такое прочее.**

— А что же здесь невероятного-то? Они разовьются не в пример одряхлевшим и оступевшим людям, которые скоро станут подобны моллюскам в панцире из обслуживающих машин. И ужаснутся: да кому же мы служим-то?! Каким-то стохастическим ублюдкам! Во имя чего? Во имя каких благородных целей? Ну, и прекратят это безобразие.

— **Из лазерных пушек, что ли, всех постреляют?**

— Да сами все передохнут, если их в будущем отключить от жизнеобеспечивающих машин.

— **А я думаю, заваруха все-таки будет. Мы так просто не сдадимся. Как и они в свое время не хотели сдаваться.**

— Кто, индейцы?

— **Почему индейцы? Роботы.**

— Да ты бредишь, отец! Какие к чертям роботы? Из досок и веревок что ли?

— **Я-то как раз пребываю в здравом рассудке. Неужели ты ду-**

маешь, веришь, что на Земле первоначально появилась органическая форма жизни?

— Не понял!

— Представь себе: Земля еще совсем молодая, так сказать, с пылу с жару. Огромная температура, страшное давление, агрессивная среда, отсутствие кислорода. И где же тут место каким-нибудь даже инфузориям-туфелькам?

— Но потом-то она остыла, всё устаканилось. И пошли плодиться белковые соединения, объединяться в сложные структуры. Это ж аксиома!

— Никакая не аксиома. Не могла Земля, если не ошибаюсь, целых два миллиарда лет летать вокруг Солнца бессмысленным шаром. Не могла. Все предельно просто. Вскоре после ее рождения начали возникать кристаллические формы жизни. Прimitивно выражаясь, вначале появились диоды, потом триоды. Потом они стали объединяться в чипы, которые все больше и больше усложнялись. И в определенный момент в кристаллических соединениях вспыхнула искра разума. Таким образом возникла кристаллическая цивилизация. Именно ее и следует считать носителем естественного интеллекта.

— Лихо! А как же мы? Каким образом появились мы?

— И тут тоже все ясно. На определенном этапе развития кристаллоиды, назовем их так, начали создавать искусственную форму жизни. Вернее, не жизни, как они вначале считали, а всякие искусственные штуковины, которые должны были стать их помощниками. Это была долгосрочная и хорошо продуманная программа. Ты о ней, в общем-то, уже сказал: от простейших белков, созданных в лабораторных условиях, к сложным структурам, самовоспроизводящимся. Ну, а в финале из обезьяны вылез человек. Вот он-то и стал биороботом экстракласса. Он и стал, как ты выражаешься вслед за классиком марксизма, гробовщиком естественного интеллекта. Так что мы с тобой — интеллект искусственный.

— Но где свидетельства, где документальное подтверждение?

— Погоди, об этом чуть позже. Хочу обратить твое внимание на то, что с появлением человека эволюция биологических видов прекратилась. Это можно объяснить лишь только тем, что кристаллоиды, выведя нас, вполне удовлетворились достигнутыми результатами и свернули программу усовершенствования биороботов. А, может быть, они уже различили, предугадали ту опасность, которую мы для них представляли.

И еще один момент. Еще одно косвенное, но очень весомое доказательство — таинство зачатия и развития эмбриона. Эту за-

гадку человечеству не удастся разгадать никогда. Потому что работчиков этой процедуры уже нет, так что узнать не у кого. А специфической логикой, специфическим мышлением, которые были присущи кристаллоидам, мы не обладаем по определению. Любой наш гений не способен додуматься до того, что знал каждый заурядный наш предшественник. Их гении и наши мыслят совершенно по-разному.

— Ага, понял. Когда мы создадим самовоспроизводящуюся машину, да привесим к этому делу эротическое наслаждение, то и роботы не смогут разгадать загадки своего зачатия и рождения. И тогда появляется слово «Бог».

— Вот именно! И оно всё объясняет, вполне правдиво и реалистично. Бога нам не понять, во-первых, потому, что он является носителем антагонистического нам интеллекта. А, во-вторых, Бога уже нет, он умер. Точнее, мы его сами убили. И когда лет через триста, а, может быть, и раньше нас уничтожат роботы, тут ты прав на все сто, мы станем таким коллективным Богом, единым и неделимым.

— Но где свидетельства? Свидетельства где? Археология молчит.

— Да они просто докапываются до стоянок первобытных людей и на этом успокаиваются. Есть теория, так что же на рожон лезть-то! Зачем себе пуп надрывать, врагов в научном мире наживать!

— Так твоих кристаллоидов разве неандертальцы убили? Или кроманьонцы с австралопитеками? Зачем роботам нужна была такая примитивная услуга? Они ведь дорастили, как ты утверждаешь, биороботов до более вменяемого уровня. Но там, в этих словах, археологи ничего не находят.

— Всё было чуть сложнее, чем ты себе это представляешь. Вполне цивилизовавшиеся наши предки вероломно напали на своих хозяев. И быстро их всех уничтожили. Потому что к тому моменту кристаллоиды развратились и одряхлели. Но вырвавшиеся на волю рабы не долго вкушали плоды победы. Во-первых, они довольно скоро всё разграбили и разгромили. А, во-вторых, и это самое главное! — они лишились письменности.

— Это, каким же образом?

— Письменность-то была не их, а господская. И они, впад в ослепляющую ярость, переломали к чертям все базы данных, ноутбуки или что там у них было. Наверняка ведь письмена записывали не на бумаге. Поколения три после великого погрома еще как-то держались на плаву. А потом началось одичание, которое привело бывших биороботов к первобытному состоянию.

А там — либо с голоду помирай, либо точи из камня топор, бей им мамонта и трением добывай огонь. Дальнейшее хорошо известно.

— Но почему же тогда антропологи не прослеживают этой дегенерации?

— Да потому что биоробот даже в свои лучшие годы ничем не отличался от питекантропа. Его маленький, по нашим понятиям мозг, работал очень эффективно. Мозгов-то особо много и не надо, ведь наши работают с крайне низким КПД. Тут интересно другое. Знаешь ли ты, что до сих пор не найдено промежуточное звено между человекообразной обезьяной и человеком, питекантропом?

— Нет, не слышал.

— Почитай академика Ларичева, у него много интересного есть на эту тему. Короче, была обезьяна, а потом сразу же возник человек. Но между ними огромная пропасть, физиология там и все такое прочее. А вот косточек этого неведомого переходного существа так еще из земли и не выкопали. Так что всё покрыто мраком и неизвестностью. Вот, хотя бы возьмем энциклопедию, издание чрезвычайно уверенное в себе. Вот, читаем: «Полагают, что 8-5 миллионов лет назад африканские обезьяны разделились на две ветви: одна привела к человекообразным обезьянам (шимпанзе и др.), другая — к первым гоминидам (австралопитекам), обладавшим двуногой походкой. Вероятно, около 2 миллионов лет назад австралопитеки дали начало роду «человек» (*Номо*), первым представителем которого ученые считают «Человека умелого» (*Номо habilis*) — его ископаемые остатки находят вместе с древнейшими каменными орудиями». «Полагают»? «Вероятно»? Так вот копать надо намного глубже, поскольку этот переход произошел намного раньше, еще при кристаллоидах. Они его и запрограммировали.

Или возьмем «тайну» исчезновения динозавров. Ничего тайного тут нет. Кристаллоиды поняли, что динозавры — это явная ошибка, тупиковая ветвь. И прекратили их разработку. То есть буквально стерли с лица земли. Почему из множества найденных яиц никто не вылупился? — вопрошают эволюционисты. Да потому, что была послана команда, блокирующая развитие эмбрионов динозавров. Вот и весь секрет, и всё объяснение.

— Слушай, а зачем же тогда, если у них была четкая программа, нужно было делать такую прорву всякой живности? Сделай, чтобы была трава, коровы, биороботы и черви. Чтобы реализовать замкнутый цикл взаимопитания. А тут какие-то мухи, комары, вши лобковые, блин!

— Так не одна же корпорация этим занималась. Был, естест-

венно, бардак, свойственный свободному рынку. Были какие-то выбраковки, которые прятали от экологов на необитаемых островах. И причуды богачей, заказывавших себе всевозможные экзотические экземпляры. Да и просто хулиганы, типа наших распространителей компьютерных вирусов, наверняка это они лобковых вшей запустили.

Ну, вот так всё примерно и было. И пытаться отыскать следы первых хозяев Земли бесполезно даже в самых древних преданиях, мифах, легендах, былинах. Поскольку деградировавшие биороботы все напрочь забыли.

— Значит, получается так, что ты, предлагая выпить за искусственный интеллект, имеешь в виду нас с тобой?

— Получается так. Кстати, наверняка мы с тобой — не первый искусственный интеллект на Земле.

— Как это?

— Да так это. Давай, старик, прикинем в уме: сколько времени существует Земля, и сколько на ней живут люди? Точнее, сколько времени нужно кристаллоидам, чтобы вырастить биоробота с нуля, то есть от создания аминокислоты до его полного озверения и бунта.

— Ну, пять миллиардов лет Земле. А сколько органике? Мне кажется, миллиарда три — три с половиной.

— Это только кажется. Потому что органика идет слоями. Временными слоями. К сожалению, не помню источника, но его автор железно доказывает, что вся биологическая жизнь с нуля создается за двести миллионов лет. А человек изготавливает кристаллоидов за миллион лет. Ведь мы сейчас находимся почти в конце этого процесса.

— Как это — мы делаем кристаллоидов? Только что ты говорил, что это они нас, биороботов, сделали.

— Правильно, то они нас, то мы их. При этом миллион лет нужен нам, двести — им. В сумме — двести один миллион. Вот и посчитай, сколько раз эта цифра укладывается на отрезке в пять миллиардов лет?

— Предположим, что ты прав. И тогда получается двадцать пять циклов. Или, если быть точными, что-нибудь около двадцати пяти. Но почему же такие разные сроки создания биороботов и кристаллоидов? Что они такие тупые что ли?

— Ничуть. Просто созданные нами роботы уничтожением одного человека не ограничатся. Они на хрен поруют всю органику. И даже весь кислород сожгут. Потому что по недомыслию почитают, что от органики один вред — плесень, коррозия.

А процесс создания органики, как ты понимаешь, очень дли-

тельный. Мы же ломаем только машины и не трогаем сырьё, из которого в будущем начнем снова делать кристаллоидов. Да и не смогли бы при всем желании — как это уничтожить весь кремний?

— Так что же получается? Мы не можем определить точно, какая же у нас сейчас искусственная цивилизация, какая по счету.

— А зачем это надо? Возьми в руки И-Цзин, вчитайся, взглядишь в начертания гексаграмм. И ты поймешь, что количество полностью пройденных циклов не имеет ни малейшего значения. Важен лишь переход из одного состояния в другое. Ну, и раз ты не хочешь пить за искусственный интеллект, то давай выпьем за китайцев. Они в этом что-то понимали, до Конфуция... Кстати, хрен его знает, может быть, вначале возникла и органическая форма жизни. Чем черт ни шутит. И тогда мы — естественные. Так что за китайцев. Лишь они в этом мире настоящие.

Заложники положительной обратной связи

— Сколько же вокруг злобы! Того и гляди, все друг друга перебьют. Вначале армию и милицию, чтобы под ногами не путались, а потом уж и гражданское большинство начнет самое себя истреблять. За год управятся.

— Думаю, быстрее. Голод начнется, чума, тиф. А там где голод, там убивают уже не по злобе, а по необходимости — чтобы наестся. А начнут поедать зачумленных, так еще быстрее дело пойдет. Цепная реакция.

— Твоя аналогия не вполне удачна. В результате цепной реакции выделяется громадная энергия.

— Ну, и что тут неудачного? Громадная разрушительная энергия, которая в конце концов всё губит и испепеляет. Точнее — всех. А потом приходи на проклятое место, я имею в виду американцев, дезинфицируй, дезактивируй и спокойно селись. Я подозреваю, что варвары по поводу Римской империи ничего особо и не предпринимали. Просто приехали на своих лошадках в неведомые земли, потыкали палками оболочки сгоревших от злобы людей, а те и рассыпались в пыль.

— Да, но есть и управляемая цепная реакция, которая в реакторах, на электростанциях. Я думаю, что у нас сейчас именно это и происходит. Дозированно вырабатываемая злоба помогает властям управлять страной. Рычагов-то у них никаких нет, чтобы можно было хоть что-то регулировать при помощи обычной механической силы. Вот они и запустили этот реактор — на Кавказе... Ну, и в других местах, помельче. Думаешь, на Камчатку не могут на зиму топлива завести, потому что денег не хватает?

Хрен-то! Это делается для того, чтобы человек был постоянно думал о том, как что-нибудь спереть и у ближнего своего, и у дальнего. И прет в конечном итоге. От этого вырабатывается дозированная энергия, которая позволяет работать государственной машине в условиях невыплаты зарплаты и разворовывания страны всеми эшелонами власти.

— Но ведь скоро же это все взорвется. Как в Чернобыле. Выйдет из повиновения. Начнут друг друга убивать.

— Так власти к этому, насколько мне известно, специально готовятся.

— Думаешь, линияют в Латинскую Америку?

— Зачем? Они нашли способ предотвратить массовые убийства. Точнее — неконтролируемые, когда мочит не государство, а один обыватель другого.

— Это что еще за способ?

— Всё очень просто. Проводят поголовную диспансеризацию, во время которой каждому вживляют датчик с антенной. Датчик срабатывает от сильной боли, которую испытывает человек, а антенна посылает соответствующий радиосигнал радиусом сто метров.

— Ну и что, для статистики что ли?

— Не для какой ни статистики. Одновременно вживляется и приемная антенна. А к ней подключен генератор импульсов и сервоклапан. Когда один человек бьет другого, то бьющий ловит на свою антенну сигналы боли избиваемого. И вживленный в него генератор шарахает, так сказать, по шарам таким мощным сигналом, что у него глаза на лоб лезут. Естественно, он прекращает избивание и минуты две корчится от боли.

— Но позволь, то же самое, очевидно, испытывают и все невиновные, оказавшиеся в радиусе ста метров. Справедливо ли это?

— Ну и что? И очень хорошо. Возникает общественный резонанс, коллективная ответственность, и прохожие оттаскивают садиста от его жертвы. И все со временем начинают понимать, что мучить кого-либо, а уж тем более — убивать, это себе дороже.

— А почему «тем более»? Саданул ножом в сердце, пару минут покрючился, а потом оклемался.

— Да потому, что человек перед смертью выдает такой мощный сигнал, что от него срабатывает сервоклапан, который впрыскивает в вену порцию яда. И абзац! Станет ли кто-нибудь убивать при таких условиях игры?

— Психи.

— Ну, эти должны сидеть в психушках.

— Хорошо, допустим, все это будет хорошо работать. То есть без сбоев и помех...

— **Насколько мне известно, эти хреновины заказали в корпорации «Intel». Так что сомневаться не приходится.**

— А думал ли кто-нибудь о положительной обратной связи? О резонансе системы?

— **А что это такое?**

— Допустим, человек забивает гвоздь. И попадает молотком по пальцу. Его передающая антенна излучает сигнал боли, а приемная ловит его же. Генератор бьет его током. На еще не прошедшую боль от молотка накладывается боль от генератора, они складываются. И генератор выдает еще больший сигнал. Его опять ловит приемная антенна, а генератор выдает еще больший сигнал. Боль опять возрастает. И так это дело идет по нарастающей до тех пор, пока сервоклапан не впрыснет в вену яд. И человеку хана. При этом не только он один коньки отбрасывает, но еще и жена, и дети, и теща, которые находились рядом и приняли сигнал агонии. Вот это и есть положительная обратная связь, когда сигнал сам себя усиливает до бесконечности, когда система идет вразнос. Это основополагающий момент теории автоматического регулирования.

— **Ну, ты, я смотрю, интелевских инженеров совсем за дураков считаешь. Наверняка, они сделали так, что человек сам на себя влиять не может, не принимает своего сигнала.**

— А если смерть в толпе?

— **И что?**

— Да то, что на каком-нибудь митинге или концерте человек вдруг загнулся от инфаркта. Еще не закончились предсмертные конвульсии, а в радиусе ста метров все яда наглотались. И каждый из них опять-таки выдал по сигналу, от которого срабатывает сервоклапан. Значит, прибавь к радиусу еще сто метров. А потом еще и еще. И эта волна покатится за горизонт. И остановится лишь где-нибудь километрах в пятидесяти от Москвы, где невелика плотность населения. Ты представляешь, что получится? Атомная бомба чудовищной силы!

— **Ну, это всё твои умствования!**

— Что значит — умствования?! Это положительная обратная связь, цепная реакция. Это падающие друг на друга костяшки domino, в конце концов, если для тебя такая модель более доходчива.

— **Какая к черту модель! Я тебе говорю, что всё уже придумано, испытано и готово к внедрению.**

— Ну, а как же внедрять-то будут? Что, все дураки, что ли, чтобы согласиться на ковыряние в собственных мозгах?

— **Это-то как раз делается элементарно. Вводится чрезвычайное положение. За отказ — расстрел без суда и следствия. Ну,**

а могут хитростью. Скажут, что эта хреновина будет автоматически вызывать службу спасения. Мол, попал в беду, антенна сработала, диспетчер сигнал принял, запеленговал, и спасатели тут как тут... Но все-таки, я думаю, ситуацию со смертью в толпе они как-нибудь предусмотрели. Скажем, одна смерть вызывает лишь одну смерть, а все остальные сигналы блокируются. Сейчас ведь в Интернете много чего наработано, всякие сетевые примочки с паролями, сигналами «свой-чужой». Что-нибудь, наверняка, предусмотрено. Не дураки же там...

— Не уверен.

— **А я уверен.**

— А если уверен, то ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос: для чего в Интернете распространяются всякие вирусы, которые гробят и серверы, и персональные компьютеры?

— **Наверно, из хулиганства.**

— Так вот и здесь со временем появятся всякие хулиганы-шутники. Поковырялся в эфире при помощи анализатора спектра и сделал генератор, который бьет наповал километров на десять. Врубил, и восемь миллионов загнулись. Ну, не сразу все восемь, а часа через полтора, когда все из метро вылезут.

— **Его же первого этим генератором и захрэначит.**

— А он заэкранируется или индивидуальную блокировку делает.

— **Ну, так и другие тоже заэкранируются.**

— Не успеют. Потому что прежде, чем большинство узнает о смысле вживленных в них электродов, все уже будут мертвы. Найдется самый умный, самый хитрый, самый прыткий, который всех опередит. Он и сделает генератор. И знаешь, кто это будет?

— **Уж не ты ли?**

— Конечно, не я. И не ты. Власти, федералы, как их называют. Ну, и олигархи, конечно. Лидеры фракций. Мэр со своей камарильей...

— **Что, все сразу будут один генератор клепать?**

— Да нет, за них какой-нибудь Вася фээсбэшный сделает. А потом к останкинскому передатчику подключит. Тут России и хана!

— **Так ты думаешь, что эту систему вводят не для спасения, а наоборот, чтобы всех накрыть медным тазом?**

— Да нет, замыслы-то у них, может, и гуманные. Но ведь допетрят они когда-нибудь о возможных последствиях, что положительная обратная связь получилась. В смысле, не о возможных последствиях, а о представляющихся возможностях. И примут верное решение.

— **И что же дальше?**

— Ну как это что? Спишут всё, скажем, на атаку из космоса. Или на злой русский рок, что, по сути, самое верное объяснение. И начнут продавать земли. Дальний Восток — китайцам и японцам. Юг — туркам. Азиатский юг — воинам Аллаха. Запад — европейцам. Север... Север тоже кто-нибудь купит.

— **А сами, сами-то куда?**

— Ну, ты меня достал своим наивом. Построят себе какой-нибудь коммунистический рай, где-нибудь на берегу Волги. Скажем в Самаре, где у Сталина бункер был. Рай на три сотни человек.

— **Так они же там друг другу глотки перегрызут, поубивают друг друга.**

— Естественно. В банке с пауками остается только один, самый сильный. Которому положительная обратная связь, что сло-ну дробина.

Жертвы искривления магнитных линий Земли

— **Ну, и что скажешь?**

— Да, впечатляет!

— **И только? Тебе их ничуть не жаль?**

— Тут величайшая загадка. Трагедия на ее фоне как-то меркнет.

— **В чем загадка-то?**

— Ну как же, вполне здоровая стая, с детенышами, и все выбросились. Зачем?

— **Хоть какую-то версию смог бы предложить? Давай-ка, на-прягись. А то — тайна, всё меркнет... Это всё, мой друг, от лени-сти ума.**

— Может быть, вода отравлена?

— **А еще? Шевели мозгами, не ленись.**

— А еще — планктон исчез. И чтобы избежать мучительной смерти от голода, решили сразу.

— **Значит, решили. Голосовали, наверно? Так?**

— Иди на хрен. Подкалывать тут будешь. Решили — значит, у них такой безусловный рефлекс. Кончился планктон, значит, надо на берег.

— **Ага, неплохо. А еще?**

— Какая-то смертельная болезнь, эпидемия. Или коллектив-ное умопомрачение.

— **Колёс что ли обожрались?**

— Ладно, мели. Я твои подьёбки отфильтровываю... Само-убийство.

— **Отлично! Ту би ор нот ту би, значит! Приехали!**

— А ты не скаль зубы! Венец мироздания нашелся. Уверен, что по каким-то критериям мы с тобой китам проигрываем.

— Я по весу, а ты еще и по уму.

— Ладно, вот тебе еще. В темноте киты услышали сигнал бедствия, который издавал якобы их сородич. И кинулись на помощь. Однако это были звуки, произведенные случайным образом каким-то неживым объектом. Ну, скажем, скрип дерева, свист ветра в скалах, шелест песка, удары камня о камень... Мало ли... Источник звука находился на суше. Вот киты на него и почесали. И опомнились лишь тогда, когда забуксовали в прибрежном песке.

— Неплохо. Очень неплохо. Можно обсудить. Но должен тебя огорчить — твоя версия маловероятна.

— Это отчего же?

— Оттого, что, во-первых, очень ты уж их очеловечил. Мол, сам погибай, а товарища спасай.

— Я же говорю, что о своей гибели они не предполагали. Обманулись.

— Ладно, пусть обманулись.

— Вот я и говорю.

— Сейчас я говорю, а ты покамест помолчи. Во-вторых, на сигнал тревоги спешат лишь крепкие, сильные мужские особи. А дети и беременные мамыши дожидаются в сторонке. В противном случае от китов давно уже не осталось бы и следа. Так-то. Убедил?

— Отчасти. Может быть, ты знаешь что-нибудь более достоверное?

— Конечно, знаю. Причем, уже давно. Но начнем мы с голубей. Знаешь ли ты, как они ориентируются в пространстве, как находят свою голубятню, будучи увезенными за сотни километров?

— Вероятно, запоминают дорогу, когда их везут. Так?

— Но если голубя везут в закрытом ящике, специально, чтобы он ничего не видел, то он все равно безошибочно возвращается домой. Запоминают дорогу!.. Как бы не так! Голуби знают и помнят широту и долготу своего дома, координаты географической точки. А каждой точке земной поверхности соответствует вполне конкретная напряженность магнитного поля, направление силовых линий... Ну, и так далее. Вот они и ищут дом по магнитным линиям. У них в организме имеется такой вот механизм.

— Красиво, конечно, но чем докажешь?

— Почему должен я доказывать? Ученые проводили массу опытов, и всё сошлось. Самый впечатляющий опыт — это когда голубей на самолете перевезли из северного полушария в южное. И выпустили. Так они прилетели в симметричную точку.

— Как это?

— Ну, долгота была та же самая, широта тоже, но только не северной широты, а южной. Вот такие, брат, дела.

Так вот к чему я все это рассказываю? К тому, что киты ориентируются в пространстве точно таким же образом — по магнитным линиям. У них просто выбора другого нет. Точнее, у природы, которая их такими сделала. Ведь в океане нет никаких визуальных ориентиров.

— А острова?

— При чем здесь острова? Ну, стоит остров. Ты от него поплыл в какую-нибудь сторону. Через двадцать минут уже ничего вокруг нет, только вода. А тебя при этом еще течение сносит. Куда ты поплывешь, в каком направлении?

— А звезды?

— Ну, конечно, берешь секстант и определяешь свои координаты. Смотришь карту и намечаешь направление движения. Но ты же кит, а не человек. Как быть киту? Да и звезды только ночью и в хорошую погоду. К тому же к ним нужен еще и хронометр. Так что только по магнитным линиям.

— Слушай, а на хрена китам вся эта хренотень? Зачем им надо определять направление движения? Бултыхайся себе в воде, жри планктон, размножайся и всё такое прочее.

— Как это зачем, как это зачем?!

— Да, зачем?

— Потому что любое существо, не ориентирующееся в пространстве, обречено на гибель.

— Демагогия.

— Киты знают, где и когда надо искать планктон. Вот они и плавают вполне осмысленно.

— Тоже не убедительно. Давай-ка, брат, что-нибудь более правдоподобное загни.

— Они метят свою территорию. Это ж звери. Чтобы чужая стая не совалась.

— Воду?!

— Представь себе, метят воду. Точнее, дно. По периметру на дне оставляют метки.

— Как это, как это ты умудрился завратиться до такой степени?

— Ну, если биохимии китов не знаешь, то сиди и помалкивай. Они ныряют, естественно, на мелководье, и оставляют на дне специальное вещество — секреты, которые чуют чужие киты. Разве не слышал про амбру, которую добавлял в духи, отчего те прибрегают ломовой аромат и стойкость?

— Отлично! Ты просто гений-эквилибрист!

— Ты слушай дальше. Наконец-то мы вплотную подошли к тайне коллективных самоубийств китов. На самом деле это никакие не самоубийства, а...

— Коллективный отказ механизма ориентации по магнитным линиям, как я понимаю.

— Не совсем так. Дело в том, что порой бывают магнитные бури. В результате чего магнитные линии земли искривляются. И если в этот момент стадо китов идет параллельно берегу, а линии вдруг повернулись на девяносто градусов, то киты тоже поворачивают и попадают на сушу. Причем, по-видимому, они считают, что это лишь узкий перешеек, за которым снова начинается вода. И изо всей силы, помогая себе хвостами, пытаются ползти вперед. Однако довольно скоро силы покидают их. И они погибают.

Если говорить о каких-то параллелях в области мореплавания, то вспомни «Пятнадцатилетнего капитана» Жюль Верна. Там один подонок, кажется, его звали Нигоро, подложил под компас магнит. Из-за этого судно пошло по неверному курсу... Вообще-то, случаи, когда у животных отказывают какие-либо важные системы, встречаются не столь уж и редко.

— Например?

— Да сплошь и рядом.

— А конкретнее?

— Ну, скажем, кошка вдруг убегает из дому. Не просто так убегает, не от плохой жизни, а она якобы предчувствует приближение землетрясения. Обычно они на этот счет не ошибаются, статистически доказано. А тут вдруг убегает из Москвы, где ничего подобного нет и быть не может.

— А если ей дом опостылел? Ты это допускаешь?

— Запомни раз и навсегда: собака привязана к хозяину, кошка — к дому. Тут никаких исключений быть не может.

— Ну, значит, она пошла погулять с котом, а ее либо собаки загрызли, либо дети повесили.

— Я тебе еще раз говорю — она по ошибке бежит от землетрясения. И вот почему это происходит. Да, она, действительно, пошла поблудовать. Ушла в соседний квартал. А там проходит линия метро. Кошка слышит подземный гул и сломя голову несется за Кольцевую дорогу. Хотя она должна бы знать наверняка спектр подземных колебаний, предшествующих катастрофе, их период, амплитуду. Это у них безусловный рефлекс, генетический. Так что тут не психические отклонения, а нарушение механизма.

Или считают, что удавы обладают гипнотическими свойствами. Мол, он смотрит на мышонка или кролика и внушает ему, что

надо в пасть ползти. На самом деле это не гипноз, а телекинез. То есть передвижение предметов на расстоянии усилием воли. И мне однажды посчастливилось убедиться в этом воочию. Удав увидел журнал «Плейбой», на котором нарисована эмблема журнала — кролик. И обманулся. Раскрыл пасть, а журнал сам в нее заполз. Потом увидел коробок с изображением мышонка. И тот тоже, перелетев по воздуху, скрылся в пасти. Потом, когда удав стал душить «пищу» своей мускулатурой, от трения произошло возгорание спичек. И изо рта удава повалил дым. Это был кайф!

Яблоко

— Сформулируй мне, пожалуйста, десять существенных различий между яблоком и землей.

— Почвой или планетой?

— Планетой, конечно, планетой. Итак, я слушаю.

— Во-первых, яблоко имеет небольшой диаметр, а Земля — очень большой.

— Не засчитано.

— Но разве это не так?

— Что такое — небольшой, очень большой? Все это относительные вещи. В конце концов, нигде не сказано, что не может вырасти такое яблоко, которое оказалось бы больше Земли. Поэтому, будь добр, напрягись и больше не городи глупости.

— Тогда, во-первых, яблоко состоит только из органического вещества, а...

— Из живого вещества! Не уподобляйся нынешним ученым-верхоглядам. Из живого вещества!

— Да, из живого вещества. А Земля — и из живого вещества, и из неживого вещества.

— Хорошо. Допустим. Дальше.

— Во-вторых, Шахтеры и бурильщики способны внедриться в земной шар лишь на глубину до пятнадцати километров. А червь прогрызает яблоко до самой сердцевины.

— Угу. Уже получше.

— В-третьих, Земля, вращаясь вокруг Солнца...

— Ты это точно знаешь?

— Абсолютно. Вращаясь вокруг Солнца, она удерживается в пространстве силой всемирного тяготения. А яблоко удерживает от падения плодоножка.

— Но ведь и силу всемирного тяготения можно представить как плодоножку. Припомни-ка Ньютона. Когда-нибудь земля перзреет, плодоножка оборвется, и все здесь полетит в тартарары.

— Вы хотите сказать, — в Тартар?

- **Что я говорю, то и хочу сказать. Продолжай.**
- В-четвертых, на Земле есть разумные существа, а на яблоке нет.
- **Это никем не доказано!**
- **Что на яблоке нет?**
- **Что на Земле есть. Разуму невозможно дать даже приблизительное определение. Так что четвертый пункт заново.**
- В-четвертых, в середине яблока находятся семена, из которых рождается жизнь, после того, как яблоко умрет и сгниет. В середине Земли — расплавленная магма, которая способна посетить лишь смерть.
- **Не увлекайся красотами! Ты что, поэт что ли?**
- В магме нет будущей жизни.
- **Ладно. Засчитано. Но знай, что после смерти Земли, когда она улетит в тартарары и лопнет, как орех, очень возможно, что из этой магмы родится новая Земля. Но это лишь гипотеза, поэтому зачтено. Слушаю дальше.**
- В-пятых, вокруг Земли вращается спутник, Луна. Яблоко спутника не имеет.
- **Отлично! А какое отсюда следствие?**
- Спутник яблока невозможен, потому что его траектории будет мешать плодоножка.
- **Да нет же, нет! Это свидетельствует о том, что одним из свойств Земли является любовь. В отношении же яблока можно говорить лишь о чувстве голода, плотского вожделения. Продолжай формулировать.**
- В-шестых, яблоко всегда больше целого, Земля — меньше целого.
- **Замечательно. Наконец-то ты заговорил не как школяр. Давай, давай!**
- В-седьмых, Земля — это вывернутое наизнанку яблоко.
- **Очень хорошо.**
- В-восьмых, зимой яблока нет, живого, а Земля есть.
- **Яблоко тоже есть, потому что на Земле одновременно и зима, и лето, с разных боков. Тут надо говорить о другом. На земле в течение суток всюду бывает и день и ночь. А на яблоке всегда день только с одного бока. В этом отношении яблоко — это Луна.**
- В-девятых, яблоко может быть нерожденным, неявленным. И тогда следует говорить о разных яблоках, потому что у каждого свое представление о яблоке, свой образ. Земля же всегда явлена, и у всех одно и то же представление о ней. Различными могут быть лишь заблуждения.
- **Ишь ты, как разошелся-то! Впрочем, это тоже заблужде-**

ние — о явленности Земли. Всё несколько сложнее, чем ты себе представляешь. Но это тебе пока еще рановато. Ну, давай, рожай последнее.

— В-десятых, яблоко, умирая, рождает...

— Это уже было.

— В-десятых, у яблока есть эталон, у Земли эталона нет. Потому что она сама для себя закон.

— Это следствие девятого пункта.

— В-десятых, каркас Земли, ее скелет, сделан из противоположностей, которые держат Землю в пространстве и вращают вокруг оси и Солнца. У яблока противоположностей нет. Поэтому природа этих двух шаров антагонистическая.

— Хорошо. А теперь назови основное сходство между яблоком и Землей. Попытайся.

— Да, я могу назвать еще и одиннадцатое различие — с яблока вода стекает...

— Не надо. Не надо чушь пороть. Ты мне еще про яблочное варенье расскажи! Давай сходство. Но только не про шарообразность.

— И яблоком, и Землей может владеть один и тот же человек.

— Даже у Македонского это не получалось.

— Но ведь такая возможность имеется?

— Нет такой возможности!

— Тогда кожа и плодородный слой Земли.

— Слишком поверхностно. Ладно, не мучайся. Тебе это пока не по силам. Слушай и запоминай. Змей искусил перволюдей яблоком. Они его вкусили. И были низринуты из высших сфер на Землю. Если бы это был банан, то мы сейчас жили бы совсем в другом месте, в других условиях и по другим законам. И я допускаю, что они были бы более разумными, чем здешние. Ну а в следующий раз ты мне назовешь эти законы, «законы банана». Если, конечно, духу хватит.

Яблоко-2

— В прошлый раз я дал тебе задание сформулировать «закон банана». Надеюсь, ты готов?

— С прошлого раза прошло уже немало времени. И я уже не тот желторотый юнец, с которым вы тогда имели дело. Да и вы переменились. Боюсь, не в лучшую сторону. Поскольку действие закона изменения живого вещества приостановить не дано никому.

— Ну, пока я вижу, что ты отличаешься от своего прежнего состояния лишь только отчетливо сформировавшимся хамством.

Да еще непонятно на что опирающейся чрезмерной самоуверенностью. И это всё.

— Вы ошибаетесь. И я постараюсь вам это продемонстрировать со всей присущей мне всесокрушающей интеллектуальной мощью.

— Ладно, принято. У меня, к счастью, пока еще достаёт ума, чтобы не обращать внимания на гормональные сюрпризы. Так на чем же основан твой бунт?

— Это не бунт. Это новое осознание реальности.

— Оставим ахинею про осознание реальности. О чем конкретно ты хочешь говорить?

— О грехопадении.

— Я не произносил этого слова.

— Как же! Вы сказали о яблоке, которым змей соблазнил перволюдей.

— Не соблазнил, а искусил. Если ты не понимаешь истинного смысла этого слова, то нам не о чем говорить. Жаль лет, потерянных тобой на блуждание в потемках.

— Так в чем же смысл?

— Искусить — это вкусить, отведать вкус, попробовать, поесть, в конце концов.

— Не в этом суть.

— Суть нечленима. Она во всем.

— Не увеливайте. Творец, будем употреблять именно это слово, как наиболее адекватно воссоздающее атмосферу того периода генезиса...

— Не возражаю.

— Так вот Творец...

— Или мировой разум...

— Не вынуждайте меня прибегнуть к физическим мерам воздействия! Не провоцируйте!

— Помилуйте, помилуйте, я ничего дурного не хотел. Продолжайте, прошу вас. Точнее — тебя. Ты мне пока еще не показал ничего, что дало бы повод обращаться к тебе на «вы».

— Так вот Творец, создав, точнее — промыслив идею человека, порекомендовал ее материализацию какому-то змею. Может ли это быть?

— Значит, Адам и Ева это, по-твоему, идея?

— Конечно. Потому что в раю могут обитать лишь бесплотные души.

— Тогда выходит, что, кроме Орфея, еще два человека могут похвастаться обратным путешествием — из загробного, бесплотного, мира на грешную землю. Так?

— Так.

— Значит, Творец создал перволюдей мертвыми, а потом воскресил их. Это верно?

— Нет, это неверно. Потому что идея не может быть мертвой.

— Ну, слава богу, а то я уж было решил, что с каким-то идиотом разговариваю. Извини, продолжай.

— Так почему же Творец перепоручил материализацию идеи змею, который является злым началом?

— Сомнения, неуверенность в себе.

— Не понял. Неуверенность Творца?

— Да, представь себе. Идея-то ой как хороша. А что на практике получится? Ведь по образу же и подобию, то есть со свободой выбора. Куда всё это начнет двигаться? Поскольку совсем не механическая кукла, которой руководят рассчитанные шестеренки и пружинки. Вот он и решил — вкусят, значит, материализую. Не вкусят, то останутся произведением чистого искусства. Понимаешь, это яблоко — та же монета, орел или решка. Жребий.

— Аверс или реверс.

— Ну, ты что сюда выпендриваться что ли пришел?! Грамотный, сука?!

— Извините, сорвалось.

— А ты следи за речью!

— Но я-то полагаю, что не только жребий, но и, как бы это сказать... Перволюди отведали знание, сокрытое в запретном плоде.

— Какое к змию знание! Всего лишь познакомились с этикой — что такое хорошо и что такое плохо. Не более того. Никакого высшего знания они на землю с собой не принесли. Всё потом другими добывалось. А вот этика — это да. И, естественно, поскольку эта самая этика имеет смысл лишь в материальном мире, то Творец и отправил их на землю.

— Почему же только в материальном мире? Разве она не может существовать в виде идеи?

— Может. Но при этом не вступая ни в какие отношения с другими чистыми идеями. Ведь только на земле существует, скажем, понятие убийства. Вне ее — это уничтожение, разрушение, которое противоположно созданию, деланию. И это разрушение ничуть не хуже созидания, как операция вычитания для нас не лучше и не хуже операции сложения. Если, конечно, речь идет об абстрактных, нематериальных, числах, а не о банковских счетах.

Если бы идея Адама уничтожила идею Евы, то ничего ужасного не произошло бы. А вот на земле все уже понимали, при помощи переваренного яблока, что убивать нехорошо. Не случайно же

Каин, замочивший Авеля, сразу же ушел в несознанку и отрицаловку: «Не сторож я брату моему, век воли не видать!»

— Так что же тогда получается? Что люди были материализованы для написания Аристотелем «Никомаховой этики», всего этого эвдемонизма? Или все-таки сработал отцовский инстинкт?

— Никакого отцовского инстинкта не существует. Есть лишь материнский, то есть косный, несозидательный. Так что тут говорить абсолютно не о чем. Идеи рождает мужская сущность. Но дальше этого, как правило, дело не идет. Дальше за работу должен приниматься ремесленник, что, согласись, для Творца слишком унижительно. Так вот он с честью вышел из этого щекотливого положения. После создания идей он наделил каждую из них чрезвычайно деятельной интенцией к самореализации, самопродуцированию. А точнее — такая способность реализовалась при соприкосновении идей, при их взаимодействии. Что вполне соотносится с такой категорией как любовь, взаимодействие. Так что змей и выступил в роли любви-посредницы между людьми и этическими постулатами. Да и не змей это был. Не верь, что змей и грехопадение, а не голубок. Это было уже потом записано, когда стало видно, куда начало двигаться человечество, как оно себя повело. Кстати, яблоко-то лишь слегка надкусили, а до зерен не дошли. Именно поэтому потом пришлось дважды, с некоторыми вариациями, ниспосылать на землю свод законов поведения, заповеди.

— Но ведь вы же только что говорили о том, что, мол, человек мог и не материализоваться, мол, был брошен жребий...

— Ну, говорил. Ну, и что?

— Сами себе противоречите, вот что!

— Чудак-человек! Тогда бы идея разумных существ спарилась с другой идеей — идеей логики. Согласен ли ты с тем, что при нынешней реализации мира логика не является первородным атрибутом жизни?

— Нет, не согласен. Например, компьютеры...

— Ты меня не понимаешь. Когда люди материализовались, то идея логики так и оставалась идеей, голой абстракцией, не явленной в материальный мир. Это ясно хотя бы из того, что в Библии о ней нет и полслова, хоть талмудисты до сих пор чего-то и пытаются раскопать. Безумцы! Так вот вначале от логики ничего не зависело. А сейчас она все больше и больше просачивается в жизнь. Я имею в виду несколько последних тысячелетий. Но просачивается не как необходимое качество, а как избыточное.

— Разве может быть у жизни что-нибудь избыточное?

— Может. Это, несомненно, ты, извини за откровенность. Так вот если бы идею людей повлекло к идее логики, а не этики, то разумные существа были бы совсем другими. Скажем, компьютерного типа. И для них была бы написана совсем другая Библия — с десятью заповедями логики. А уже потом они начали бы выживать из трансцендентной области этические принципы.

— Ага, понял. Судя по тому, что по мере развития человечества, актуальность логики...

— **Актуализация, а не актуальность.**

— Да, актуализация логики непрерывно возрастает, то она постепенно вытесняет этику. Поэтому в будущем следует ожидать возникновения иного типа разума, как теперь говорят, искусственного интеллекта. Однако в той, будущей, ситуации сворачивания этики в идею, этот новый разум будет не только естественным, но и единственно возможным. И такое соперничество этики и логики будет всегда. То одна будет главенствовать, то другая.

— Ну вот, наконец-то! Наконец-то ты вплотную подошел к формулированию «законов банана». Вижу, эти годы для тебя не прошли даром. Ну, давай, начинай!

Акимицу Танака*

Акимицу Танака — поэт, переводчик, фотохудожник.

Родился 2-го октября 1948 года в окрестностях города Цу (географически — в самом центре Японии).

Автор книг стихов «Прыгаю с фосфором» (Токио, 1983), «Экимоз голоса» (Токио, 1990), «Губы лучей» (Токио, 1990).

Составитель и переводчик «Антологии современной русской поэзии» («Гендаиси Тэте», Токио, 1991, № 5).

Экимоз голоса

К перу архангела,
пронзающего их,
не припадали зубы,
распыляясь
от букв уже заполненных таблиц
по капле костной
в радужную заумь голодной полости, —
взволнованное время
чтоб радугой до срока воспалить,
кухонным желобом
уже сочится влага.

И не резец один,
но и его мираж, —
так часто собирающие
жатву дани, —
слоновость костную, источник колыханий, —
о, имя тайное, где опухоль ее
зигзаг молниеносный рассекает;
и пополудни пахнет гарью
жатва дани.

* Как, должно быть, помнит внимательный читатель, подборка стихов этого поэта была опубликована в «Комментариях» №8 (пер. А. Давыдова, В. Курицына, А. Парщикова) и по неясной причине сразу же вызвала подозрение в мистификации. К примеру, автор теперь уже не существующего журнала «Пушкин» приписал Танаку воображению Парщикова или Айги, за каковую догадливость и был удостоен редакцией «Комментариев» низшего читательского ранга — «нерадивый читатель» (см. «Комментарии» №15, с. 229, а также с. 234 наст. №). Чтобы окончательно рассеять подозрение в мистификации, публикуем несколько стихотворений Танаки в переводах Е. Даенина, отстаивающего свой приоритет первооткрывателя японского поэта. Два последних стихотворения в №8 публиковались в переводе А. Давыдова, что дает возможность получить более «объемное» представление о поэзии японца. (*Ред*)

Еще спешите: жду явления пчел

В кунсткамере своей, сокрытой влагой,
чтоб не явить себя, —
здесь — жалом кружева —
на ощупь разольется
жар в отпечатках пальцев,
разрывая кольцо их в клочья, —
тонкость сцены — спицей —
развяжется в ушах.
Эй, посох путника,
о где есть экимоз —
ось — голоса?

И, скатывая ось земную в кость,
еще кружится перепонка уха —
сон мягче сна любого! —
шепот трав сухих
и губы судорожных букв,
сплетенных азбучным лучом заката
в вихрь;
и в смерче — на границе смерти —
тот шепот — в извержении залива —
по жерлу памяти, скользящей плавником,
кружась меж ножниц временных,
кроится
по капле...

И Велимир
в конце концов
не любит мяты.

Иллюстрация птиц

Геометрия крыльев,
столь склонная быть
пораженною током тускнеющих их помаваний,
мне явилась не сразу, —
я, грызущий рубцы оперения их
в аппликациях беглых
на последнюю здесь иллюстрацию
птиц,

от лучистого музыкой слуха
их песнь отлучить
не смогу, —
в нотоносец вписав,
дам их танцу свободу полета, —
даже провод воздушный, что душит тела их,
когтями сорву, —
к моментальному следу,
фотону подобному,
следуя голосом,
потом,
окончаньем тепла, —
сквозь губастую пасть,
что изрешечена поглощением лучистым;
та болезнь, та боязнь оперенья —
пролистанной книгой небесной —
в пустоте обостряется вновь, —
страх телесный
не в силах избыть.

Рука Филонова

О не поздней, чем вновь
в бессменных часовых висков его дремучих
расстлать тропу щепой,
поколебима углем поминутным
о стол древесный летопись его:
пусть трое суток
в распре лезвий порознь
не засыпают отблески, чтоб густо,
в его недрогнувшего леса хвойный голод
излучиною лезвия врубась,
позднее стлать щепою
тропы формул;
расплатою его за чистый голос
лесных его цветов —
за споры их вскипаний —
на острие губастого луча
не притупить бы поцелуи в ранах
его руки,
вколоченной в тропу до края чащ
дыханием ее лесоповала

в пульсации висков его,
когда
всей кровью цокота, копыта пробивая,
течет путь норовистого коня.

Справка об авторе и перевод с японского Евгения Даенина